

Липовский Лев  
Моисеевич

---

ЖИЗНЬ  
СОЛДАТА

6+

Лев ЛИПОВСКИЙ  
**Жизнь солдата**

«Автор»

1988

**Липовский Л. М.**

Жизнь солдата / Л. М. Липовский — «Автор», 1988

Это документально-художественное произведение Липовского Льва Моисеевича о своем детстве, юности в Белоруссии. Об участии в ВОВ. И немного о послевоенном времени уже в Сталинграде, ныне Волгоград.

© Липовский Л. М., 1988

© Автор, 1988

# Содержание

Книга первая	5
Часть первая	5
Утерянные фотографии	5
Вступление	6
Глава первая	9
Глава вторая	18
Глава третья	43
Глава четвертая	71
Глава пятая	113
Конец ознакомительного фрагмента.	173

## Книга первая

*Маме моей, Роне Липовской, человеку и коммунисту, я посвящаю первую книгу моих воспоминаний.*

### Часть первая

**повествующая о детских и юношеских годах автора во славном городе Рогачеве, возникшем еще во времена киевской Руси на берегах древнего Днестра и не менее древней реки Друти.**

#### Утерянные фотографии (Вместо предисловия)

В начале Великой Отечественной войны в беспокойной и тревожной суматохе эвакуации мать и сестры, покидая дом в Рогачеве, не захватили с собой ни одной фотографии из семейного альбома, которыми я так дорожил. Я служил в то время в Казани и не мог их предупредить, хотя и думал об этом, так как связь с родными полностью прекратилась.

Во время войны дом наш сгорел и, естественно, ничего от семейного альбома не сохранилось, о чем я очень сожалел в послевоенные годы. Теперь уже нет никакой возможности полностью восстановить молодые лица моей мамы и отца и десятков погибших родственников как со стороны мамы, так и со стороны отца.

Только некоторые фотографии врезались в мою память настолько хорошо, что я до сих пор вижу их, как наяву. Особенно часто я представляю фотографию двадцатилетней мамы с трехлетней Соней. Соня сидит на высокой, плетеной из лозы, подставке на уровне маминых плеч, а мама стоит рядом в полный пост, в длинном до пола темном платье – тонкая, стройная и очень красивая. Маленькие черты ее лица обрамляют пышные темные волосы, а серые глаза под длинными, тонкими бровями смотрят с фотографии немного удивленно, но с достоинством и гордостью. Это была единственная фотография молодой мамы. Я часто ее разглядывал и гордился тем, что у меня такая красивая мама.

И еще одна фотография в единственном экземпляре очень занимала меня. Она висела у нас на стене в рамке под стеклом. На ней изображены трое детей моей мамы. Я сижу на стуле в центре, справа от меня стоит сестра Соня, а слева – брат Лазарь. Мне тогда было три года, Соне – тринадцать, а Лазарю – восемь. У брата почему-то была стриженная наголо голова, у сестры – прямой волос, ниспадающий на плечи, а у меня (что мне особенно нравилось) – художественный беспорядок из крупных колец, а с правой стороны лба свисал кудрявый локон волос, что придавало мне очень милый вид. Я сижу на стуле, а полные ножки, одетые в белые носочки и черные сандалии, далеко отстают от пола. На мне одета белая матроска и темные, короткие штанишки. Я смотрелся в зеркало и не находил ничего похожего у себя с этим красивым мальчиком. Но мама, смеясь, уверяла меня, что это я и есть и никто другой.

Фотокарточек отца у нас было много. Худошавое, чистое лицо отца было серьезным. Нос прямой, рот небольшой, брови длинные и всегда – усы: то широкие, то узкие. Меня больше всего удивляло то, что не было ни одной фотографии отца без головного убора. Когда он служил в армии, то на голове была фуражка с кокардой, когда служил в красной армии, то на

голове была буденовка с красной звездой, а в гражданке – всегда и неизменно высокая каракулевая «баярка». Помню фотографию деда со стороны отца: светлые, улыбочивые глаза и обросшее лицо с длинной полуседой бородой. На голове – головной убор: картуз конца девятнадцатого века. Часто всплывают в памяти две групповые фотографии. На одной из них сидят рядом четыре молодца. Все – в новеньких костюмах, брюки – полугалифе, а на ногах – высокие блестящие хромовые сапоги. Это братья моей мамы: Самуил, Исаак, Борис и Ефрем. Сколько в них жизни, здоровья и энергии! Казалось, благополучие будет сопутствовать им всю жизнь. Но судьба этих братьев Ронкиных сложилась, можно сказать, трагически. Только самый старший из них дожил до преклонных лет, и то – в бедности.

На второй групповой фотографии изображено более двух десятков мужчин и одна женщина. Это рабочие рогачевской переплетной мастерской, которую организовал мой отец. В центре сидит представительный чернобородый старик со странным именем Файвл. Это был, можно сказать, патриарх теперешнего многочисленного рода Старобинских, извечных маляров Рогачева. В первом ряду этой фотографии сидит мой отец, а рядом с ним – моя мама...

Именно потеря дорогих для меня фотографий и была одной из причин, вынудившей меня взяться за перо, чтобы хоть в какой-то мере восстановить образы родных и знакомых мне людей в те далекие годы моего детства и юности.

## Вступление

Когда мне было года два или три, я был твердо убежден, что наш город – это только то, что я вижу: наша улица, днепровская гора и дамба. Все остальное – таинственный мир взрослых, недоступный моему воображению и пониманию. Где-то учились брат и сестра, куда-то каждое утро спешила мама, а мне наказывали не выходить со двора. Получалось, что мир, куда каждый день уходили взрослые, был небезопасен. Однажды, к нам пришел дядя Исаак, один из старших братьев мамы, и в разговоре с ней упрекнул ее, что ни мама, ни ее дети не ходят к нему в гости.

– Ты так далеко построился, – сказала ему мама, – что мне некогда к тебе ходить. И, чтобы брат не сомневался в ее словах, она указала на нас, детей, добавляя: – Сам видишь, куда от них уйдешь!

Но все-таки об упреке брата мама не забыла. Как-то, придя с работы днем, она сказала старшей дочери:

– Сонечка, возьми Левочку и сведи его в гости к дяде Исааку. Ты ведь знаешь, где он живет?

Сестра не стала отказываться. Она взяла меня за руку, и мы пошли в гости к дяде Исааку. Мама оказалась права. Для моих непривычных ног дорога к дому, где жил дядя Исаак, была очень длинной. Никогда я не ходил так далеко. Я страшно утомился, а сестра не хотела меня брать на руки. Тогда-то я и убедился, что город наш очень большой, и что ходить к дяде не так-то легко. Он тогда жил на Пролетарской улице в доме №41. Позади его дома было русское кладбище. Рядом находились еще две постройки и далее – песчаный пустырь, так называемый кладбищенский переулок, по которому покойников носили на кладбище. Как это он вместе с семьей не боялся жить рядом с мертвецами? Ведь говорили, что они часто выходят из могил. Но по мере того, как я подрастал, дядин дом оказывался все ближе и ближе, и не таким уж и страшным становилось место его постройки... В пять лет я доходил по Циммермановской улице (ныне улица Ленина) до новых планов за улицей Буденного (ныне улица Октябрьская), и смотрел издали, через болото, на нашу железнодорожную станцию и на проходящие поезда. Это было как необыкновенное открытие, потому что поезд – это не крестьянская повозка и даже не машина. Размеры поезда и сила паровоза вызывали восторг и опасение. Однажды мы с Борисом Драпкиным, моим соседом, специально побывали на нашей станции. Заодно я увидел,

что за железнодорожным полотном тоже стояли дома, и протянулись улицы. Чуть ли не каждый день я открывал новые уголки нашего города и к шести годам побывал везде, за исключением картонной фабрики. Про нее мама говорила, что она далеко за городом... Узнав наш город, я полагал, что это и есть весь белый свет, о котором так часто упоминала мама. Разговоры взрослых о том, что у меня есть дяди и тети в Бобруйске и Быхове, не меняли моего мнения о "белом свете". Только после поездки в Быхов к деду я наконец понял, что земля очень большая, и что на этой земле много разных городов. Но наш городок я, естественно, считал самым лучшим.

Когда я учился в первых классах, я почему-то всегда думал, что все, что я вижу, существует вечно: и город, и дома, и люди, и моя мама, – как будто все когда-то возникло, как в сказке, сразу и неизменно и существует испокон веков. И мне такое представление нравилось. Ведь это было так хорошо: я всегда буду ребенком, а мама – всегда мамой! И надо сказать, что мне очень повезло с этим представлением, потому что я долго был ребенком, а моя мама долго была мамой. И город наш тоже долго жил без особых изменений. Постройка новой бани и новой школы не могли значительно изменить старый облик города. Узнав из книг, что в давние времена здесь, на месте нашего города, ничего не было, кроме болот, топей и непроходимых лесов, я дорисовывал к этой картине разных сказочных существ: леших, водяных и непременно бабу-ягу. Все у меня было как в сказках. Не скоро я узнал истину о месте, где вырос наш город...

\* \* \*

Этот далеко выступающий, конусообразный, высокий мыс между Днепром и Друтью был тогда в два раза шире, чем теперь. В течении столетий воды Днепра и Друти подмывали берега этого земляного рога, сокращая его площадь. Только за последние сто с лишним лет река подмыла целую улицу напротив устья Комаринки. И если бы вовремя не построили дамбу, то Днепр снес бы весь выступ от замковой горы до первомайской улицы. Высокий днепровский берег был тогда покрыт лесом, преимущественно лиственным, в то время как пологий берег со стороны Друти был весь покрыт желтым песком, и росли там сосны. Сосны любят песчаную почву. Наш полуостров был настоящим медвежьим углом, потому что никаких дорог, кроме рек, к нему не было.

Вот такая примерно картина была в начале нашей эры на том месте, где теперь расположен Рогачев. Если бы я в то время посетил этот холм, то не смог бы, как теперь, любоваться заднепровским простором, потому что по обоим берегам Днепра рос лес. Естественно, что здесь было раздолье для зверей, птиц и рыб. Их было тогда неисчислимое множество. Возможно, что на этом берегу жили древние аборигены, далекие наши предки, которые и предвидеть не могли, что на месте их жалких землянок и лачуг когда-нибудь возникнут рубленые избы и даже каменные многоэтажные дома. Сотни лет жили они здесь семьями или общиной, хлопоча около своих очагов, занимаясь земледелием, охотой, рыбной ловлей, скотоводством, выделкой кож для одежды, защищаясь от диких животных и непрошенных гостей.

Они, конечно, не могли себе представить, что когда-нибудь ученые мужи будут изучать их быт по найденным в могилах орудиям их труда и охоты, что их назовут дреговичами и радимичами, что они станут первыми представителями древнеславянских племен, автохтонами русской и белорусской наций. Конечно же, они не могли и думать, что их многочисленные потомки, устояв против неисчислимых испытаний, будут жить в первом социалистическом государстве на земле. Круг их интересов был узок, а познания – незначительны. Но их характер, их облик, их достоинства определились еще в те времена в борьбе с дикой природой и непогодой. Они росли и множились светлоголовыми, спокойными богатырями с добрым сердцем и чистой душой. Они были трудолюбивыми. С утра до вечера трудились все: от глубоких стариков до маленьких детей. Трудолюбие, рассудительность и доброта – вот отличительные

черты древних поселенцев нашего края. Лучшие качества характера они пронесли через все невзгоды, сохранив их до настоящего времени.

Во второй половине восьмого века, когда Днепр перешел военно-торговым путем "из варяг в греки", воеводы киевских и черниговских князей не могли не заметить выгодный в тактическом отношении высокий мыс, возвышающийся между Днестром и Друтью, как будто самой природой предназначенный для сторожевого поста. И здесь была построена деревянная крепость. С ее башен хорошо просматривался Днепр и устье Друти. Это произошло в тысячном году во время княжения в Киеве Владимира I, которого во всех былинах называют "красным солнышком". Это он построил на всем побережье Днепра и его притоках десятки крепостей и городов для охраны Руси от неожиданных набегов кочующих восточных племен. Это он впервые на Руси организовал общегосударственную оборону, обязав принимать в ней участие всех русских князей, если даже им ничего не угрожало в связи с их удаленностью от восточных земель.

Гарнизоны для крепостей и городов набирались из "лучших мужей" со всех земель русских. Этими мерами князь Владимир оградил Русь от неожиданных опустошительных набегов кочевников. В крепости, на высоком мысу между Друтью и Днестром, была поселена дружина от князя Святополка города Турова, сына Владимира. К северу от крепости прорыли глубокий ров и заполнили его водой. В результате получилась обособленная высокая гора с деревянной крепостью, окруженная со всех сторон водой. С высокой башни было далеко видно вокруг, и в случае нападения дружинники разжигали на башне большой костер с дымом, давая знать другим крепостям о грозящей опасности.

Не год и не два жили в крепости дружинники. Поэтому, вполне естественно, что они привозили сюда жен и создавали свои семьи. Дома строили за рвом, переходя по подъемному мостику. Для домов валили лес, очищали заодно площадки для дворов и огородов. Таким образом, к северу от крепости вырос посад: маленький поселок, обслуживающий дружинников крепости. Вначале крепости дали название Рогач, так как она была построена на самом рогу полуострова между двумя реками. Но когда рядом с крепостью вырос поселок, то его стали называть Рогачев. Так, примерно в самом начале одиннадцатого века, возник наш город Рогачев, сторожевой пост в киевской Руси на древнем пути "из варяг в греки". В то время это был самый удобный путь в деле развития торговли, ремесел и в деле политических отношений как внутри Руси, так и с другими государствами.

Пройдет почти полтора столетия, прежде чем наш поселок упомянут в летописи Ипатьевского монастыря, из которой мы и узнали, что в 1142 году Рогачев уже считался городом. И еще одну запись о нашем городе внесет в летопись Киевской Руси летописец монах Нестор, когда киевский князь Ярослав Олегович отдаст Рогачев в качестве подарка своему брату князю черниговскому Игорю Олеговичу. Затем, из-за распада единой киевской Руси и бесконечных распрей между русскими князьями, Рогачев присоединят к себе поочередно то Великое княжество литовское, то польское государство, то Пинское княжество, то польский король Сигизмунд. На протяжении четырех веков горожанам пришлось терпеть гнет разных пришельцев. А после набегов восточных татар и монголов город приходилось восстанавливать заново. Неоднократно отстраивалась и сторожевая крепость. И только в 1772 году, после раздела польского государства, Речи Посполитой, восточная Белоруссия, в том числе и наш город Рогачев, была присоединена к России. Через пять лет Рогачев становится уездным городом, а в 1781 году был утвержден и герб города: на фоне золотистой пшеницы – черный бараний рог. Императрицей российской Екатериной II был утвержден план застройки города и дано указание о постройке в городе каменного замка, так как город имел важное стратегическое значение в системе обороны России вдоль Днепра, но теперь уже не от восточных кочевников, а от западных любителей чужого добра.

Став уездным городом, Рогачев стал быстро развиваться. Росли мелкие фабрики и заводы, торговые заведения. Росло и население города. В 1841 году в городе проживало 3224 человека. На восемнадцати улицах стояли 298 деревянных домов и один каменный. В городе было шестнадцать садов, четыре площади, три кладбища за городской чертой. Затем, в течение десятков лет, население города росло очень медленно. В 1888 году в Рогачеве проживало только 4437 человек. Однако, к концу XIX столетия и в начале XX столетия, после постройки железной дороги от Петербурга до Киева и шоссе от Москвы до Варшавы, население в Рогачеве удвоилось. В то время в Рогачеве уже проживало 9038 человек в 656 деревянных домах и шести каменных. В это время на окраине города вырастают: лесопильный завод, картонная фабрика, кирпичный завод, мельница и другие более мелкие предприятия. В их числе и казначейство. В самом городе были построены: прекрасный театр, реальное училище, учительская семинария, казармы кавалерийского полка.

Примерно в это время, в первые годы двадцатого века, приехали на заработки в Рогачев мои будущие родители: восьмилетняя девочка Роня из Бобруйска и тринадцатилетний паренек Моисей из Быхова. Именно это ничем не примечательное событие в жизни небольшого городка и стало впоследствии одной из главных причин моих воспоминаний. Ведь именно они, полюбив друг друга, ровно через восемь лет основали новую, рогачевскую семью, в которой еще через десять лет появился и я – автор этих строк. Об этом и о многих других событиях, происшедших затем в городе Рогачеве, я и хочу рассказать в последующих главах этой книги.

## Глава первая

### Мой НП

Раннее утро. Тишина. Вся природа в немом ожидании. Ни малейшего ветерка. Воздух прохладен и слегка сыроват. Видимость отличная. Я сижу сзади сарая на своем НП (наблюдательный пункт) и наслаждаюсь спокойной картиной природы. Наш сарай на самом краю высокой горы, а внизу застыл, как зеркало, Днепр. За рекой – широкий луг, а за ним – темный сосновый лес, возбуждающий мое любопытство своими тайнами. Лес закрывает весь горизонт.

Ежедневно из-за этого леса появляется солнечный красный шар. Зрелище необыкновенное. Но пока его еще нет. Из моего НП раскрывается широкая картина заднепровья и даже часть города. Справа, за густыми кронами старых ветел, которые растут внизу вдоль дамбы, видна часть Днепровского моста с его высокими решетчатыми стенками. Слева от шоссе, которое начинается от моста на левом берегу Днепра, как будто на искусственном возвышении, стоит дом и сарай путевого обходчика. Рядом с домом, еще левее – широкое устье небольшого притока Днепра Комаринки, который зигзагообразно прорезает луг до самого леса. С правой стороны этой речушки протянулось бульжное шоссе, которое видно мне до самого леса. Там шоссе поворачивает влево, вдоль края леса. Этот отрезок шоссе виден мне частично сквозь частые деревья могучих дубов, темные толстые стволы которых видны даже издали. Шоссе у нас знаменитое – до самой Москвы.

Напротив меня по ту сторону Днепра – заливной луг, где каждое лето дважды косят траву на сено. Отсюда луг кажется совсем ровным до самого леса. В действительности, там есть, хоть и в небольших размерах, возвышенности, низменности, ямы и бугры. Я исходил его весь вдоль и поперек. Луг прекрасен в любое время года. Ранней весной его закрывает паводок и из-под воды торчат отдельные унылые островки. Поздней весной он покрыт цветущими ароматными травами. Каких только трав и цветов там нет! Полевой хвощ и пырей, лисохвост и овсяница, клевер с красными и белыми головками и лютики, ромашки и колокольчики, – всех не перечислить. Одно только можно сказать, что луг в конце весны прекрасен как мягким колоритом разнотравья, так и приятным букетом запахов.

А как приятно полежать в гуще этого разнотравья! Летом, когда идет сенокос и вокруг распространяется запах подсохших трав, на лугу появляется множество копен сена. Осенью луг весь остриженный, и только кое-где на возвышенностях стоят большие стога сена. Зимой он покрыт белоснежной скатертью. Берега у реки обрывистые и глинистые, постоянно разрушающиеся. На этих обрывах бесчисленное количество круглых отверстий – ласточкины гнезда. Даже из моего НП они виднеются как родимые пятна отвесного берега.

Немного выше по реке в луг врезается довольно большой залив, всеми называемый «Старик». Говорят, что когда-то здесь проходил сильный боковой рукав Днепра, а затем наносные пески преградили ему путь, и остался от него этот залив, постепенно мелеющий и зарастающий тиной. Я его часто навещаю, удивляясь длиннющим водорослям, их большим овальным листьям и особенно желтым кубышкам и белым кувшинкам. Если утром или днем заехать на лодке в этот залив, то можно увидеть много цветов, а вечером – ни одного: белые кувшинки на ночь закрываются и спят так же как люди.

Еще выше по реке, за Стариком, берег Днепра густо зарос высоким кустарником лозы, а еще дальше видны, хотя и не так ясно, опять луга, леса и где-то далеко, чуть ли не на горизонте, какая-то деревушка, вернее ее окраина. Слева от моего НП по правому городскому берегу Днепра я вижу почти безлюдный участок горы с резкой крутизной, а дальше гора становится пологой, и на склоне ее расположены убогие домики, наполовину врезанные в скат горы с одинокими маленькими окошками в сторону Днепра. В них живет беднота. Затем гора делает крутой поворот к Днепру, и поэтому выше мне Днепр не виден. От крайней линии выступающей горы до моего берега в этой дугообразной естественной лагуне образовалась песчаная конусообразная отмель, которая год от года растет и ширится. Еще в начале нашего века у этого изгиба реки была глубокая вода, и какой-то предприимчивый рогачевец построил здесь купальни: отдельно для мужчин и отдельно для женщин. За небольшую плату люди охотно ходили сюда купаться. Мама рассказывала, что в бытность своей молодости она тоже посещала эти купальни.

Глядя на эту растущую песчаную косу, даже не верится, что здесь когда-то свободно перекачивались волны Днепра. Постепенно Днепр стал наносить песок в эту заводь и появилась песчаная коса, которая росла из года в год, и, уплотняясь, становилась все выше и шире, и на ней стала расти трава и лоза. Сейчас острие косы уже недалеко от нашей дамбы. Между косой и берегом образовался узкий залив, где прописалась на местожительство бесчисленная семья лягушек. По вечерам они устраивают настоящие концерты, которые слышны по всему днепровскому раздолью. Во время последнего разлива реки в этом месте уже виднелся приличный островок, заросший лозой.

Теперь вы примерно представляете, какой изумительный обзор открывался с моего наблюдательного пункта. Идея НП пришла ко мне неожиданно, когда я зачем-то с трудом пробился сквозь чертополох к задней стенке нашего сарая, который нависал прямо над обрывом. Оглянувшись, я вдруг отметил про себя, что отсюда обзор местности гораздо шире и интересней, чем со двора. Не откладывая это дело в долгий ящик, я принес лопату, расчистил себе местечко и два узких выхода: к нашему двору и к козьей тропинке вдоль горы. Это было не так просто для восьмилетнего мальчишки. Вокруг были непролазные колючие растения и обжигающая крапива, а на мне были только трусы. Пришлось потрудиться в поте лица. Но зато потом я испытывал величайшее удовольствие от моего НП: я мог теперь видеть все и всех, а меня никто не видел.

О, вы наверно знаете, как интересно наблюдать за людьми, когда они думают, что их никто не видит! И, с другой стороны, мне казалось, что мой НП к тому же еще и неприступная крепость. Сами посудите: кто мог решиться лезть сюда сквозь заросли чертополоха и крапивы? Ниже подо мной была глубокая яма. Там раньше соседи брали глину для домашних нужд. Но наш хозяин дома Симон Ривкин стал каждый раз кричать им, что скоро из-за них сарай рухнет

в Днепр, и все прекратили копаться в нашей горе. Нашли другое место. Теперь наш сарай не рухнет, хотя, если хорошо присмотреться, то какой-то уклон в сторону обрыва у него есть. Но тогда я меньше всего об этом думал. Я целыми днями пропадаю на моем НП и никак не мог насмотреться на давно виданные картины. С НП все смотрелось как будто бы впервые.

И еще одно обстоятельство меня очень радовало: никто не знал о моем НП. Это было необходимо, чтобы мне не мешали. Однажды, примостившись ранним утром на моем НП, я убедился, как хитер наш дальний сосед. Рано утром он спустился к берегу реки, перевернул и столкнул на воду свою «душегубку» (так называют у нас дубленый челнок), положил в нее удочки и сеть и подъехал к тому месту, где река уже всего. Там он забросил сеть в реку и в ожидании улова стал ловить рыбу удочками. Соседи спускаются с горы и, наверно, думают: "Какой заядлый любитель-рыболов Иван Терентьевич – с утра пораньше сидит на реке с удочками". А Иван Терентьевич через каждые полчаса вытягивает сеть и бросает пойманную рыбу на дно лодки в ту половину, где вода плещется. И так несколько раз: забросит сеть – смотришь, полную корзину с рыбой несет домой.

Через полчаса жена «удачливого» рыбака уже стучится к нам в дом с вопросом, не нужна ли нам свежая рыба. И мама покупает молодых щук, потому что они действительно свежие, и из них получится отличная фаршированная рыба. А что это за рыба, известно только тем, кто ее пробовал. Когда в доме пахнет фаршированной рыбой, то кажется, что сегодня не обычный день, а праздничный.

Однажды, когда я выгнал корову в стадо и хотел уже вернуться в дом досматривать свои утренние сны, я услышал, что кто-то под горой пилит дрова. А какие под горой могут быть дрова? Может топляков за ночь натаскали? Я конечно, забыв про сон, немедленно побежал на свой НП. И что же я увидел?

Братья Клетецкие – Сашка, Федя и Сенька – распиливали старую полузасохшую ветлу на дамбе, как раз на участке наших соседей Драпкиных. Дерево это давно уже согнулось в три погибели, сердцевина у него была полностью вылущена и неизвестно каким чудом оно удерживалось на весу. Оно всем мешало проходить на дамбу. И все при этом сетовали на кого-то, кто не убирает ее с дороги. Нам же, мальчишкам, дерево очень нравилось тем, что в ее стволе у основания образовалось корыто. Мы туда ложились, как в детскую люльку, и смотрели в высокое синее небо.

Братья Клетецкие сделали для всех полезное дело. Сколько я помню их, они всегда следили за порядком на дамбе: старые деревья срезали на дрова, а новые сажали. Причем, делали они это довольно просто. Я сам несколько раз наблюдал. Они срезали у какой-нибудь ветлы тонкую, прямую как шест, ветвь со свежей зеленой корой; один конец заостряли топором и этим острым концом опускали в глубокую яму и засыпали землей. Потом лунку заливали водой, и на этом посадка нового дерева была закончена. Даже не верилось, что из этого тонкого гладкого шеста вырастет когда-нибудь могучее дерево. Но именно так все и получалось. Недели через две зеленый шест начинал ветвиться, и тоненькие его веточки буквально изо дня в день вытягивались в небо. И казалось, что это дерево растет здесь давным-давно. Вообще, эти Клетецкие очень аккуратны жили. Что мне очень нравилось у них, так это ступеньки с горы, сделанные из камней и дощечек. При любой непогоде можно легко спускаться и подниматься в гору. А у нас были тропинки, которые во время дождя становились непроходимыми.

Так вот, утром братья Клетецкие убрали всем мешавшее дерево, а днем наша соседка тетя Рая подняла на всю улицу настоящий скандал. Она была старая полуслепая женщина и имела привычку выходить на крыльцо и кричать о наболевшем во весь голос на всю улицу. И хоть она никого не видела, но всегда была уверена, что ее слышат. Вот и в тот день, узнав, что Клетецкие распилили дерево, она выскочила на крыльцо и заорала на всю улицу:

– Грабители! Воры! Последнее дерево украли! Чтоб у них руки отсохли! Чтоб они сгорели от этих дров!

Соседи никогда не мешали ей кричать. Знали, что это бесполезно. Пока не выкричится – не перестанет. Все к этому привыкли и не придавали ее выкрикам никакого значения. Но Федя Клетецкий, услышав ее крики, сказал, что они больше никогда не будут сажать деревья против ее дома. И действительно, так это место и осталось голым на многие годы. Но по отношению ко всей дамбе этот оголенный участок не имел решающего значения.

Дамба наша известна всему городу. Еще бы! Это настоящая набережная, покрытая зеленым навесом. Все растущие вдоль нее ветлы наклонили свои обширные кроны над дамбой и опустили свои длинные косы почти до воды. Недаром, особенно летом, все спешили сюда отдыхать. А вечерами не было свободного места от влюбленных пар.

Здесь хорошо было и купаться. Берег весь выложен крупными плоскими камнями, как плитами. Хорошо одеваться – ноги не пачкаются в песке. И главное, здесь сразу начинается глубина – не надо долго ходить по отмели и шупать дно, опасаясь ям, как это делается на песчаной косе. На дамбе прямо с берега бросались в воду, ничего не опасаясь. И загорать или просто лежать здесь было тоже приятно. Гладкие камни были уложены один к одному, всегда чистые, дождями умытые, всегда теплые, потому что за утро они хорошо нагревались на солнце и сохраняли это тепло до самого позднего вечера. Лежишь, как будто дома на печи, и прогреваешь насквозь все косточки.

И Днепр у дамбы был самый широкий, и вид с дамбы – самый красивый. Один только вид на мост чего стоил! Высокие решетчатые стены моста и даже быки под мостом были переплетены толстыми бревнами, но издали все казалось легким и ажурным, будто все это было сделано не для крепости, а ради красоты. Может это мое личное мнение, но по моим наблюдениям, лучшего места для отдыха, чем наша дамба, не было.

Надо сказать, что наш дом расположен как бы в седловине, в самом начале Первомайской улицы между двумя холмами. Именно поэтому во время дождей все ручьи с обоих холмов устремлялись к нашему дому. Они прорезали по Первомайскому переулку глубокую канаву, а в нашем дворе – настоящий овраг. Очевидно, лет сто назад дождевая вода спускалась с горы между нашим домом и домом кузнеца Славина. Иначе чем объяснить глубокий проем между домами, образовавший пологий спуск к реке? Этот спуск к реке все называли Днепровской горой. Даже в отдаленных улицах слышно было: "Пошли на Днепровскую гору!" – это значило, что они спешат к нашей горе, к нашему спуску с горы, чтобы попасть или на дамбу или на песчаную косу, которая, по старой памяти, стала городским пляжем.

Зимой все мальчишки устремлялись сюда. Здесь был быстрый, захватывающий дух, спуск на коньках. Сила инерции выносила конькобежца на середину застывшей реки. Конечно, не только мальчишки приходили сюда. Взрослые еще в большей степени пользовались этим удобным спуском к реке из-за Днепровской воды. Она во многих случаях была незаменима. Хоть у нас и были колодцы на каждой улице, но за днепровской водой ходили каждый день не только соседи нашей улицы, но и жители дальних улиц.

Из моего НП этот спуск с горы был совсем рядом, и я видел всех, кто за чем-либо приходил к берегу реки. Наблюдать, как люди носят воду домой, не менее интересно, чем за проходящим пароходом. Каждый человек делает это по-своему, и среди всех их не было хотя бы двух похожих.

Вот бежит с горы мой друг Исаак Гольдберг. На нашей улице он самый крепкий, самый сильный, самый храбрый, самый отчаянный. Бежит он с горы сломя голову, как и я крутя ведром во все стороны, зачерпнет неполное ведро и так же бегом в гору. А вот Лева Рубинчик с нашей улицы не спешит. Он набирает полное ведро воды и через каждые десять шагов останавливается отдыхать. Неторопливо носит воду и его отец, кузнец Яков Рубинчик, удивительно спокойный и степенный человек. Он всегда носит воду на коромысле и так тихо ходит, что пока поднимается на гору, минут пятнадцать проходит. Зато, когда за водой идет Семен Клетецкий, все только удивляются: два полных ведра с водой на коромысле спокойно висят на плече и

два полных ведра в руках. При этом не выплеснет ни одной капли. Вот это водонос! Такой на нашей улице он один.

Когда я с НП вижу издали идущий колесный пароход, я стремглав бегу на берег, чтобы поближе посмотреть на него. Это ведь был редкий гость на нашей реке. Интересно было смотреть, как образуются волны, как они приближаются и разбиваются о берег. Перед мостом он давал гудок и наклонял трубу к палубе, чтобы случайная искра, вылетающая вместе с дымом, не подожгла мост.

Бегал я к берегу реки и тогда, когда к нему приставали грузовые катера. Они тянули за собой баржи или плоты. Я страшно завидовал матросам в полосатых тельняшках, а про себя мечтал когда-нибудь тоже стать матросом. Однажды такой катер нарисовал Изя Плоткин – старший сын того Плоткина, который работает вместе с моей мамой на хлебобулочной фабрике. Изя учится в Ленинграде на художника. Художником я тоже хотел быть. В тот день Изя пришел на наш двор с плоским чемоданчиком и уселся против стоявшего у берега катера. В чемоданчике оказались краски да кисти, а под крышечкой была белая бумага. Вот на этой бумаге он за пару часов в точности изобразил этот катер. Картина получилась мрачная, в то время как вокруг было светло и солнечно. Но Изя ушел домой, довольный работой.

Однажды, сидя на НП, я увидел Гиту Шумахер – мою «маму» по школьной театральной самодеятельности. Она живет довольно далеко от нас. Смотрю я и глазам своим не верю. Спускается с горы молодая пара в обнимку. Гиту Шумахер я сразу узнал. Она кончила четвертый класс, но лет ей было много: восемнадцать или девятнадцать. В нашей школе было много таких великовозрастных учеников в начальных классах. Даже в нашем классе было двое: Каток и Фельдман. У Абрама Катка все лицо было в морщинах, и он действительно выглядел старичком. За ним укоренилась кличка «восьмидесятилетник». Мы, маленькие, часто над ним смеялись и получали за это крепкие подзатыльники.

Так вот, эта великовозрастная Гита Шумахер шла в обнимку с высоким красивым парнем. Конечно, ее появление на нашей горе меня очень удивило. А почему, вы спросите, я ее мнимой мамой называл? Так это очень просто. В школе решили поставить пьесу "Пятилетку – в четыре". Гита играла там роль мамы, а меня уговорили на роль ее сына. После этого спектакля, как только друзья мои увидят Гиту Шумахер, так кричат: "Смотри, вон идет твоя мама!" Потом я слышал, что она больше учиться не собирается, и что она выходит замуж. Очевидно, что это и есть ее жених. А может они поженились уже?

Одним словом, я очень рад был, что я их вижу, а они меня не видят. Они спустились с горы и пошли не на дамбу, как все влюбленные, а повернули налево, на пляж. Я подумал, что они решили пройтись вдоль берега по песчаной косе. Смотрел я на них, пока они не скрылись за выступом горы, и на этом успокоился. Через несколько дней я побежал в ту сторону, чтобы срезать пару лоз для дудочки, и неожиданно увидел их опять. Они сидели обнявшись на небольшом выступе на середине горы и над чем-то смеялись. Если бы не их смех, я бы пробежал мимо, потому что я был босой, а на тропинке много колючек, и все мое внимание было под ногами. Но смех сверху меня остановил, и я увидел их красивые, счастливые лица, растерялся и забыл, зачем я сюда бежал. При моем появлении они замолчали. Гита конечно меня узнала и крикнула сверху:

– А, Левочка, ты как сюда попал?

– Я здесь живу, – ответил я.

– Никому не рассказывай, что ты нас здесь видел. Хорошо?

– Не знаю, – ответил я неуверенно и тут же убежал домой, унося в ушах их громкий счастливый смех. Теперь они смеялись уже, наверно, оттого, что я перед ними растерялся.

"Хорошее место выбрали они", – подумал я, когда отдышался на своем дворе. Чуть выше того места, где они сидели, за кустом рябины находилось местечко, где я всегда прятался во время игры в «красные» и «белые». Там есть небольшая яма, как нора. Кто-то оттуда выгребал

желтый песок. Там я всегда прятался и был в полной безопасности. На следующий день в такое же время я решил проверить, сидят они там или нет. Подбирался я туда осторожно и не снизу, а сверху горы. Но их там не оказалось. На месте, где они сидели, валялись только конфетные обертки. Не было их и на второй день, и на третий. Я ходил, как в воду опущенный. Даже мама заметила и спросила, не заболел ли я, почему такой скучный? А я действительно переживал, что Гита с женихом перестали сюда ходить. Оба такие молодые, веселые и счастливые. Мне почему-то казалось, что именно я виноват в том, что они больше сюда не идут, что именно я нарушил их счастливое уединение. А как приятно было на них смотреть!

В одно раннее прохладное утро, когда дни становились короче, после того, как я вручил корову пастуху, я решил посмотреть уже в который раз на такое удивительное и необыкновенное явление, как восход солнца из-за леса. Сколько раз я смотрел на это явление и каждый раз воспринимал его с каким-то внутренним немым восторгом. Мне казалось, что именно утром можно увидеть солнце более детально, чем днем, так как днем солнце слепит глаза, а утром можно смотреть на него сколько хочешь. Солнце поднимается медленно-медленно, коричнево-багрового цвета, как спелый, пополам разрезанный, огромный арбуз. Диск солнца кажется огромным по сравнению с солнцем, которое мы видим днем.

Вот оно вышло из-за леса, вроде как повисло над ним, а затем медленно поднимается выше и правее, теряя свои красные краски и обретая светло-желтый ослепительный блеск. С появлением этого яркого диска все вокруг как бы оживает: и трава, и деревья, и река. Воды Днепра, которые только что были гладки, как зеркало, вдруг вздохнут и расходятся рябью, как будто задрожат после прохладной и тихой ночи. И листочки на деревьях вдруг тоже задрожат, зашумят, просыпаясь, и следом все разом, как будто хором, зачирикают воробьи, предвещая прекрасную теплую погоду.

После просмотра такого восхода солнца у меня еще долго рябит в глазах: то появляются, то исчезают темно-зеленые или светло-синие округлые пятна. И еще долго держится это впечатление от рождения нового дня, может быть пятимиллиардного со дня появления нашей планеты.

Но на этот раз мне не пришлось любоваться восходом солнца. Пробираясь к моему НП, я увидел у самой воды на берегу Днепра несколько десятков мужчин, одетых в пальто и картузы. Некоторые из них стояли в воде прямо в ботинках. Я быстро прошмыгнул на свой НП и стал наблюдать за ними. А с горы спускались еще и еще мужчины: старые и молодые, в одиночку и группами. Я был безмерно удивлен. Никогда я не видел, чтобы в столь ранний час шли к Днепру так много мужчин. Это был случай из ряда вон выходящий. Они растянулись вдоль кромки берега метров на пятьдесят и, обернувшись лицом на восток, навстречу восходящему солнцу, забормотали какие-то молитвы и в то же время стали выворачивать свои карманы в брюках, пиджаках, пальто. Казалось, что они разыгрывают комедию для собственного удовольствия.

Когда все разошлись, я решил узнать, что это была за церемония, и за ответом направился к нашему соседу Симону Ривкину. Он все свое свободное время проводил за чтением толстых книг и мог ответить на любой вопрос. И он, действительно, объяснил мне смысл спектакля на берегу Днепра. Оказывается, что сегодня у евреев какой-то «судный» день. Такой день бывает в начале определенного месяца по лунному календарю. В этот день евреи освобождаются от всех грехов, которые накопились за прошедший год.

– А почему вы не ходили к реке? – спросил я у дяди Симона.

– У меня грехов нет, – ответил дядя Симон, смеясь.

– Получается, – сделал я заключение, – что у реки собрались одни грешники.

– Выходит так, – подтвердил дядя Симон и похвалил меня за догадливость.

И еще при одном случае я оставлял свой НП – это тогда, когда Борис Славин, наш сосед по другой стороне Днепровской горы, шел на дамбу купаться. Отец его, старый человек, имел свою кузню во дворе. Последний кустарь-одиночка среди кузнецов во всем городе. Крестьяне

все реже и реже заезжали к ним в кузницу, чтобы подковать лошадь или поправить шину на колесе. Другие кузнецы работали в кузнечной артели «молот» в кузнечном переулке, там где кончается улица Бобруйская и начинается шоссе до города Бобруйска. В кузнице дяди Ешки работал его сын Борис. Отец был уже стар. Он помогал сыну и, конечно, учил. Этому Борису было уже около тридцати, а он все ходил в женихах. Отсутствие матери и постоянная бедность наложили на него свой отпечаток. Он был молчалив и угрюм, но всегда готов был помочь в любой просьбе.

Так вот, когда в кузнице делать было нечего, Борис Славин шел купаться на дамбу. И тогда я бросал свой НП и бежал вслед за ним. Если на соседнем дворе сидел сын тети Раи (той самой, которая любит ругаться на всю улицу), то я ему на ходу кричал с восторгом: "Пойдем смотреть, как Борис Славин купается!". И он охотно бежал со мной.

Сына тети Раи тоже звали Борисом. Он был единственным сыном у тети Раи. Дочерей у нее было много, а сын – один. И это было его несчастьем. Они его кормили всякими сладостями, и он рос болезненным мальчиком. Хотя он и был старше меня на четыре года, но был намного слабее меня. Вот вместе с ним мы торопились на дамбу смотреть, как Борис Славин купается.

А смотреть было на что. Конечно, мы не первый раз прибегали смотреть на Славина во время купания, но все равно каждый раз удивлялись его мощному торсу. Лицо у Бориса Славина худощавое, даже больше похожее на изможденное, но стоит ему только раздеться до пояса, как он сразу становится похожим на борца-богатыря. Настоящий геркулес. Весь он состоит из округлых мускулов. Что плечи, что грудь, что руки, что ноги – везде одни мускулы. Сразу видно, что кузнец. Видя с каким интересом мы за ним наблюдаем, он чуть-чуть улыбается и начинает играть своими мускулами. И они будто оживают, передвигаясь с места на место. Эх, как мы завидовали его силе! Но тем не менее, смотреть на него было немного жутковато.

Человек, который его не знал, даже ужаснулся бы. А нам было хоть бы что. Наверно потому, что он – наш сосед, и мы его знали с малых лет, мы знали его тихий и застенчивый характер. Борис был в буквальном смысле волосатым человеком. От шеи до пят, от плеч до кистей рук, – весь он был покрыт кудрявыми завитушками черных волос. От старших я слышал, что если у кого богатая растительность на теле, тот счастливый человек. Поэтому я всегда завидовал всем, у кого было хоть немного волос на теле. У меня, к примеру, их совсем не было. Однако Борису Славину тоже не позавидуешь. Ему уже около тридцати, а сказать, что он счастливый человек – никто не скажет. Да что он, вся их семья пребывает в бедности. Беднее их на нашей улице, наверно, никого и нет. Даже забора вокруг двора и того нет. А в их доме всегда полумрак, стены бревенчатые, стол и скамейки грубо сколочены из досок. Заходить к ним никогда не хотелось. Разве это счастье?!

Но зато я с удовольствием посещал их кухню, помогая раздувать огонь, хотя силы на перемещение меха едва хватало. Мне нравилось, как они работают с раскаленным куском железа. Дядя Ешка – маленьким молоточком, а Борис – тяжелым молотом. Я его с трудом от земли отрывал, а Борис целый день машет им вверх-вниз, вверх-вниз и не видно было, чтобы он уставал. Отец же его с маленьким молоточком и то часто садился в сторонке отдохнуть: старик все-таки.

За мою помощь они мне никогда не отказывали в моих просьбах и раскаленным стержнем протыкали дырочки в моем деревянном оружии: винтовке, шашке, револьвере – это было необходимо, чтобы протянуть веревочки и вешать эти игрушки через плечо. Не знаю почему, но я всегда был «воинственно» настроен...

Мы бегали на дамбу смотреть не только богатырское телосложение Бориса Славина. Нам было еще интересно смотреть, как он плавает. А пловец он был больше чем искусный. Он никогда сразу не бросался в воду. Разденется и минут пять или десять сидит на берегу и остывает. Затем подойдет к воде, ступит один шаг в воду (здесь берег уходит круто в глубину) и шумно

ныряет. Волны от его броска постепенно расходятся, вода опять становится гладкой и тихой, а Бориса все нет и нет. И вдруг на самой середине реки, тихо поднимаются его руки, а затем и голова. Он плывет спокойно, переваливаясь с боку на бок, не торопясь делает закидки руками, а у шеи и головы образуются высокие пенные буруны, как на носу у парохода. Доплывет до другого берега (а Днепр здесь широкий) и без остановки плывет обратно. Где-то поближе к дамбе Борис начинал показательную программу: то кувыркнется, то выбросит все тело вверх ногами и на какое-то мгновение повисает на воде, то вдруг ляжет на воду без движений – голова, руки и ноги видны над водой – и не тонет. Вода вокруг него успокаивается, и видно, как быстрое течение несет его к мосту. А через некоторое время вдруг нырнет и, не успеют круги разойтись в том месте, как у самого берега показывается его чуть-чуть улыбающееся худощавое лицо.

О, как мы завидовали ему. Сами мы еще плохо плавали. Но несмотря на это, дамбе не изменяли. Лучше поплавать здесь около берега, чем на песчаной косе далеко от берега. Многие мальчишки боялись здесь купаться и уходили на косу, на пляж. Но там их часто ждали движущийся песок, неожиданные ямы и печальные последствия.

Из своего НП я несколько раз видел, как тонут мальчишки. Кто с душераздирающими криками, а кто тихо, безмолвно уходит под воду, да так, что друзья думают, что он нырнул и даже считают вслух, сколько секунд он продержится под водой. А когда счет переходит за шестьдесят, всех охватывает беспокойство, и несутся над Днепром тревожные, запоздалые крики неотвратимой беды: "Утонул!"... Прибегают взрослые, ныряют, пробуют найти мальчика, но не находят. Затем прибегают родители, вызывают рыбаков, рыбаки ставят сети ниже по течению, шупают дно реки рыболовными баграми и опять ничего не находят. Был мальчик – и нет мальчика. Родители еще и еще спрашивают товарищей сына. Как им хочется, чтобы кто-нибудь сказал, что их сына с ними не было. Но товарищи стоят на своем. И постепенно все расходятся. И идет печальная весть из дома в дом, и предупреждают родители своих детей, чтобы они не смели ходить к реке без взрослых. Но проходит несколько дней и опять на пляже ватаги мальчишек с восторгом купаются в реке, позабыв о всех опасностях.

Однако не подумайте, что в нашей реке тонули только дети. Бывали случаи, когда тонули взрослые, умеющие плавать. Однажды я был в гостях у моего друга Арона Шпица, который живет на улице Луначарского, около русского кладбища. Обычно я шел домой по улице Либкнехта. Но на этот раз мне захотелось пройтись вдоль берега реки. На пляже было полно народа. Почти все плескались недалеко от берега. Только одна женщина плавала на середине реки. И вдруг ни с того ни с сего она стала кричать: "Помогите! Помогите!" Вначале все стояли и смотрели на нее в недоумении. Но вот она скрылась под водой, а через секунду опять вынырнула и опять донеслось: "...ите!" Вот тогда-то несколько человек бросились бежать по мелководью. Один из них обогнал всех и поплыл к ней. А она то опускалась, то поднималась и издавала нечленораздельные звуки.

Когда мужчина подплыл к тому месту, где она тонула, ее не было над водой. Он нырнул и через несколько секунд показался вместе с ней. Она была в беспамятстве, как неживая. Мужчина вынес ее на берег, положил животом на свое колено и потихоньку надавил на спину. И вдруг изо рта и носа брызнули фонтаны воды. Женщина раскрыла выпученные глаза и издала страшный визг. Я испугался и убежал, так и не узнав причину, из-за которой она чуть не утонула. И долго мне потом вспоминался ее страшный взгляд и сумасшедший крик. Нет, что ни говорите, а лучше нашей дамбы нет места для купания. Насколько я помню, на дамбе никто никогда ни разу не тонул...

После купания Борис Славин любил полежать на гладких теплых камнях с закрытыми глазами, погреться на утреннем солнце. Говорят, утренние лучи солнца самые полезные для здоровья человека. Мы с Борисом Драпкиным сидим и ждем, пока Борис Славин немного обсохнет. Потом он сядет и что-нибудь расскажет про старину. Именно от него я узнал, что

там, где теперь – наша дамба, раньше была обыкновенная улица, и на высоком крутом берегу стояли дома и жили люди. Об этом ему рассказывал дед его, когда он был маленьким.

Каждый год во время половодья Днепр сильно подмывает правый берег, но не везде одинаково. Сильный ущерб наносится тому берегу, где порода земли мягче. Много, конечно, зависит и от силы наводнения. В силе речной воды можно убедиться, если проследить за изменениями кладбищенской горы. Когда Днепр протекал вдоль правого высокого берега мимо кирпичного завода, то кладбищенская гора нависала прямо над водой без особых изменений сотни лет. Но затем Днепр, намыв песчаную преграду, повернул в поле, сделав большую дугу, возвратился к кладбищенской горе и так усиленно стал ее подмывать, что она отступила от берега метров на двадцать пять. Каждый год падали сосны, терявшие под собой опору, а у подножья горы вечно валялись черепа и кости, вывалившиеся из старых могил, которые были довольно далеко похоронены от края горы. То же самое происходило когда-то и с нашей горой. Чтобы приостановить разрушительное действие воды, под нашей горой построили дамбу, замостив весь берег большими камнями. Можно с уверенностью сказать, что эта дамба спасла от разрушения всю южную часть городка, в том числе и возвышенность, на которой стоит замок...

Бывать с Борисом Славиным на дамбе было интересно...

С Борисом Драпкиным у нас часто завязывалась крепкая дружба. Правда, она носила временный характер. Но зато в это время мы всегда были неразлучны: куда я – туда и он, куда он – туда и я. Я уже говорил, что он был старше меня, вечно болел и сколько мать ни кормила его, он никак не поправлялся. Но он имел несколько достоинств. У него было доброе сердце. Даже при строгом запрете матери он в укромном месте, чтоб никто не видел, с удовольствием делился со мной своими лакомствами. Для меня это были деликатесы богачей, которые были не по карману нам. Но нельзя сказать, что родители Бориса были богаче. Просто он у них был единственный мальчик, и они ничего не жалели для него. И еще немаловажное для меня достоинство Бориса было в том, что он был лучшим математиком в школе.

Так вот, при очередном периоде нашей дружбы, я раскрыл ему мою тайну и привел его на свой НП. А если честно признаться, то мне уже надоело в одиночку сидеть на НП. Еще немного времени и он стал бы мне неинтересен. Трудно все-таки в одиночку переживать все увиденное. Я расхвалил Борису все преимущества своего НП перед обыкновенным наблюдением со двора. С тех пор мы вместе дежурили на НП. Теперь мне стало намного веселей. НП мы расширили. По предложению Бориса мы принесли сюда на хранение различные вещи, чтобы НП выглядел, как рубка на корабле. И среди прочих вещей здесь появились махорка, бумага, спички (ведь никто никогда еще не встречал некурящего моряка). И конечно, начались заинтересованные разговоры. Не могли же мы сидеть вдвоем и молчать. Все эти нововведения на НП: шум, курение, – не могли, конечно, сохранить тайну нашего местопребывания. Выследила нас тетя Сарра, жена дяди Симона Ривкина, хозяйка нашего дома.

Когда мой отец умер, мама все, что могла, продала и купила у Ривкина половину дома. У тети Сарры и дяди Симона детей не было. Это были аккуратные, правдивые и добрые люди. Они принимали активное участие в становлении моих сестер, брата и меня, конечно. Они были старше моей мамы, и поэтому мама всегда считалась с их советами. Нам очень повезло, что мы купили полдома именно у них. Мы, дети, доставляли им массу неудобств, а они смотрели за нами, как за своими детьми. Я не представляю, как бы мы существовали без их участия.

Это тетя Сарра будила меня каждое утро в половине пятого, чтоб я успел подоить корову и выгнать ее в стадо. Сам я никогда не смог бы проснуться в такую рань. Тетя Сарра была домохозяйкой, и пока мама была на работе, она всегда за нами следила. Дети есть дети. Мы часто убегали играть, забыв запереть двери дома. И если бы не тетя Сарра, не избежать бы нам несчастий. А дядя Симон был единственный мужчина в доме. Он заботился о его состоянии и состоянии всех построек во дворе. Мы, дети, его слушались. Он никогда не повышал на нас голоса.

Одним словом, как это случилось, я не знаю, но тетя Сарра застала нас однажды на НП в самое неподходящее время, когда мы изображали из себя заядлых курильщиков и давились от кашля. У нас душа ушла в пятки, когда мы вдруг обнаружили, что тетя Сарра стоит рядом с нами. От неожиданности мы позабыли спрятать или бросить самокрутки.

– Так вот вы чем здесь занимаетесь, – сказала она тихим, ничего хорошего не предвещающим голосом, – сарай хотите спалить, пожар устроить вам захотелось! – Она говорила угрожающим голосом, загородив нам дорогу к выходу. А мы, как истуканы, пялили на нее глаза и все еще держали дымящиеся закрутки в руках. – Немедленно потушите папиросы! – Приказала она повышенным голосом, – и марш отсюда, чтоб духу вашего здесь больше не было!

Мы, наконец, пришли в себя и, шмыгнув мимо нее, разбежались по домам. Тетя Сарра, конечно, рассказала о нашем курении и отцу Бориса, и моей матери. Бориса отец побил ремнем. Думаю, что не очень больно: они его все же очень жалели и берегли. А меня мама только поругала, но бить не стала. Меня вообще никто не решался бить, потому что я – сирота. Сирот почему-то люди жалеют. Сам я себя сиротой никогда не чувствовал. Наверно, привык без отца обходиться, но люди, я имею в виду тех, кто знал нашу семью, всегда об этом помнили.

Вечером, когда пришел с работы дядя Симон, он взял лопату и выкорчевал весь бурьян вокруг моего НП. Когда я на следующее утро заглянул туда, то понял, что мне здесь делать больше нечего. Теперь я был всем виден, наверно, лучше, чем они мне, и весь смысл уединения потерял для меня всякое значение. Хочу только сказать, что если тайной владеют двое, это уже не тайна, ибо она раньше или позже все равно раскрывается.

Я начал с истории моего НП потому, что именно с этой игры началось мое любопытство ко всему, что окружало меня и что очень способствовало расширению моих познаний и более глубокому пониманию поступков моих друзей и товарищей. Естественно, что от природы я был любознателен, и поэтому многие моменты моего детства остались в памяти на всю жизнь. Я намеренно довел историю с НП до его разрушения, хотя дальнейший рассказ начнется еще со времени его наивысшего расцвета, когда я там был еще в полном одиночестве.

## Глава вторая

### Мама

Сегодня у меня почти свободный день – у мамы выходной. Но все равно не спится, и я устроился на своем НП и наблюдаю за Иваном Терентьевичем, который делает вид, что он безобидный любитель-рыболов, а на самом деле у него под водой рыболовная сеть перегородила пол-Днепра. И вдруг я слышу мамин зов:

– Ле-вааа!

Такая привычка здесь почти у всех мам, живущих на берегу Днепра. Если им нужен сын, они об этом кричат во весь голос, на весь белый свет. Конечно, мама здесь ни при чем – так уж повелось истари. Голос у мамы – высокий и чистый. Крик ее проносится над горой, над Днепром, над лугом и врывается в тишину леса, а оттуда, будто в ответ, возвращается отдаленное и приглушенное эхо: "Ааа...!"

– Ле-ваа...!

Мама знает, что я где-то поблизости и будет звать меня до тех пор, пока я не явлюсь перед ней. Чтобы не выдать мое укромное место, я тихо выбираюсь из-за сарая и по козьей тропе пробираюсь на улицу с другой стороны дома, обегаю его и, когда мама кричит в третий раз, стою уже сзади нее и, улыбаясь, говорю:

– А я уже здесь!

– О, – удивляется она, – где же ты был? Я кричу, надрываюсь на весь белый свет, а он стоит себе сзади и слушает!

Она возмущается, а мне почему-то очень приятно ее возмущение. Мне нравится всех удивлять, а маму в особенности, так как она хорошо реагирует. Наверно, у меня очень скверный характер.

– У меня кончилась вода. Принеси воды, – говорит мама, направляясь в дом.

Я знаю, что от воды мне не отвертеться, но, тем не менее, говорю с обидой:

– Но я уже два раза приносил воду!

– Но ты ведь знаешь, что без воды я ничего не сделаю, а уйти от горячей печи мне нельзя.

Мы заходим на кухню, где стоят два пустых ведра.

– Видишь, – указывает мама на пустые ведра, – а мне еще белье кипятить. Принеси, пожалуйста, тебе ведь недолго.

Она уходит в спальню. Я быстро хватаю ведра за края стенок, чтобы не было шума, и бегу вниз по крутой горе, набираю в реке неполные ведра воды и так же бегом поднимаюсь по соседней пологой горе, через двор Драпкиных, ставлю ведра на то же место на кухне и сажусь на скамейку, как сидел прежде. Через несколько минут мама выходит на кухню и, увидев меня сидящим на прежнем месте, сердито говорит:

– Ты еще не ходил! Ну что я буду делать без воды? – Увидев ведра с водой, с досадой кричит на меня: – Зачем ты заставляешь меня напрасно кричать на тебя? Ну что ты за мальчишка такой! Ну, точно, папин характер!

Последнее замечание мне по душе. Отца я никогда не видел, но быть похожим на него мне нравилось. Я знаю, что мама «ругает» не со зла, а для острастки, как это принято и как положено мамам. Ведь больше некому меня учить: отца-то нет у меня. А я просто, наверно, соскучился по общению с мамой. Она очень редко бывает дома: то она на работе, то на совещаниях, то на собраниях, то выполняет общественные поручения. А мы, дети, целыми днями одни. Разве что соседка тетя Сарра заглянет к нам, когда у нас слишком шумно или очень тихо, как раз в тот момент, когда что-то может случиться. Она обычно говорит маме: "Не дай бог, если устроят пожар в доме!" или "А вдруг что-нибудь проглотят несъедобное!"

Мама у нас – хозяйственный человек. Она считает, что у нее должно быть все, что положено на хозяйском дворе: и корова, и теленок, и куры, и утки, и огород. Она готова все завести, и кое-что заводит, но смотреть за всем этим хозяйством она не успевает, ибо вечно занята. Корову всегда доил и выгонял в стадо мой старший брат Лазарь. Он на пять лет старше меня. Но теперь он уехал учиться в техникум в город Минск, а его обязанности перешли ко мне. Мама говорит, что другого выхода нет. Старшая сестра Соня боится близко подойти к корове, а младшая сестра Саша – еще совсем маленькая. Я, как говорит мама, теперь старший мужчина в семье и должен смотреть за всем домом и за коровой.

На домашние дела я не жалею. Подмести пол, принести воды или сварить какой-нибудь суп – это легче легкого. Но корова доставляла мне массу неудобств. Сами посудите, что значит для восьмилетнего мальчика вставать в такую рань: в половине пятого утра! Говорят, что в это время самый вкусный сон у детей! Потом, корову надо накормить и подоить и успеть выгнать в стадо. Вечером корову надо встретить и опять накормить и подоить. Кроме того, надо чистить сарай от навоза, делать свежую подстилку из соломы, лезть на чердак и подбрасывать сено. И все это в лучшем случае, когда все идет хорошо. Но, к сожалению, не всегда все идет хорошо. Если во время дойки корову кусают мухи, она отбивается от них хвостом, но, как мне кажется, чаще попадает мне по лицу. Бывает больно до слез, но я терплю. Дойку надо обязательно закончить. Еще хуже бывает, когда у коровы болят соски. Тогда корова часто бьет ногой по ведру и проливает все молоко. Тогда уж мое терпенье не выдерживает, и я проклиная всех коров на свете. Я отказываюсь доить, но мама доказывает мне, что кроме меня больше некому доить.

Но самая большая неприятность с коровой случается тогда, когда соседка Сарра будит меня с опозданием. Это значит, что корову надо будет гнать в поле мне самому. А дело это

нелегкое. Дело в том, что коров через мост гнать запрещено. Их перегоняют через Днепр вплавь, чуть ниже моста. Там есть такое мелкое место. Почти брод. Коровам приходится плыть метров двадцать. Всем стадом коровы дружно переплывают Днепр, но когда я гоню ее одну, начинается длинная канитель: то корова в воду не хочет идти, то войдет по брюхо в воду и стоит. Лезть в воду неохота, и я начинаю бросать в нее комья земли. После удачного броска, когда ком попадает ей в бок, корова идет в глубину и плывет на другой берег, а я бегу на мост. Прибегаю на противоположный берег, а корова опять стоит в воде и отмахивается хвостом от мух. Что тут делать?

Бросать в нее что-нибудь уже опасно – она может повернуть и поплыть обратно. Я рву пучок свежей травы и маню ее из воды. Долго маню. Но выходит она из воды только тогда, наверно, когда ей надоест стоять в воде. Я ломаю длинную лозу и хлещу корову в отместку за ее упрямство и чтобы скорее пригнать ее в стадо. Вот и стадо. Но пастух оказывается не наш. Я гоню ее к другому стаду коров. Но и там тоже не наш пастух. И только третье стадо коров, которое находится у самого леса, оказывается наше. Я удовлетворен: наконец-то нашел наше стадо коров, и довольный бегу домой. Бежать по лугу, где всегда пасутся коровы, надо очень осторожно, а то ногу сломаешь. Коров сюда выгоняют, как только сходит вода после половодья. Земля еще рыхлая, и коровы оставляют своими копытами бесчисленное множество глубоких ямок. Однажды я попал в такую лунку и сразу же бежать расхотелось: ногу чуть не сломал...

Вот почему, когда у мамы случается выходной, я себя чувствую свободным человеком. Мама сама занимается коровой, а все остальные работы меня особенно не угнетают. Зато, когда мама дома, у нас как бы праздник. В этот день у нас бывает настоящий обед. Причем, все, что мама готовит, очень вкусно. Даже обыкновенную целую картошку она сварит и подсушит так, что ее можно есть без молока "с таким", как говорит мама. Ее печенья таяли во рту. А о разных торгах и говорить не приходится. Я всегда радовался, когда мама объявляла, что у нее завтра выходной. За выходной день она успевала переделать массу дел. Все у нее горело в руках. Соседки без конца удивлялись, как моя мама успевает справляться со всеми делами. Ведь у нее было четверо детей, и воспитывала она их без мужа. Она работала чаще в две смены, чем в одну, чтобы иметь возможность нас кормить и одевать не хуже, чем у других.

Она использовала малейшие возможности для лучшего нашего обеспечения. Так, когда сгорела хлебопекарня (напротив деревянной церкви), она на пепелище посадила огород, хотя никто не верил в эту затею. Потом рабочие пекарни приходили и с удивлением смотрели: на этом огороде росли лук, редиска, огурцы, свекла, капуста и картофель. Все понемногу, но все успешно росло среди кирпичей и хлама, как это обычно бывает на пепелище. Однажды она побила рекорд по выводке цыплят – восемнадцать штук. Это было интересное зрелище: одна курица и восемнадцать желтых живых комочков. Вся улица у нас побывала, чтобы полюбоваться ими. Но радость эта длилась недолго. Случилась беда. Некому было смотреть за цыплятами. Мама на работе, а мы, дети, были слишком беззаботны. Да и хозяина настоящего не было у нас. Дверь во двор держалась у нас на честном слове. И надо же было так случиться, что курица с цыплятами была у двери, когда дверь упала на них, и от всей куриной семьи осталась в живых курица да пять цыплят. Ох, и горевала же мама. Как будто родню какую потеряла.

Кроме всех домашних дел у нее было полно дел по общественной линии. Моя мама была коммунисткой. При этом она не просто числилась в членах партии, но и активно принимала участие во всех партийных мероприятиях. Надо сказать, что мама моя была почти безграмотная. Не пришлось ей ходить в школу. С восьми лет она уже зарабатывала себе на хлеб. Когда ее приняли в члены ВКП(б), она стала посещать школу ликбеза. Учиться ей было трудно. И работа была трудная – в хлебопекарне у печи, – и хлопот по дому было много, но она упорно училась и уже умела складывать буквы в слоги, а слоги – в слова. Так вот, будучи почти неграмотной, она была казначеем профсоюза работников хлебопекарни и председателем общества МОПР. На всех собраниях ее постоянно выбирали в президиум. И хотя по-русски она говорила

очень плохо, но без стеснения выступала с трибуны по любым вопросам. Коверкала она русские слова безбожно. После ее выступления товарищи по работе пересказывали, как она какое слово говорила и хохотали до коликов. Но мама никогда не обижалась, а наоборот, вместе со всеми смеялась, как будто так смешно говорил кто-то другой, а не она. Но во время ее выступления никто не смеялся, так как она всегда выступала по существу дела, а это было главным.

Когда у мамы были свободные вечера, я ей тоже помогал учиться говорить по-русски. Но мы не столько учились, сколько хохотали. Я тоже прыскал от смеха, слушая, как она произносит какое-нибудь трудное слово. И она тоже смеялась со мной. Еще более интересными получались у нее слова, записанные ею на бумаге. Они вызывали не смех, а удивление. Ее записки не только я, но и академики русского языка не смогли бы прочесть, а она их читала так же свободно, как мы читали книгу. Дело в том, что она упорно не писала гласные буквы, одни только согласные. И как она помнила, какие гласные после каких согласных должны быть, я до сих пор удивляюсь. Единственное, что можно подумать, так это то, что она, возможно, помнила свои записки наизусть. Когда она готовилась к партучебе, я ей помогал учить первые главы истории ВКП(б). Я ей читаю, а она точь-в-точь пересказывает. Абзацами. А как только надо все вместе рассказать, так начинает путать. Опять какое-нибудь слово исказит до смешного и опять смеется. Насмеемся вдоволь, а она вдруг вздохнет глубоко и скажет:

– Хорошо вам, вас всему учат в школе, а нас никто не учил. А теперь и наука не лезет в голову.

Каждый год они начинали учить историю партии заново, с первой главы. И каждый год мама учила первую главу учебника, как будто новый материал. То, что надо по дому, по работе, по общественной линии, она помнила, а про первые шаги рабочего движения, про ленинский "союз борьбы за освобождение рабочего класса" забывала. Я уже помнил почти все наизусть, а она с трудом отвечала заданный урок на занятиях в доме политпросвещения.

Конечно, голова ее была полностью занята другими заботами. Эта постоянная перегруженность различными хлопотами привели ее однажды к драматическому случаю. Как я уже сказал, мама была казначеем в своей профорганизации при хлебопекарне. Как-то раз она отправилась в сберкассу сдавать профсоюзные взносы. Сумма была немалая – 418 рублей. Если мамина зарплата была 42 рубля в месяц, то эта сумма составляла десять маминых зарплат. Кассира на месте не оказалось. Разговорившись со знакомой, мама незаметно для себя вышла на улицу, забыв у окошка кассы пакет с деньгами. Когда же она спохватилась и бросилась назад в сберкассу, пакета на месте уже не было.

Никогда я не видел маму в таком отчаянии. Она бегала по дому туда и обратно и рвала на себе волосы. Соседка, тетя Сарра, успокаивала ее, а она никак не могла успокоиться и непрерывно повторяла одно и то же:

– Что я теперь буду делать? Что я теперь буду делать?

– Может еще найдутся деньги, зачем ты уж так переживаешь, – говорила ей тетя Сарра. Но мама ее, наверно, не слышала и, держась обеими руками за голову, бегала по залу и внятно бормотала:

– Боже мой, как мне теперь жить! Чем я буду детей кормить? Какая-то боль охватила и мое сердце. Я не мог больше смотреть на такую маму и выбежал из дома в свое укромное местечко на НП. Мне было очень жалко маму, но помочь я ей ничем не мог. И это угнетало. После я узнал, что мама ходила к директору хлебопекарни товарищу Либерману и к его заместителю товарищу Шееру. Они с большим сочувствием отнеслись к ее несчастью. На общем собрании рабочие хлебопекарни решили помочь ей. Часть денег собрали рабочие, часть денег выделил профсоюз, а часть денег мама одолжила у соседей.

Общими усилиями деньги были внесены в кассу, но с тех пор в нашем доме воцарилась тишина. Мама перестала петь песни и смеяться. Чтобы как-то выйти из трудного положения, пришлось в спальню, где спали мама и Соня, впустить квартирантов. Большую двуспальную

кровать перетащили в зал. А в спальне появились первые квартиранты – двое парней, приехавшие из деревни на шестимесячные курсы бухгалтеров. Оба отслужили в армии, оба – рослые и красивые. Один был веселый и ловко крутился на турнике, а второй был серьезный, степенный, всегда аккуратно одетый, при галстуке. Вот этот второй взял и ни с того, ни с сего влюбился в нашу Соню. Каждый день уговаривал он маму отдать Соню за него замуж. Обещал о ней заботиться и не обижать. Но мама не поддавалась его уговорам, ссылаясь на то, что Соня еще очень молодая. А Соне было восемнадцать лет. Но разве можно отдать ее замуж за малоизвестного человека, да еще за русского? Нет, на такое мама согласиться не могла. И ее партийность здесь ни при чем. Традиции сильнее ее. Мама была очень рада, когда квартиранты закончили курсы бухгалтеров и разъехались по домам. Она опасалась, что этот парень увезет ее Соню без ее разрешения. После их отъезда мама опять повеселела и стала такой, какой была до потери денег.

Время лечит от всех бед. И вот радость, что с Соней ничего не случилось, вытеснила старую боль. Мама стала опять веселой и жизнерадостной. Накануне тридцатых годов в стране были большие затруднения с хлебом. Год был неурожайный. Колхозы были еще слабые, а кулаки хлеб прятали или даже гноили в ямах, но государству не сдавали. Молодое советское государство вынуждено было распределять хлеб по карточкам. До этого времени мама пекла булки и баранки.

А после, когда ввели карточки, выпечку изделий из белой муки прекратили, а маму перевели к печам на выпечку черного хлеба. Сразу у хлебных магазинов стали выстраиваться длинные очереди. Люди уже с ночи дежурили. Всех рабочих хлебопекарни прикрепили к хлебному магазину Рогинского. Так тогда называли магазин. Такая тогда была традиция, продолжавшаяся с дореволюционного времени – магазины называли по фамилии их хозяев. Спросишь у кого-нибудь: "Куда идешь?" И получаешь короткий ответ:

– К Шпицу!

– К Хазанову!

И всем уже ясно, что если к Шпицу, то это – в магазин одежды и ткани. Если к Хазанову, то это – в продовольственный магазин...

Так вот, Рогинский заведовал хлебным магазином, который находился на углу улиц Циммермановской и Луначарского. Мужчина он был представительный, высокий, широкоплечий, с квадратным подбородком. Стоя за прилавком, он возвышался над всей очередью, как скала. К нему-то и выпало мне счастье ходить за хлебом. А что было делать? Мама и Соня работают, а Саша еще маленькая, а у старшего брата – учеба и комсомольские дела. Он у нас был занят всегда еще больше, чем мама. По степени активности в общественных делах он был весь в маму. Я тоже учился, но второй класс никто не считал за учебу. Так, безделица. Да и сам я считал себя самым свободным человеком в нашей семье.

Итак, мне было поручено выкупать по карточкам хлеб. Но скажите сами, какой мальчишка согласится тратить часы, чтобы стоять в очереди, если даже эта очередь за хлебом? И я никак не мог решиться занимать очередь на несколько часов. Вся моя детская душа была против этих шумных очередей с неизбежными спорами и ругательствами. Мама мне сказала, что Рогинскому дано указание, чтобы он рабочим хлебопекарни отпускал хлеб вне очереди. И меня мама представила ему, когда я приходил к ней на работу.

Поэтому я всегда смело и уверенно, хотя и с большим трудом, пробивался к стойке, где стояли весы и протягивал наши карточки Рогинскому. Но он всегда почему-то делал вид, что не видит мою руку с карточками. Я не понимал его и смотрел на него удивленными глазами. Конечно, стоило ему кому-то отвесить хлеб без очереди, как сразу поднимали крик несколько женщин. Но нам ведь положено, а он даже не смотрит в мою сторону. От досады я начинал хныкать, а затем и плакать. Тогда-то он вдруг замечал меня, брал мои карточки и объяснял очередным женщинам, что я сын работницы хлебопекарни. Женщины, глядя на плачущего мальчика не шумели на продавца. А я уходил домой с хлебом, но не очень довольный собой.

Я все опасался, что если о моем плаче узнают в школе, то меня засмеют. Долго никто не знал о моих унижениях в очереди. Но однажды кто-то принес в класс это известие, и меня стали дразнить "несчастной плаксой". Это было обидно, потому что я не имел права защищаться, ибо это была правда. Не стану же я каждому объяснять, что я плачу нарочно.

Однако, после этой клички я наотрез отказался ходить за хлебом. Мама сама стала покупать хлеб. Ее Рогинский не смел задерживать ни минуты – она ведь спешила на работу. Но история с моим хождением за хлебом на этом не кончилась. Через некоторое время по требованию рабочих пекарни хлеб им стали отпускать прямо на работе, и я каждый день ходил за ним, но это уже было пятиминутным делом – хлебопекарня была недалеко от нас по улице Циммермановской, между Северо-Донецкой улицей и Базарной (ныне улица Фрунзе).

Мое первое посещение хлебопекарни осталось в моей памяти на всю жизнь. Это случилось, когда мне было лет пять, а может быть и меньше, в один из тех зимних дней, когда солнце закрывают тучи, и не поймешь, то ли на улице день, то ли вечер. Скучно было в такой день сидеть одному дома. И пришла мне в голову мысль пойти к маме на работу. Брат как-то показывал дом, где мама работает.

Надев пальтишко и шапку и закрыв на ключ наружные двери, я отправился к маме. Прошел я по нашей улице до Бобруйской, затем повернул на Циммермановскую (ныне улица Ленина) и, пройдя мимо белой каменной церкви, перебежал на противоположную сторону, как раз напротив магазина Шпица. Мороз меня уже прохватил, но и мама уже была рядом. Пройдя еще метров пятьдесят мимо дверей «торгсина», милиции и библиотеки, я оказался у дверей хлебопекарни. Старший брат мне их показал, но не сказал, а может и не знал, что ими не пользовались. Подошел я к дверям и замерзшими руками потянул их на себя. Однако двери не поддавались. Тогда я постучал кулачком, но никто не открывал. Я стал стучать ногой – опять никакого толку. А мороз все ощутимей морозил меня. "Что ж это такое, – думал я, – мама рядом, а я не могу к ней пройти". Я стал стучать еще ногой, но дверь не открывалась. Подумав, что я могу здесь замерзнуть, я не нашел другого выхода, как заплакать.

Я стоял и плакал у этих высоких, глухих дверей, а мимо меня спешили туда и обратно люди, укутанные с ног до головы, и никто не обращал на меня внимания. Мне бы догадаться бежать обратно домой – ведь дом-то совсем близко, но я об этом и не подумал. Потеряв всякую надежду на благополучный исход, я заплакал во весь голос. И вдруг какая-то тетенька остановилась возле меня и спросила:

– Мальчик, почему ты здесь плачешь?

– Я хочу к маме, – ответил я, весь дрожа от холода.

– Где же твоя мама?

– Вот тут, – ответил я, указывая на закрытую дверь.

– Значит, твоя мама работает в хлебопекарне?

– Да, – подтверждаю я, переставая плакать.

– Ох, ты бедненький мой, – запричитала тетя. – Ведь ты мог здесь совсем замерзнуть, двери-то эти совсем не открываются. Пойдем, я покажу тебе вход в хлебопекарню.

И она повела меня дальше по улице, завернула за угол на улицу Базарную, и здесь оказались раскрытые широкие ворота, а за ними сторож в длинной шубе и валенках. Тетя подвела меня к нему и сказала, что я ишу маму, которая здесь работает. Он спросил:

– Как зовут твою маму?

– Роня, – ответил я.

– Роня, – повторил он, – знаю я твою маму. Ее все у нас знают, – добавил он уважительно, и мне стало вроде теплее от его слов. – Послушай-ка, – остановил он проходившего высокого дядю, – отведи мальчика к Роне – это ее сын.

– Хорошо, – согласился мужчина и, взяв меня за руку, повел через весь длинный двор опять к тому кирпичному зданию, в наружные двери которого я стучался. Теперь мы вошли

туда со двора. Пройдя темный коридорчик, мы вошли в большой высокий светлый зал. Вдоль стен, на маленьких толстых ножках, стояли длинные ящики, в которых мужчины в белых халатах и колпаках месили руками тесто. Прямо напротив, за одним из этих ящиков, была та самая арочная дверь, в которую я так безуспешно стучался. Слева стояли две широкие, двухэтажные печи, а напротив печей стояли длинные столы, за которыми работали женщины в белых халатах и белых платках. Они быстро выкатывали из теста длинные, змееподобные, гладкие веревки, отрывали небольшие кусочки и моментально превращали их в баранки, а затем бросали их в котел с кипящей водой.

Здесь было очень тепло, и приятно пахло румяными булками, как это бывало иногда у нас дома, когда мама что-нибудь пекла. Мамы среди женщин не было. Я забеспокоился: неужели опять придется выходить на мороз? А здесь так тепло! Мужчина, наверно, почувствовал мое беспокойство. Он нагнулся надо мной и спросил с улыбкой:

– Что, не находишь маму?

Я только мотнул головой, потому что думал, что стоит мне раскрыть рот, как я тут же заплачу от огорчения.

– Ну-ну, – ободрил меня мужчина, поняв мое состояние, – сейчас мы найдем твою маму.

Он взял меня за руку и повел ко второй от дверей печи, и тут я увидел, наконец, свою маму. Да, это была она, хоть и не похожа на себя: в белом халате и белом колпаке, как у мужчин. Она стояла в глубокой яме, у нижней печи, и на длинной лопате вынимала из печи румяные баранки и ловко сыпала их в стоящие внизу большие плетеные корзины. Мама стояла ко мне спиной и не видела меня. Мужчина, приведший меня, крикнул ей:

– Роня! Принимай своего сыночка!

Мама обернулась и вдруг переполошилась.

– Левочка, – ахнула она, – как ты сюда попал? В такой мороз! Кто тебя привел? Что-нибудь случилось дома?

От неожиданности моего появления баранки у мамы посыпались мимо корзины на пол ямы. Я стоял и молчал. Такой маму я не видел еще никогда. Вся светлая, румяная. Она показала мне совсем молодой и очень красивой. Она дала мне горячий баранок, усыпанный маком и наказала стоять здесь и никуда не ходить. А сама стала быстро вынимать баранки из печи. Ей было не до меня – баранки пеклись, пока печь горячая.

Мама вынула все баранки из печи, передала корзины с баранками мужчине, поднялась наверх, положила на яму несколько досок и открыла верхнюю печь. Там остывал жар. Мама стала выгребать большой кочергой горячие угли. Они сыпались прямо в яму. Вокруг стало нестерпимо жарко, наверно, как в Африке. Я вспотел и забыл, что на улице мороз. Хорошо, что одна женщина догадалась снять с меня пальто и шапку, а то бы я вообще спарился. Теперь-то я воочию убедился, как маме жарко на работе. Но она делала свое дело как ни в чем не бывало, как дома – хорошо и быстро. Очистив верхнюю печь от горячих углей, она положила под ноги еще несколько досок, плотно сдвинув их, приготовила длинную узкую лопату и, ловко подхватывая на палочку десятки вареных в котле баранок, быстро раскладывала их один за другим на лопате и отправляла в печь. Работа у нее спорилась так, что я не успевал следить за ней.

Скоро вся печь была заполнена баранками и у мамы появились несколько свободных минут. И не только у мамы: все как будто решили сделать перерыв, чтобы осмотреть меня и похвалить перед мамой. Но мама прервала их восторги:

– Ну, согрелся, – то ли спросила, то ли подтвердила она, – а теперь беги домой.

Она одела меня, вывела в темный коридор и наказала, чтобы я шел домой и нигде не останавливался. Я бодро бежал домой очень довольный, что побывал у мамы на работе, совершенно забыв про печальное начало этой прогулки. Тепла пекарни мне хватило на всю дорогу, и я особенно не чувствовал, что на улице сильный мороз. Голова моя была занята совсем дру-

гими впечатлениями. Вот так я впервые побывал у мамы на работе. С тех пор я часто по своей инициативе навещал маму на работе, хотя она не всегда была довольна моим приходом. А мне нравилось там бывать.

После того, как хлеб стали отоваривать рабочим в пекарне, я охотно бегал к маме за хлебом. Заодно я смотрел, как мама работает на новом месте. Теперь она отправляла в печь не баранки, а жестяные формы с хлебом. Это в десятки раз труднее, чем печь баранки. Здоровые мужчины удивлялись ее выносливости. Сколько тетя Сарра ни уговаривала ее перейти на другую работу, она ни в какую не соглашалась.

– Трудно, конечно, – говорила мама, – но здесь я при хлебе, и дети всегда с хлебом: на другой работе этого не будет.

И она была права. Дело в том, что как-то раз, когда мама вынимала хлеб из печи, я заметил, что на жестяных формах остаются кусочки подгоревшего теста. Я оторвал такой кусочек и попробовал. Он оказался съедобным, хрустел на зубах, как сахар. Я спросил у мамы, можно ли их собирать в корзину. Мама спросила разрешения у главного мастера, а тот – разрешил. Все равно, мол, очищать формы каждый раз приходится. И я стал собирать. Правда, попадались такие прогоревшие кусочки, как уголь. Их приходилось выбрасывать. Мама говорила, что из этих «сухариков» (так я их называл) делают квас для рабочих. Она повела меня в темный коридорчик, где в углу стояли две бочки. В них-то и был квас. Квас мне совсем не понравился. Язык немного щипало, как от кваса, но вкус был неприятный. Ни капельки сладости! Первый раз, когда я собрал почти полную корзинку с «сухариками», мама проводила меня до ворот, объяснила вахтеру что я несу, и он пропустил меня без проверки. В следующие проходы я уже выходил один с моими "сухариками".

Вначале сухари всем понравились дома. Даже тетя Сарра и дядя Симон пробовали. Мы с Сашей целыми днями хрустели ими. Правда, когда попадались насквозь горелые сухарики, то приходилось долго плевать – такой неприятный вкус был у них. Одним словом, на недостаток хлеба мы не жаловались в это время. Но через некоторое время сухари всем надоели. Всем, кроме меня. У меня, наоборот, они получили новое направление. Я набивал ими полные карманы и угощал товарищей на улице. В компании хрустеть ими было гораздо приятней и вкусней, чем дома. С сухарями я стал самым желанным гостем соседских мальчишек. Меня превратили в какого-то хлебного бога. Мне это так понравилось, что я однажды отправился в хлебопекарню второй раз за день. Мама прогнала меня, чтоб я не жадничал. Наверно, это было некрасиво с моей стороны. Мама знала, что я все сухарики раздаю соседским детям и, по-моему, была этим довольна. Но дважды в день приходиться за ними запретила.

Детей мама жалела. И не только своих, но и чужих. Когда она была еще совсем молодая и работала в частной пекарне на церковной улице (ныне улица Либкнехта), за ней ухаживал взрослый парень по имени Моисей. Однажды она увидела в окно, как он шлепает по мягкому месту мальчишку за какую-то провинность. Будущая моя мама очень рассердилась на него. Открыв окно, она закричала:

– Зачем ты обижаешь маленьких детей?! Чтоб тебе не дожить собственных детей бить!

Теперь, когда она вспоминает об этом пророчестве, она тяжело вздыхает и тихо говорит:

– И зачем я тогда это крикнула?! Надо же было такому случиться: мое страшное пожелание исполнилось. Кто бы мог подумать!

И, действительно, как все получилось до удивления точно. Мать вышла замуж за этого самого Моисея. И ему так и не пришлось наказывать своих детей. После рождения дочери его призвали в царскую армию. Потом – первая империалистическая война. Домой он вернулся после февральской революции. Через год в ноябре семнадцатого года родился у них сын, а в восемнадцатом году Моисей добровольно записался в Красную армию, хотя имел право не идти на фронт. В 1921 году он вернулся с гражданской войны, а в первых числах мая 1922 года появился я, и буквально через неделю отец опять ушел, теперь уже навсегда. Он умер

одиннадцатого мая 1922 года, и ему так и не пришлось принять участие в воспитании своих детей. Вот над чем и почему так часто задумывалась моя мама, когда проявляла заботу о чужих детях...

Итак, каждый день я с большим желанием бегал в хлебопекарню за сухариками, чтобы раздавать их моим друзьям. Через них я ближе познакомился с семьей Ивановых, которые жили близко от нас, посередине первомайского переулочка. Только вход у них был со двора, а не с улицы, как у всех домов. Их было два брата и сестра: Ваня, Саша и сестра Катя. Катя была самая младшая. Очень красивая девушка, лет шестнадцати, но казалась еще моложе. Все мечтала стать артисткой. Вообще-то я их всегда побаивался.

Матери у них не было. Отец и старший сын всегда ходили какие-то угрюмые, мне казалось очень злые. Говорили, что после смерти матери жизнь у них пошла не в лад. Отец все чаще стал прикладываться к бутылке, а сыновья не всегда находили себе работу. Но младший из братьев, Сашка, был, наоборот, веселым, добрым и общительным парнем. И лицом он был светел и приятен. Он был похож на сестру Катю. Наверно, мама у них была красавица. Одним словом, как говорили соседи, жили они бедно и впроголодь. Однако парни были крепко сбитые, а Катя не выглядела худощавой.

Однажды, набив карманы сухарями, я выскочил на улицу и, как говорится, нос к носу столкнулся с Сашкой Ивановым. Увидев в моих руках сухарики и оттопыренные карманы, он улыбнулся и сказал:

– Дай-ка и мне попробовать твоих знаменитых сухариков.

Я с удовольствием дал ему пару сухарей. Дело в том, что у Ивановых, как и у Клетецких, была своя лодка. Сашка часто разрешал мне покататься на ней. Правда, весло он забирал домой, почему-то не доверял мне его, но я находил в нашем сарае дощечку и орудовал ею не хуже, чем веслом. Кататься на лодке было для меня большим удовольствием. Вся душа у меня пела, когда я скользил по реке на лодке. Поэтому я готов был отдать Сашке все сухари, чтобы хоть чем-то отплатить ему за то, что он разрешал мне кататься на лодке. Сухарики ему понравились.

– Знаешь что, – предложил он, – пошли к нам домой, посмотришь, как мы живем.

Я согласился, ибо ни разу не был у них. Правда бывать у них я опасался из-за пьяного отца. Но с Сашкой я не боялся. Я чувствовал его расположение ко мне. На мое счастье ни отца, ни Ивана дома не было. Как потом выяснилось, Иван помогал отцу на работе. В доме у них была довольно мрачная обстановка. Везде царил полумрак. Еще бы, у них было всего два маленьких окна. Катю я увидел только тогда, когда Сашка позвал ее есть сухари. Она лежала на печи, свернувшись калачиком. Мне показалось, что она в плохом настроении, потому что она ответила недовольным тоном, что не хочет есть. Мне было жаль, что она не сойдет к столу – хотелось посмотреть ее вблизи, а то я ее всегда видел издали и мимоходом. Я, конечно, выложил все сухарики на стол, и Сашка разделил их на всех поровну, о чем предупредил Катю. Но Катя промолчала. "Возможно, что ее кто-нибудь обидел, – подумал я, – недаром же говорят, что у нее полно кавалеров". Смотреть у них в доме было не на что. Стены пустые, бревенчатые, не заштукатуренные. Как в поговорке "сапожник ходит без сапог", так и у них получалось – у штукатурки дом без штукатурки. Отец у них был каменщик и штукатур.

Я уже собирался уходить домой, когда Сашка сказал Кате:

– А с Сенькой больше не ходи, а то я ему морду набью!

На что Катя зло ответила:

– Не твое дело! Еще молод, чтобы в мои дела вмешиваться!

Она неожиданно легко поднялась и прыгнула с печи, подошла к Сашке, зло и осуждающе посмотрела ему в глаза. Сашка отвернулся. А она, мило улыбувшись, показав свои ровные белые маленькие зубки, села рядом с ним и стала есть сухари. По дому распространился хруст сухарей и приятный запах хлеба. Катя действительно была красивая девушка. Наверно, ни один

молодой человек не смог бы пройти мимо нее, не обратив внимания на ее почти округлое лицо с румяными щечками, с маленьким ртом и носиком, с выразительными синими глазами. Будь она моей ровесницей, я бы наверняка в нее влюбился. И пусть злые языки говорят о ней, что хотят, все равно, милее ее нет на нашей улице. По мере того, как сухари таяли на столе, лицо у Кати прояснилось. Она развеселилась и даже похвалила меня:

– Молодец, что зашел к нам в гости, – сказала она, улыбаясь во весь ротик с красными губками, – вкусные сухари. Где это ты их набрал?

Я рассказал, где я их собираю.

– Знаешь что, – говорит Сашка, – давай завтра сходим в лес, ягод наберем, грибов! Только сухарей захвати!

Предложение было заманчивое. Мы с друзьями редко выбирались в лес, а если и ходили, то далеко вглубь не заходили: боялись заблудиться. А с Сашкой бояться было нечего, он ведь почти взрослый. И я дал согласие, хотя и подумал, что мама может не пустить. Но мама, узнав, что я хочу идти в лес с Сашей Ивановым, сразу же согласилась. Очевидно, она тоже была хорошего мнения о нем. Я собрал сухари, какие нашлись дома, мама еще добавила несколько коржиков, кусок хлеба и колбасы.

На следующее утро, ровно в четыре часа, Сашка постучал в нашу ставню. Мама всполошилась: "Кто это к нам так рано стучит?" Она, наверно, со сна забыла, что мы сегодня идем в лес. Я тоже проснулся от стука в ставню и напомнил маме, куда я иду. Мама предупредила меня, чтобы я далеко от Сашки не отходил. Мама всегда напоминала мне об осторожности. Когда я вышел на улицу, то оказалось, что Сашка был с братом. Саша взял у меня корзину, и мы пошли вдоль улицы в сторону моста.

Везде было тихо. Все еще спали. Сырая прохлада холодила тело. В конце нашей улицы мы свернули в переулок Клары Цеткин и вышли на Циммермановскую – главную улицу городка. Она единственная вымощена булыжником от начала до конца. Напротив моста – как ущелье – Нижегородский переулок. Когда-то давным-давно на этом месте был наполненный водой глубокий ров, преграждавший путь к крепости. Наверно, когда решили строить мост, ров засыпали. Теперь вдоль бывшей канавы стоят дома Геровского, Каток и Фельдмана, дети которых учатся со мной в одном классе. Рядом с мостом, на высоком берегу Днепра, возвышается каменный белый замок. О нем ходят всякие легенды. Рассказывают, что здесь когда-то жила польская или литовская царица, а также, что из замка был прорыт под Днепром и до самого леса подземный ход. Старики рассказывали быль о том, что раньше здесь была обыкновенная деревянная крепость, а этот каменный замок построили, как они говорят, совсем недавно, при Екатерине II – была такая царица в России. Сто шестьдесят лет это для них совсем недавно.

У входа на мост стоял часовой с винтовкой, одетый в шинель и буденовку, а сверху еще плащ с капюшоном. Наверно, речная прохлада давала о себе знать по ночам. Каждый раз, когда я входил на мост, душа моя наполнялась гордостью и тревогой. Гордостью за громадное сооружение над водой, сотворенное человеческим разумом и человеческими руками. А тревогу вселяли в меня старые доски под ногами со сквозными щелями и дырками. Сквозь них, далеко внизу, плескалась Днепровская вода. Но главная моя тревога была из-за шаткости моста. Лошадь идет по мосту, а он уже шатается, а если машина едет, то кажется, что вот-вот мост упадет. Исходя из своих наблюдений, я думал, что переезжать Днепр на лодке гораздо приятней и безопасней, чем переходить мост. Тогда я еще не знал, что именно эти колебания моста и спасают его от разрушения.

Издали мост казался красивой игрушкой, протянутой от одного берега к другому. А вблизи он давил своей громадностью. Высокие, наверно, двадцатиметровые стены были сделаны решеткой из толстых четырехугольных бревен, схваченных намертво железными скобами. На самом вершине стены моста были скреплены между собой крестовинами из толстых бревен, как и на стенках. Они образовывали ромбовидные просветы. Глядя на эти стены на

мосту, я всегда удивлялся, как четыре быка под мостом выдерживают такую тяжесть. По другую сторону моста тоже стоял часовой. Вообще-то мост охраняли не военнослужащие, как это могло показаться некомпетентному человеку. Они были все вольнонаемные, но выполняли свою службу, как красноармейцы. Им выдавалась красноармейская одежда. Я знаю это потому, что охранником моста был мой сосед, Сашка Клетецкий. Каждый день он приходил домой, как с работы.

Надо еще сказать, что охранники охраняли мост не только от диверсантов. Они берегли его от всяких повреждений. Особенно много работы выпадало им весной, когда на вздувшейся реке начинался ледоход. Тогда они работали и днем, и ночью. В это время на мост часто надвигались такие большие льдины, что закрывали все пространство от берега до берега. И лед обычно достигал метровой толщины. Против них никакие ледорезы, стоящие перед устоями моста, не смогли бы уберечь мост. Вот в такие моменты приходили на помощь охранники моста. С лодки или прямо с берега забирались они на льдину, быстро пробивали лунки и вставляли туда взрывные заряды, зажигали бикфордов шнур и бегом бежали на берег или к лодке. Раздавалось несколько взрывов, и громадная льдина распадалась на части, которые свободно проплывали между быками моста. Если льдины были мощные, то и заряды закладывали сильные и тогда раздавался такой взрыв, что все дома вокруг тряслись, а в окнах трескались и вылетали стекла. Если такой взрыв бывал ночью, то он в первые секунды пробуждения пугал всех. Я, например, пробуждался с сильно бьющимся сердцем, но никому в этом не признавался. Только один человек радовался этим взрывам – стекольник. У него сразу подскакивал заработок...

Итак, мы идем по ягоды. Сойдя с моста, мы идем по обочине шоссе. Утро прохладное, и здесь в поле это чувствуется особенно. Сашка с братом говорят о какой-то работе, которую надо обязательно сделать в выходной день, а я разглядываю шоссе и местность. После моста, метров через сто, шоссе резко поворачивает вправо, а через двести метров – влево. Это, наверно, из-за нашей Комаринки и ее притоков, особенно во время половодья. Ведь до леса построены еще три небольших моста. Сейчас под ними – обыкновенные лужицы, но во время половодья здесь протекают сильные протоки. Между первым и вторым мостиком стоит дом обходчика. А после второго мостика шоссе резко поворачивает влево и идет параллельно городу. Здесь целая дубовая роща. С нашей горы она кажется густой, но деревья здесь растут довольно редко, только стволы у них толстые с обширными кронами. Осенью мы ходим сюда собирать желуди. Хозяйки, у которых есть свиньи, платят нам за мешочек пять копеек. Для нас, мальчишек, это немалые деньги.

Обычно в лес углубляются мимо дома лесника, а Сашка с братом почему-то свернули в лес напрямую после второго моста и пошли через поле. На опушке леса мы остановились отдохнуть и перекусить. Выбрав сухое место, мы уселись завтракать. Хорошо вокруг. Солнце хоть и поднялось над лесом, но греет еще слабо. Воздух здесь особенно чист и свеж. На шоссе появились первые крестьянские повозки, неторопливо едущие в город. В лесу уже слышен птичий гомон, и где-то в глубине леса кукует одинокая кукушка. Отсюда хорошо видны наши дома над Днепровской горой, но дома кажутся маленькими, игрушечными, чуть больше спичечных коробок, а высокая Днепровская гора – низенькой. Хорошо здесь сидеть и смотреть на наш городок, даже в лес неохота идти. Наверно, такое же настроение и у Сашки с братом после сытного завтрака, который они устроили здесь же.

По шоссе идут женщины-крестьянки в одиночку и группами с коробами, прихваченными платками, за спиной и плетеными корзинами в руках. Они, конечно, спешат на базар. А базар у нас большой, шумный и многолюдный, особенно по воскресеньям. Вообще-то он ограничен одним кварталом, так называемой базарной площадью, между улицами Советской, Урицкой, Кирова и Базарной, но в воскресный день базарная площадь не в силах вместить всех желающих. И тогда все прилегающие улицы, в буквальном смысле слова, запружены крестьянскими подводами с лошадьми. Как говорить, ни проехать, ни пройти. Но, тем не менее, люди про-

ходят, хоть и под самыми мордами лошадей, а крестьяне на повозках проезжают, но с бесконечными криками: "Берегись! Посторонись!" Таким образом всегда заставлены повозками и лошадьми: улица Советская – от Красноармейской до Бобруйской, улица Северо-Донецкая – от Урицкой до Либкнехта, а также – вокруг церковной ограды деревянной церкви. Как будто на улицах вокруг базара сплошной постоялый двор под открытым небом.

Крестьяне приезжали сюда со всех окрестных деревень, ближних и дальних. И было за чем! Чего только не было на нашем базаре! Молоком и молочными продуктами торговали под длинным навесом. А под другим таким же навесом – овощами, фруктами. Параллельно навесам выстраивались сотни мелких торговых и торговцев. Они раскладывали на столиках, ящиках, табуретках свои изделия: от самодельных длинных конфет до мелких амбарных замков. Все они на разные голоса кричали и хвалили свой товар. На углу улиц Советской и Кирова всегда торговали лошадьми. И, конечно же, там всегда ругались и спорили цыгане. Туда, где продавали поросят, лучше было и не подходить. Поросята визжали так, будто их собирались резать тут же, на базаре. Продавали и коров, коз, овец. Продавали кур, уток, гусей. Все они кричали на свой лад и вместе с криками продавцов и покупателей создавали такой шум, что ничего невозможно было толком услышать. Наверно, отсюда и возникло такое выражение, как "базарная баба", как о человеке, который способен всех перекричать, всех переспорить.

В середине базарной площади и особенно вдоль улиц Советской, Базарной и Кирова было много лавок и магазинов, а также была чайная и закусовая. Лавки и магазины были битком набиты товарами, и крестьяне могли здесь купить все, что им нужно: от одежды до кос и гвоздей. Кроме того, здесь были мастерские, где можно было починить кастрюли, чайники, сбрую и даже велосипеды.

По-моему, в воскресенье на базар ходили все от мала до велика, ибо где еще ты увидишь столько людей, такую массу товаров и услышишь столько невероятного шума! Мы с братом бегали на базар просто так, посмотреть. Мы заглядывали во все лавки и магазины, смотрели, как торгуются цыгане: это было очень интересно. Но если дело доходило до драки, то мы убежали от них. Мне больше всего нравилось стоять у лотков китайцев. Никто не создает предметы с таким разнообразием красок, как китайцы. Глиняные свистульки в виде зайчиков, собачек, птичек ярко раскрашены. А от бумажных вееров я глаз не мог отвести. Они были дешевые, как и все остальные игрушки, но у меня не было ни гроша. А соблазн заполучить веер был очень велик.

Однажды я взял веер вроде для того, чтобы посмотреть: держал, держал, то разворачивал, то складывал его и, когда китаец зачем-то отвернулся, я моментально выскочил из толпы, окружавшей китайца, и бросился со всех ног домой. Сердце в груди колотилось так сильно, что я думал, что оно вот-вот выскочит. Мне казалось, что за мной гонится весь базар. Я уже очень жалел, что стащил этот пятикопеечный веер. Не знаю, как у меня сердце не разорвалось, но я без остановки добежал до самого дома, забежал во двор и прямо в сарай. Только в сарае я почувствовал себя в безопасности и кое-как отдышался. Осмотрелся, не идет ли кто в сарай, и посмотрел на развернутый веер. Прежнего восторга у меня уже не было. Жаль, что никому нельзя его показывать. Наоборот, его нужно было так спрятать, чтоб никто не обнаружил. Я сложил его и засунул под стрехой сарая.

Целый день я ходил озабоченный, мучаясь своим неблагоприятным поступком. Я следил за всеми, кто заходил в сарай. Мне казалось, что они вот-вот увидят краденый веер. А что после этого произойдет в доме, я даже представить боялся. Я уже очень жалел, что стащил этот злополучный веер, и все время думал, куда бы его отнести подальше от дома. Вечером я уже твердо решил, что утром брошу этот веер в Днепр. Ночью прошел дождь. Проснувшись, я сразу вспомнил о веере и побежал в сарай. Веер был на месте, но когда я вытащил его, оказалось, что от чудесного веера остались две палочки и между ними мокрый комочек папирусной бумаги. Я совсем забыл, что собирался его выбросить в речку. Мне стало жаль его до слез. Нехотя

я выбросил остатки веера в овраг. После этого случая я убедился в том, что от ворованных вещей никакого прока нет, одни только неприятные переживания. И долго после этого случая, будучи на базаре, я далеко обходил китайца – все боялся, что он меня узнает.

И еще один случай, связанный с нашим базаром, вспомнился мне, когда я сидел на лужайке у леса. Однажды мама, как это бывало не раз, позвала меня на базар, чтобы я помог принести некоторые покупки. На этот раз она приторговала у крестьянина полмешка картошки. Помогла она положить его мне на плечи и спросила:

– Донесешь?

– Донесу, – ответил я бодро. Картошка показалась мне легкой. Но уже выйдя с базарной площади, я почувствовал, что картошка гнет меня все ниже и ниже к тротуару. Я с трудом шел, согнув спину в три погибели. Не дойдя до Северо-Донецкой улицы, я вынужден был сбросить мешок с картошкой на тротуар. Мне было стыдно. Какой я все-таки слабый еще. Мне казалось, что все мимо идущие люди посмеиваются надо мной. Какой-то пудик картошки не может донести! Но не сидеть же мне целый день здесь. Трудно или не трудно, а нести надо. Я встал и, увидев идущего мужика, попросил его:

– Дяденька, помогите мне картошку поднять.

– Давай, паря, подставляй плечо, – сказал он, и, как пушинку, поднял мешок и положил его мне на плечо. Держись, паря, крепче на ногах, – добавил он и пошел дальше. Я решил идти не напрямую через Складскую площадь, где мы всегда ходили, а повернуть на Северо-Донецкую: мимо церковной ограды. С трудом дошел до штакетника, прижался к нему мешком и отдохнул.

Так, отдыхая через каждые двадцать-тридцать метров, я вышел на улицу Либкнехта и вдоль церковной ограды дошел до улицы Бобруйской. Осталось дойти только до Первомайской, но мне казалось, что не дойду, настолько я был измучен. Пот катился с меня градом. Ноги подкашивались. Хорошо еще, что по нашей улице у каждого дома есть крылечки, у которых, не сбрасывая мешка с плеч, можно отдохнуть. Так от крыльца к крыльцу я кое-как доплелся домой. Никогда раньше не думал, что у меня будут такие трудности. Сколько раз носил картошку с базара, но никогда так не надрывался. Наверно, в мешке был вес не по моим силам. Когда я немного отдохнул и подсох от пота, прибежала мама и удивилась:

– Ты уже дома?! А я тебя по всему базару ищу!

Услышав взволнованный мамин голос, вышла из своей половины дома наша соседка тетя Сарра. Мама стала ей рассказывать:

– Попалась мне хорошая, дешевая картошка. Захотелось взять побольше. Положила ему на плечи картошку, а он говорит, что легко. Я и отправила его домой, а сама пошла еще что-нибудь купить. Потом стукнуло мне в голову, что он не сможет донести так много картошки. Ему сначала показалось легко, а нести-то далеко. И я побежала вслед за ним, чтобы помочь ему. Пробежала полдороги, а его нет. Думала, наверно, где-то на базаре еще сидит, и вернулась обратно. Смотрела, смотрела, а его нигде нет. Народу много, разве там найдешь. Походила, походила и пошла домой. Расстроилась и ничего больше не купила. А он, как видите, уже давно дома.

– Ну, что же ты расстраиваешься, он ведь дома, – говорит спокойно тетя Сарра. Тетя Сарра очень рассудительная женщина, хотя и нет у нее детей. Но мама никак не может успокоиться. Она приподнимает мешок и опять удивляется:

– Как же ты его донес? – Смотрит на меня недоверчиво и добавляет, – не представляю! Ее удивление возвышает меня в моих глазах. Трудности уже остались позади, и я улыбаясь отвечаю:

– А я, мама, летел домой на крыльях! Как птица!

Мои шутки всегда вызывают у нее двойное чувство: и досады, и гордости. И каждый раз она говорит что-то, вроде упрека: "Ну, точно папочка с костями!" Это значит, что характером я весь в папу.

Одним словом, базар у нас необыкновенный, и ни одна хозяйка дома не могла бы обойтись без него...

Тем временем солнце уже поднялось довольно высоко. Сашка с братом разлеглись на зеленой траве и греются под солнечными лучами. А я все смотрю на далекие маленькие дома нашей улицы, стоящие, как будто на невысоком берегу Днепра. Наконец, Сашка встает и говорит:

– А не пойти ли нам домой? Что-то пропала охота по лесу бродить.

Меня удивляет его предложение, и я говорю:

– А ягоды? Ведь мама и сестры ждут меня с ягодами! Мой довод как будто его смутил.

– А, ладно, пошли поищем ягоды, – решает он, и мы входим в чащу леса. В лесу сыrovато и тихо. Под ногами – мягкая почва. Метров через сто появились заросли папоротника. Говорят, что десятки, а может и сотни тысяч лет назад, эти папоротники были большими деревьями. Теперь они – даже ниже меня. Неожиданно мы набрали на кустики с черными ягодами. Их было видимо-невидимо. Наверно, сюда еще никто не заходил. Сашка с братом стали рвать да есть. А я спешил наполнить корзину. Потом Сашка стал помогать мне, чтобы скорее наполнить мою корзину и пойти домой. Оказывается, они собираются еще на работу к отцу.

Когда моя корзина почти наполнилась ягодами, мы прикрыли ее листьями папоротника и пошли домой. Корзину опять нес Сашка. Шли они быстро. Мне приходилось то и дело их догонять, чтобы не отстать. У нашего дома Сашка попросил отсыпать ему немного ягод для Кати. Мы зашли к нам в дом. Мама очень обрадовалась такому сбору ягод.

– Мама, – сказал я, – Сашке надо отсыпать ягод для Кати.

Мама принесла "Рабочую газету", которую мы получали по подписке. Была тогда такая газета. Мама ее подписывала. Вместе с газетой шли и литературные приложения к ней в виде тоненьких журналов, в которых печатались сочинения разных авторов.

Сделав большой кулек и полностью заполнив его ягодами, она отдала его Сашке. Сашка поблагодарил и ушел. Затем мама всем нам дала по стакану ягод. Насыпала ягод в небольшую кастрюльку и отнесла тете Сарре.

– Из остального, – сказала она, – я вам сейчас сварю варенье, будете мазать его на хлеб.

Так она и сделала. Каждый день мы всем показывали при разговоре черные от ягод зубы и языки. Когда варенье кончилось, я побежал к Сашке с предложением сходить опять в лес за ягодами. Но дома была одна Катя. Она сказала, что братья ходят каждый день на работу, и что в лес они не пойдут. А вскоре маме запретили брать «сухарики». Мама однажды пришла с работы и возмущалась:

– Видите ли, – сказала она недовольным тоном, – всем вдруг захотелось брать эти отбросы. А директор Либерман сказал: "Раз такое дело, то больше никто не будет брать эти сухари. Пусть они, как прежде, идут на хлебный квас". И всех предупредил, чтобы они аккуратно клали тесто в формы.

Так закончилось изобилие сухариков.

Как я уже говорил, мама не хотела отставать от других и тоже держала корову. Коровы были, можно сказать, у всех рабочих хлебопекарни, а также у директора и его заместителя. Утром и вечером мы кормили корову картошкой и свеклой, подсыпая в пойло отрубей. А на зиму каждый год заготавливали сено. Набивали сеном весь чердак в сарае. Так вот, для хлебопекарни каждый год выделялся участок луга для сенокоса. Причем, рабочие сами косили траву на сено, сами скирдовали, сами вывозили. И делали все эти работы по выходным дням. Однажды, мама позвала и меня с братом на сенокос. "Пусть привыкают", – сказала она тете Сарре. Мама набрала еды на целый день, и мы отправились в путь. Перейдя мост через Днепр и не дойдя до

первого маленького моста по шоссе, мы свернули вправо, как раз на тот луг, где пасутся наши стада коров. Мы шли по следу колес повозок, которые здесь редко ездили. Недалеко от этой дороги пас коров наш пастух Плоткин. Я увидел нашу корову и закричал:

– Мама! Вот наша красавка!

Так мы звали нашу корову за то, что она была молодая и красивая, на лбу у нее было белое пятно. Корова, наверно, услышала мой крик, подняла морду и посмотрела на нас своими коровьими безразличными глазами. Я почему-то обрадовался этой встрече, а мама меня охладила:

– Корову давно не видел что ли, чего кричишь?

Мы шли долго по лугу среди высокой травы и скошенных участков. Когда я видел скошенную траву и копны сена, я думал, что это наш участок. Но каждый раз оказывалось, что этот участок не наш. Никогда не думал, что луг в этой стороне тянется так далеко. Он здесь гораздо шире, чем луг напротив города. Уже давно потерялись из вида и город, и мост, и шоссе. Вокруг один только луг да слева недалеко лес. Солнце поднялось над лесом и уже хорошо пригревало. Мама и брат идут бодро, а мне уже надоел этот длинный путь. Наверно, я утомился. "Почему им дали участок так далеко?" – думал я недовольно. Вот опять какие-то мужики косят траву. И я опять подумал, что мы пройдем мимо, но оказалось, что этот участок наш, а косцы – рабочие хлебопекарни. А женщины – их жены. Некоторых рабочих я уже знал. Они иногда приходили к нам домой. Этот высокий худощавый – Плоткин, здоровый широкоплечий – Науменко, маленького роста – заместитель директора хлебопекарни Шеер, с узкой бородкой – Берман...

Нас встретили веселыми репликами:

– Роня привела своих работников!

– Какие большие парни!

– Теперь мы быстро управимся!

Мама улыбалась, но не обращала на них внимания. Она дала нам грабли, и мы пошли собирать подсыхшую скошенную траву в небольшие копны. Работа сначала показалась легкой. Вокруг, насколько хватает глаз, были луга и лес. Воздух напоен запахами свежих трав и сеном. Все работают, перебрасываясь шутками. А наша мама о чем-то тихо поет. Она при любом деле поет. Особенно дома. Никаких песен она не знает. Она импровизирует на ходу и большинство их забывает. Бывало попросим ее повторить понравившуюся песню, а она не может. Одним словом, хорошо на сенокосе.

Но вот солнце подобралось почти к зениту. Стало жарко. Сейчас бы искупаться в Днепре, но река, наверно, далеко. Мама, увидев что мы с братом уже вспотели, предлагает нам отдохнуть под скирдой сена. Вскоре к нам присоединилось несколько мужчин. Это косцы. Все крепкие, загорелые, но тоже вспотевшие.

– Посмотрите на этих "маленьких детей", – кричит мама, смеясь, указывая на мужчин около нас, – они тоже утомились!

Женщины смеются и шутят:

– Может пожалеть их!

– Бедняжки!

– Молочка захотели!

Один мужчина отвечает, будто обиженный:

– А что? Мы тоже дети природы!

А второй поддерживает его:

– А мы от вашей ласки никогда не откажемся! – и сам хохочет.

Мама говорит ему строго:

– Не забывай, что здесь дети!

И веселая перебранка замолкает. Вскоре заместитель директора хлебопекарни объявляет перерыв. Все собрались около шалаша, сделанного из прутьев лозы и сена. По очереди пили

воду из маленького бочонка. Вода холодная, колодезная. Затем все приготовили себе еду и устроили обед. Мы с мамой тоже поели колбасу с хлебом. После обеда опять отправились сгребать сено. Было тихо и жарко. Мне уже совсем не хотелось заниматься этим делом, но я чувствовал, что бросить работу, когда все работают, нельзя, и продолжал против желания кое-как сгребать сено. Мама, наверно, заметила мое состояние и сказала участливо:

– Потерпи немножко, скоро мы здесь закончим и отдохнем.

К концу дня, когда тени от стожков сена все больше и больше удлинялись, подул свежий ветерок. И хотя небо было чистое, все вдруг заволновалось: а вдруг этот ветерок нагонит туч! Стали быстрее сгребать сено. Косцы отложили косы и тоже включились в эту работу. Небольшие стожки росли один за другим. Мне с братом мама велела идти домой. Плоткин и Шеер предложили маме оставить нас ночевать, но мама не согласилась с ними. Она сказала им, что по утрам на лугу сыро и прохладно и пусть дети спят дома. И мы пошли домой.

Дорога к нашему мосту была одна, и потеряться было невозможно. Где-то на полпути к шоссе, когда вдаль уже видны были верхние переплеты моста, ветер усилился, и небо стало быстро наполняться темными тучами. Брат сказал, что надо идти быстрее, а то попадем под дождь. И мы пошли быстрее, чуть ли не бегом. Но тучи нас обгоняли. Из светло-серых они становились все темнее и темнее. Сильные порывы ветра поднимали к небу пылевые всплески на дороге и толкали нас в спину. Когда мы добежали до шоссе, упали первые крупные капли дождя. Кустарники, речка, дома за рекой – все вокруг потемнело, как будто вот-вот наступит ночь. Какая-то тревога охватила все мое существо. Наверно, и брат был ею охвачен, потому что мы, не сговариваясь, побежали быстрее к мосту.

Пошел густой тяжелый дождь. Вокруг сразу ничего не стало видно, только шоссе под ногами. Когда мы по пологому подъему вбежали на мост, я так обессилел, что мои ноги совсем меня не слушались. А брат торопил. Я через силу бежал за ним. Ветер на мосту был еще сильнее, чем в поле. Он со свистом врзался в переплеты моста. Под мостом бушевал Днепр. Никогда раньше я не видел его таким сердитым. Высокие волны налетали друг на друга и разбивались вдребезги, образуя пенистые буруны. Когда мы были уже на середине моста, сильный порыв ветра сбил меня с ног и отбросил к перилам моста. Брат подбежал ко мне, крепко схватил за руку и с силой увлек меня вперед.

Уже недалеко от выхода с моста нас вдруг ослепила белая молния. На несколько секунд мы оказались в желтовато-белом мареве, в какой-то неприятно пугающей среде. Не успели мы осмыслить, что это такое, как так же внезапно стало темно, как ночью в нашей спальне без окон, и грянул такой гром, что у меня мелькнула мысль, что сейчас и мост, и мы с братом рухнем в бушующий Днепр. У меня, как говорится, душа в пятки ушла. Вместе с дождем пошел град, который бил меня по голове и по плечам. Мы уже насквозь промокли. Уже незачем было спасаться от дождя. Но брат, не выпуская моей руки, все тянул и тянул меня за собой, чтобы сойти с этого громадного, страшного моста.

Когда мост остался позади, мы с облегчением вздохнули. И действительно, как будто вместе с мостом остались позади и все наши страхи. На улицах города было спокойней: и дождь, и ветер, и наши чувства. Стало светлеть. Черные грозные тучи ушли на север. Но дождь продолжался. Мы решили забежать в дом мамино младшего брата Ефрема. Он жил на углу улиц Либкнехта и Социалистической.

Дяди дома не было. Жена его, тетя Фрума, сидела с детьми на кровати в темном углу, наверно, опасаясь все полыхавших молний. У себя дома мы тоже отходили от окон подальше, когда бывала гроза. Тетя Фрума, увидев нас мокрых и запыхавшихся, заохала и забеспокоилась. Она предложила нам раздеться, чтобы высушить на печке нашу одежду, но брат сказал ей, что мы забежали на минуту, чтобы передохнуть, и что сейчас же побежим домой. Дети у тети Фрумы все маленькие. Даже самый старший сын моложе меня на три года. Они сидели

в темном углу притихшие с широко раскрытыми глазами и, наверно, думали, что мы явились к ним из преисподней.

Грозы почему-то у нас боялись все, и не так молнии, как грома. На наше детское воображение гром действовал сильнее, чем молния. Ведь такого сильного грохота нигде больше не услышишь. Взрослые говорили, что главная опасность – это молния, но все равно гром казался нам страшнее. И поговорка есть такая: "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Она, наверно, появилась именно потому, что непонятливые люди больше страшатся грома.

Я помню два несчастных случая в Рогачеве по вине молнии. Один раз молния зажгла деревянную церковь. Когда мы об этом узнали, то бросили игру и побежали смотреть пожар. Мы прибежали, когда пожарные потушили огонь. На земле валялось несколько обгоревших досок. Это был редкий случай неудавшегося пожара. Обычно огонь пожирал полностью весь дом, будь он хоть и каменный, как это случилось со старой хлебопекарней.

Второй случай произошел недалеко от нашего дома со старушкой Черняк. Она жила на углу улиц Советской и Первомайской. Во время грозы она занималась шитьем и держала в руках ножницы. Молния полоснула в окно и из-за ножниц пронзила старушку. Говорили, что лицо ее стало черно-синим, страшным. Смотреть, как ее хоронили, ходил с нашей улицы один только Исаак Гольдберг – самый смелый на нашей улице...

В доме нашего дяди мы пробыли больше часа, пока не перестал дождь. Дома сестра почему-то удивилась нашему приходу. Она думала, что мы заночуем на сенокосе. А когда на улице стемнело по-настоящему, неожиданно пришла домой мама. Она не могла усидеть на сенокосе после бури. Ей казалось, что мы где-то затерялись во время дождя и ветра. И она побежала домой проверить, дома мы или нет. Она жалела, что отпустила нас одних домой. Мама есть мама, здесь уж ничего не убавишь и ничего не прибавишь...

Знание дороги на сенокос не дает мне покоя. Ничем увлечься не могу. Все тянет опять сходить туда. Одному идти страшновато. Вдвоем бы. Смотрю в окошко на соседа Бориса Драпкина. Он тоже, наверно, не находит себе дела. Стоит и смотрит куда-то вдоль улицы сощурившись. У него плохое зрение, так же как и у его матери. Я выхожу на улицу и предлагаю попробовать силу. Хоть он и старше меня, но намного слабее. Я ему разрешаю бить кулаком по моей голове. Он наносит два удара, а потом трясет руками – пальцы отбил. Мне тоже больно, но я делаю вид, что это мне нипочем.

– Неужели не больно? – спрашивает он с удивлением.

– Ни капельки, – отвечаю я, улыбаясь. Он смотрит на меня с недоверием.

– Давай поздороваемся, – предлагаю я. По-нашему поздороваться – это значит, кто кому пережмет руку.

– Давай, – соглашается он. Я беру его руку в свою. Пальцы у него худенькие, тоненькие, длинные. Он жмет мою руку, а я – его. Вдруг он кричит: "Больно!" – и я выпускаю его руку.

Смотрю я на него и каждый раз удивляюсь. И отец, и мать, и сестры – все крепкие, здоровые люди, а он – высокий, худой, с болезненным видом. Почему это? И не первым он родился и не последним. Чем же это объяснить? Наверно, из-за чрезмерного внимания. Закормили его вкусной пищей, а она ему не впрок. Плохо быть единственным мальчиком в семье.

После проверки силы в руках я предлагаю ему сходить на сенокос со мной. Он неожиданно быстро соглашается, хотя знает, что его будут искать, если заметят, что его нет ни на улице, ни во дворе. Я рад напарнику, и мы без всякой подготовки, не предупредив никого, отправляемся на сенокос. День был серый, пасмурный, но тихий. Весело болтая, мы неожиданно быстро прошли эти шесть километров до участка сенокоса.

Еще издали я услышал мамин смех. Она всегда смеется звонко, во весь голос. Это смех человека радушного, доброго, не сомневающегося в правильности своей жизни, не боящегося, что его могут в чем-то упрекнуть. Одним словом, мамин смех я не спутаю ни с чьим другим.

Наше появление не вызвало у нее никаких восторгов. Совсем наоборот, она стала меня строго отчитывать за то, что я привел сюда Бориса.

– Разве ты не знаешь, – говорит она строго, – что соседи охрипнут там от крика в поисках своего единственного сына?!

Я не знал, что на это ответить. Я знал, что родители и сестры Бориса без конца жалеют его, заботятся о нем, боятся за него. Но я не думал, что в его отсутствии они могут охрипнуть от крика.

– Отдохните немного и марш домой, – сказала мама строго. Она не хочет попасть "на язык" к соседке Рае, чтобы она кричала на всю улицу, какие мы изверги.

– А мы совсем не устали, – говорю я ей.

– А если не устали, – отвечает она тихо, – то веди его обратно домой.

Вот что значит приходить непрошеным. Я думал мама обрадуется моему приходу, даст мне грабли в руки и скажет: "Хорошо, что пришел, помоги собрать сено", – а вышло совсем наоборот. Я был очень огорчен. Но делать было нечего, пришлось идти домой. Наверно, и помощь наша им уже не нужна была – вокруг стояло множество готовых к перевозке стогов сена. Сенокос подходил к концу. Обратный путь у нас был скучный. Всю дорогу молчали. Я чувствовал себя виноватым перед Борисом, а он, как всегда, был удручен своим особым положением.

Когда мы были недалеко от шоссе, я решил отправить свою малую нужду. Оглянувшись вокруг и отметив, что никого поблизости нет, я отошел от края дороги и стал отправлять свою малую надобность. Борис постоял немного и тоже решил последовать моему примеру. Только сделал он это прямо на дороге, там где стоял. Я освободился, подхожу к нему, и невольный возглас удивления вырвался из моей груди. Борис, не видя ничего, поливал лежащий на дороге маленький черный кошелек. Я оттолкнул его и крикнул:

– Что ты делаешь?

А он без всякой обиды отвечает:

– А то же, что и ты делал.

– Ты только посмотри, что ты натворил, – говорю я ему, указывая на облитый кошелек. Он подходит к тому месту, наклоняется и, наконец, увидев кошелек, хочет его взять, но я предупреждаю его:

– Постой, постой! Пусть он немного обсохнет.

Вокруг ни души. Поле да стога сена, поле да стога сена. Мы стоим вдвоем и рассуждаем вслух: сколько же денег может быть в этом маленьком кошелечке. Наконец, кошелек вроде обсох. Я поднимаю его и кладу в карман.

– Отдай, – говорит Борис, – это я его нашел.

– Если бы не я, – объясняю я ему, – ты бы его никогда не увидел. У меня не такое зрение, как у тебя, сам знаешь, – говорю я ему, – потом, если бы я не позвал тебя на сенокос, мы бы кошелька и в глаза не увидели.

– Если бы я не пошел на сенокос, ты бы тоже не пошел, – парирует он.

Так мы идем по дороге и беззлобно пререкаемся. Когда мы переходим мост через Днепр, я говорю Борису:

– Знаешь что, мы шли по дороге вместе? Вместе. Кошелек нашли вместе? Вместе. Значит все, что есть в кошельке надо делить пополам.

С этим доводом Борис соглашается. Когда мы пришли домой, он позвал меня уединиться в их сарае.

– Уж лучше в нашем, – возразил я, – в нашем сарае намного чище.

Борис соглашается. Наш сарай, как и дом, был разделен на две половины. Большая часть принадлежала нам, а меньшая часть – бывшим хозяевам дома Ривкиным. Мы вошли в сарай, сели в углу на чистую солому, достали кошелек и стали извлекать из него деньги. В кошельке

оказалось два рубля и сорок две копейки мелочью. Для нас это были большие деньги, если вспомнить, что денег в наших карманах вообще никогда не было. Подумать только, большой сладкий баранок, густо усыпанный маком, стоит две копейки, так сколько же можно купить таких баранок на эти деньги?! Я уже заранее предвкушал всю приятность этих баранок.

– Ну, математик, – говорю я Борису (он слыл лучшим математиком в своем классе), – подсчитай, сколько должен получить каждый из нас?

Не успели мы подсчитать, как в сарай быстро вошла тетя Сарра.

– Что вы тут делите? Где вы взяли столько денег? Откуда они у вас?

Ее появление было полнейшей неожиданностью для нас. Мы смотрели на нее испуганными глазами, как будто она застала нас за дележом ворованных денег.

– Мы их нашли на дороге, когда шли с сенокоса, – промямлил я, чтобы как-то оправдаться перед ней. Не дай бог, если обвинит в воровстве. Такое обвинение считалось у нас высшей степенью позора.

– Разве ты не знаешь, – говорит удивленно тетя Сарра, забирая у Бориса деньги и кошелек, – эти деньги потеряла твоя мама? В ее голосе такая неподдельная убежденность, что мне на мгновение кажется, что она права. Но страшно не хочется, чтобы она забрала у нас эти деньги, и я неуверенно возражаю ей:

– У мамы никогда не было такого кошелька.

– Много ты помнишь, – говорит тетя Сарра снисходительно, засовывая деньги и кошелек в маленький кармашек халата. Она выходит из сарая, уверенная в своей правоте, а мы с Борисом остаемся сидеть в сарае, как провинившиеся мальчишки, разочарованные и обиженные до глубины души. Разве судьба нам еще раз пошлет такой случай?! Первый раз в жизни мы могли бы разбогатеть. Сколько вкусных яств можно было бы купить на эти деньги! И почему нам так не везет?! И откуда взялась на наше несчастье эта тетя Сарра? Почему она каждый раз налетает на нас, как снег на голову?

Тяжелые мысли одолевали наши головы. Так хотелось хоть немножко побыть богатыми. И ничего не получилось. Опять мы остались нищими, без копейки в кармане. Когда мама вернулась с сенокоса, я сидел в спальне и смотрел на Днепр, продолжая переживать нашу неудачу. Тетя Сарра вышла из своей половины дома и стала рассказывать моей маме:

– Послушай-ка, Роня, историю. Захожу я днем в свой сарай посмотреть, нет ли яиц у курочек, и вдруг слышу, как влетают в сарай чем-то взволнованные Лева с Борисом. Уселись они, а Лева твой говорит: "Ну-ка посмотрим, что в нем есть". Потом слышу: "Ого, два рубля и еще мелочь". Тогда я догадалась, что они нашли деньги. Зашла я к ним в сарай и говорю им, что деньги эти потеряла, мол, ты, а твой-то говорит, что у тебя кошелек такого никогда не было. Но я их и слушать не больше не стала. Вот эти деньги, забери их, они тебе больше нужны, чем им.

Как только тетя Сарра ушла на свою половину дома, я выскочил во двор и стал звать Бориса, чтобы рассказать ему о коварстве тети Сарры. Но вместо Бориса вышла полуслепая его мать, остановилась на крыльце и закричала на всю улицу (такая у нее привычка):

– Обманщики вы! Моего сыночка обманули! Сын нашел кучу денег, а вы отобрали их у него! И на вас найдется управа! В милицию заявим!

Я совсем растерялся от ее обвинений. Конечно, я привык к ее крикам с крыльца. Много раз я их слышал. Но всегда это касалось кого-то, и я смотрел на ее выступления, как на представление в театре. Накричится, мол, и уйдет. Но на этот раз она кричала на нас, на мою маму, на тетю Сарру. Такого я еще ни разу не слышал. Даже страшновато стало. Вышел отец Бориса, здоровый, угрюмый не вид мужчины, с заросшим лицом и строго крикнул ей:

– Иди в дом и прекрати гвалт! Это ведь соседи! Но тетя Рая продолжала кричать. Я вбежал в наш дом и хотел все рассказать маме. Но мама меня с улыбкой успокоила:

– Слышу, слышу. Что ты не знаешь тетю Раю? Выкричится и замолчит. Такой у нее характер. Привыкла на базаре. Она ведь торговка. А на базаре без крика ничего не продашь.

И действительно, накричавшись, тетя Рая ушла в дом. А мне расхотелось рассказывать Борису про тетю Сарру. Почему мама Бориса кричала, что Борис нашел кучу денег? Неужели Борис преувеличил нашу находку? Скорее всего его мама округлила нашу находку до чрезвычайных размеров, чтобы иметь право обвинять нас во всеуслышанье. Так оно и есть. Из-за пустяков никто не кричит на всю улицу.

Мама моя, как я уже писал, была красивая, жизнерадостная и неунывающая женщина. Постоянно следила за своим внешним видом, употребляя для лица мази и краски. Вечно опасалась появления на лице морщин, хотя ее старость была уже не за горами. Каждый год она выкраивала из нашего бюджета деньги на новое платье, а на дырки моих брюк пришивала заплату за заплатой. Мама, конечно, знала об этой несправедливости и, меряя новое платье, объясняла нам свое безвыходное положение тем, что ей все время приходится бывать на виду. На всевозможных собраниях и совещаниях ее всегда выбирали в президиум, и везде она в обязательном порядке выступала. Она была единственная коммунистка среди женщин хлебопекарни. И конечно, ей никак нельзя ходить плохо одетой. Мы, дети, понимали ее и не жаловались. Старший брат, к примеру, никакого внимания не обращал на свои заплатки. Я тоже терпел их, но они меня очень стесняли. И я очень рад был, когда наступало лето. Я тогда бегал по городу в одних трусиках и чувствовал себя свободно и хорошо.

Маму мы любили и очень гордились ею. Еще бы, ведь по всей нашей улице она была единственная коммунистка. Мальчишки завидовали мне, а женщины-соседки только удивлялись да руками разводили: когда она, мол, успевает управляться со всеми делами: и по хозяйству, и по дому, и за детьми ухаживать, и активно участвовать во всех общественных делах. Как нам было не гордиться нашей мамой? Но мама прилично одевалась и следила за своей красотой не только ради общественных дел. Она постоянно отдаляла свою старость не только косметическими средствами, но и тем, что в разговорах уменьшала свой возраст, говоря всем, что родилась на пять лет позже, чем в действительности. Все это делалось ради внимания мужчин. Ей нравилось, когда за ней ухаживали мужчины. Приходили к нам на чашку чая и Науменко, и Берман, и Плоткин, и Шеер. Поэтому я их хорошо помню. У всех у них жены, дети, и тем не менее, им было приятно прочесть вечер в компании с моей мамой. Это лишнее подтверждает мое мнение, что мама моя и в сорок лет выглядела молодо и красиво. Из-за этих ухажеров тетя Сарра часто выговаривала маме, осуждая ее поведение. Причем, смысл ее упрека был каждый раз один: зачем, мол, маме привлекать мужчин, да еще женатых. Замуж ей уже поздно выходить – не те годы, да и дети у нее уже не маленькие. Но мама всегда отшучивалась: без мужчин, мол, она давно умерла бы от страха. Ей очень боязно ночью одной ходить домой. И она очень благодарна мужчинам за то, что они провожают ее. И она была права.

Этот ее довод я и сам могу подтвердить. Когда она знала, что после собрания или учебы ее некому будет проводить домой, она предупреждала меня, чтоб я не ложился спать, пока она не придет домой. И я, борясь со сном, терпеливо ждал ее возвращения. Трехдосочный тротуар был проложен только у нашего дома. Больше по всей улице не было тротуаров. Когда мама возвращалась поздно вечером, я сразу узнавал ее по походке. Стук ее туфель по тротуару как будто передавал ее настроение мне. Если она возвращалась одна, то стук ее шагов был быстрее и тревожнее. Мама шла чуть ли не бегом. И я бежал открывать дверь так, как будто бежал спасать ее. И обычный вопрос "кто там?" мне уже не нужен был, потому что я был уверен, что это мамина походка. Войдя в дом, она быстро запирала за собой дверь, как будто кто-то гнался за ней, и стояла несколько минут, чтобы отдышаться. Ее тревожное состояние всегда передавалось и мне. Засыпая, я представлял себе, как большие черные тени хотят поймать мою маму в нашем затемненном переулке. На следующее утро я спрашивал маму:

– Почему ты так боишься ходить ночью?

И она всегда честно признавалась:

– Не знаю почему, но я очень боюсь, когда темно.

Ее тревоги впоследствии отразились и на мне. И когда мне приходилось ночью возвращаться домой, я тоже с чувством страха входил в наш переулок. И кого там я боялся, сам не знаю, ибо наш Первомайский переулок был, наверно, самым тихим переулком во всем городе. Просто мамины страхи передались и мне. Одним словом, мамину ночную боязнь я знал хорошо.

Совсем другое дело, когда маму кто-то провожал домой. Тогда ее шаги по тротуару были спокойные, неторопливые. Открывая ей дверь, я уже по голосу узнавал ее спутника, потому что все они бывали у нас дома. Это были рабочие хлебопекарни: Науменко, который жил по нашей улице; Берман, который жил на квартире у Гольдбергов. Но чаще всего ее провожал заместитель директора хлебопекарни польский еврей Шеер. Мама говорила, что он просто влюблен в нее, и все время предлагает ей выйти за него замуж. По этому поводу мама неоднократно обращалась за советом к нашей соседке тете Сарре. Надо сказать, что как тетя Сарра, так и ее муж дядя Симон, были наши главные советчики. Они, как бабушка и бабушка, постоянно проявляли к нам внимание и заботу: нас, детей, учили уму-разуму, а маму нашу удерживали от неверных поступков.

Так вот, мама иногда обращалась к тете Сарре с вопросом по поводу предложения Шеера.

– Не знаю, как мне поступить, – говорила она тете Сарре, – Шеер согласен бросить свою семью и жениться на мне, а я не знаю, что ему ответить.

Мама, наверно, задавала этот вопрос, чтобы перепроверить свое решение. И хотя этот разговор затевался не впервые, тетя Сарра делает вид, что обдумывает ответ со всех сторон, и не спешит с ответом. А мама терпеливо ждет, хотя знает заранее ее ответ. Наконец тетя Сарра говорит:

– Нет, чужую семью разрушать нельзя. На чужом несчастье свое не построить. Помни это всегда.

И мама, конечно, соглашалась с ней.

– В конце концов, – рассуждала она во всеуслышанье, – я же не виновата, что у Шеера такая некрасивая жена. Он же видел, на ком он женился. И что из того, что он был в безвыходном положении, что он перебежал к нам из Польши, как говорится, в чем мать родила. Гол как сокол, не имел угла, где голову притулить. Приобрел же он с этой «красавицей» и угол и тепло. Нажил двух сыновей. Пусть и дальше живет с ней. Нет, я не буду им мешать.

Тетя Сарра права. Мамины рассуждения нам нравятся. Зачем нам этот маленький Шеер? Наш отец, судя по рассказам мамы и по фотографии, был в сто раз лучше этого Шеера! Но мама все-таки что-то оставляет себе на уме, потому что со вздохом продолжает:

– Такова моя судьба, и ничего уж теперь не изменишь. И пусть уж будет все так, как оно есть, но не хуже.

Тетя Сарра с ней соглашается. Они, наверно, друг друга понимают лучше, чем я думаю. Все-таки мама у нас умная и рассудительная женщина. Иначе и не могло быть. Ведь мудрость мышления накапливается у человека не после легкой жизни, а именно после жизни, наполненной трудными испытаниями, когда человек познал жизнь насквозь со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Когда человек, как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы. А с моей мамой все это почти произошло. И если она при этом не потеряла бодрость духа, то это говорит о ее мужестве и способности преодолеть любые невзгоды.

Я коротко сообщу вам ее автобиографию, и вы сами убедитесь в этом. Родилась мама в Бобруйске на самой окраине Московской улицы. Позади их маленького домика были одни пустыри. Домик их состоял из одной комнаты, в которой стояли: русская печь, стол и две скамьи. Как рассказывает мама, шкафов и буфетов не было – одни голые стены. Семья у отца была большая: три дочери и пять сыновей. Заработка отца хватало только на еду. Часто жили

впроголодь. Спали все вдоль стены на соломе. В такой обстановке прошло детство моей мамы. Ничего радостного или веселого о своем детстве мама вспомнить не могла.

Когда маме исполнилось восемь лет, неожиданно умерли в один год и мать и отец. Вся семья распалась. Самых маленьких разобрали старшие сестры и братья, жившие уже самостоятельно. Маму забрал к себе средний из братьев – Исаак. Он тогда жил и работал в Рогачеве. Исаак был очень деятельный и энергичный мужчина, любил бывать в компании и никогда не пропускал случая, когда была возможность выпить. Через много лет он уговорил жить и работать в Рогачеве и младшего брата Ефрема. Мою маму он устроил ученицей в частную пекарню, находившуюся на Церковной улице (ныне улица Либкнехта). Она тогда и не могла предположить, что этот дом станет ее домом почти на всю жизнь. Причем жизнь эта окажется от начала и до конца очень трудной.

Итак, мама начала работать с восьми лет. Первые годы ее использовали в основном, как прислугу. Ей поручали самую черную работу по дому. На ее маленькие плечи легла уборка. Как в пекарне, так и у хозяев, она должна была приносить воду, дрова, относить на базар готовые булочные изделия. Целый день она крутилась как белка в колесе. Но она не жаловалась и не унывала и этим понравилась всем. И хозяйева, и рабочие пекарни к ней хорошо относились, и через много лет мама будет вспоминать об этих годах с приятным чувством. Ей было хорошо, потому что она всегда была сыта и одета, а работы, как говорит мама, она никогда не боялась. Ее веселый нрав всем пришелся по душе. Эта пекарня стала ей вторым родным домом. Она здесь окрепла, подросла и превратилась в красивую девушку, на которую потом стали обращать внимание парни.

Особенно зачастил к дому пекарни, где она работала, красивый парень из города старый Быхов. Он работал с ее старшим братом Исааком маляром в одной артели. Брат и познакомил ее с этим парнем. Они друг другу понравились, и началась у них настоящая любовь на многие года. Парнем этим и был мой будущий отец Моисей Липовский. Как рассказывает мама, ей все нравилось в нем.

Он всегда ходил аккуратно одетый, чисто выбритый, не курил и не пил, увлекался музыкой, которую он постиг самостоятельно. Часто он приходил в пекарню со скрипкой или мандолиной и давал концерты для рабочих. По характеру он был спокойный и рассудительный. Мама не чаяла в нем души. Но он со свадьбой не спешил, говорил, что к свадьбе надо кое-что накопить на жизнь. Мама с ним соглашалась, но про себя все же боялась, что с таким экономным и рассудительным парнем можно стать старой девой. Годы ведь проходили.

Наконец, Моисей объявил о своем решении жениться. Сыграли свадьбу прямо в пекарне. Как рассказывает мама, народу было невпроворот. Из Бобруйска приехали мамины сестры и братья, а из Быхова – сестра и брат отца. Много было гостей. Мама теперь с сожалением думает, что отец тогда потратил уйму денег на свадьбу. После свадьбы они сняли комнату в доме кузнеца Славина. Это следующий дом по улице после дома с пекарней. Здесь на квартире в доме кузнеца Славина, прошли самые счастливые дни в маминой жизни. К тому времени мама уже была хорошим мастером по выпечке булок, баранок, тортов. Но ночные смены да еще у горячей печи, испортили маме глаза, и отец уговорил ее бросить на время работу в пекарне. Мама стала домохозяйкой. Она с трудом переносила свое «безделье». На домашние дела уходили считанные минуты, а затем бегала в свою пекарню помочь своим друзьям.

Вскоре она загорелась мужниной идеей создать свое собственное дело. Идея эта состояла в том, что муж надумал создать переплетную мастерскую. Моисей считал, что только свое дело может обеспечить маме хорошую жизнь. Для этого нужны были машины, а денег у него не было. И он обратился за помощью к "высшим столпам общества" города Рогачева. Отец в городе был тогда на хорошем счету. Все знали его как честного и аккуратного человека. И нашлись богачи, которые за него поручились. И тогда местный банк выделил ему необходимую сумму денег для закупки в Германии нескольких машин для переплетного дела.

Эти машины отец получил почти перед самой войной. Их было три: машина для обрезки книг с трех сторон, машина для резки картона и машина для пошива тетрадей. В торговых рядах на базаре отец снял в аренду лавку и установил там все три машины. Договорившись со своими друзьями по артели маляров, отец набрал необходимое количество рабочих и, таким образом, создал свое дело – переплетный цех. Теперь жизнь у отца с матерью пошла еще веселей. Когда была работа для маляров – отец малярничал, а когда не было малярной работы – отец становился переплетчиком. Теперь он был обеспечен работой на целый год. Нашлась работа и для мамы. Она каждый день готовила обед на всех переплетчиков. Жизнь пошла, как говорится, лучше и не надо. В домашнем альбоме лежит общая фотография: все рабочие переплетной мастерской. Среди них одна женщина – моя мама. В центре фотографии выделяется представительный старик с длинной бородой. Это патриарх рода Старобинских, отец большой рабочей семьи. Они жили на нижегородской улице, на краю заливного луга между Днепром и Друтью. Во время разлива рек дом их подолгу стоял окруженный водой. Вся семья временно переселялась, а этот старик с бородой продолжал там жить, пробираясь в дом по кладкам над водой. Когда Ефрем, мамин старший брат, женился на девушке Фруме из рода Старобинских, то мы приобрели дальние родственные связи со всеми Старобинскими.

Мама часто рассказывала, что все рабочие переплетной мастерской жили и работали, как одна дружная семья. Однако, это благополучие в их семье длилось совсем недолго. Как говорит мама: "Беднякам пробиваться в богачи – это не так легко, как печь калачи. Пустая трата сил и времени". Началась империалистическая война, и отца забрали в армию. Мама вместо отца пошла работать в переплетную мастерскую. Вскоре она родила дочь, мою старшую сестру Соню. Чтобы иметь возможность продолжать работу, мама вызвала к себе старшую сестру отца Сарру, одинокую вдову, живущую в Быхове. Тетя Сарра переехала к нам и стала нянькой на многие годы. Так они и жили.

После февральской революции отец вернулся домой и опять стал работать, как и прежде: и маляром, и переплетчиком. Ввиду того, что их уже стало четверо, они перешли на квартиру в дом напротив, к кузнецу Гольдбергу. Там они снимали две комнаты. Жизнь их опять входила в нормальную колею. Отец вызвал в Рогачев из Быхова своего младшего брата Володю и устроил его учеником в переплетную мастерскую. Ссуду за машины, взятую в банке, отец выплатить так и не успел. Грянула Октябрьская революция, и банк закрылся, а его хозяева куда-то исчезли.

Однажды отец пришел и сообщил маме, что по решению всех рабочих, переплетная мастерская переходит в собственность Советской власти. Машины и материалы перевезли в помещение местной типографии, которая помещалась на углу улиц Быховской (Циммермановской) и нынешней Интернациональной. Все рабочие, в том числе мой отец и его брат, продолжали работать в этой переплетной мастерской. В декабре семнадцатого года у мамы появился сын, мой старший брат, которого назвали по имени маминого отца Лазарем. Их теперь стало пять человек. Отец снял полуподвальное помещение в доме на углу улицы Бобруйской и переулка Кузнецкого. Здесь они жили более просторно. Прибавилась и обстановка.

Отец начал принимать участие и в общественной работе – его выбрали членом правления профсоюза. В то время каждый профсоюз отправлял добровольцев из состава актива на фронт, на защиту молодой советской республики. Когда профсоюз объявил о таком наборе, отец мой одним из первых записался добровольцем в Красную армию, хотя у него была льгота, как у отца двух маленьких детей. И опять мама ушла работать вместо отца в типографию.

Переплетная мастерская была теперь частью типографии. Опять мама осталась одна с двумя маленькими детьми. Выручала ее папина сестра тетя Сарра, которая нянчила детей, пока мама была на работе. И опять три года тревожных ожиданий. Что это такое, может понять любая женщина, у которой муж был на фронте. У мамы в квартире жил и младший брат отца Володя. Ему было всего 15 лет. За ним тоже надо было ухаживать, как за ребенком, хотя он и работал.

В это время в Рогачеве образовалась комсомольская организация. Володя сразу же записался в комсомольцы. Комсомольский клуб находился тогда в большом длинном доме с полуподвальным помещением на углу улиц Быховской и нынешней Первомайской. Будучи комсомольцем, Володя получил хорошую закалку в борьбе с врагами Советской власти. Комсомольцы участвовали во всех революционных мероприятиях города. В комсомольском клубе был организован кружок ликбеза. Володя за одну зиму стал грамотным человеком. Ведь в школу он никогда не ходил. Этот кружок привил ему вкус к учебе и дал толчок к дальнейшему самообразованию. Вместе с комсомольцами Володя проходил военную подготовку. Изучали винтовки, револьверы, пулеметы. Учились ходить в строю. Ходили строем по главной улице города и пели революционные песни.

Когда стали создаваться отряды особого назначения, Володю зачислили в один из отрядов, хотя он был еще мал ростом и годами. На фронт его не брали, но он участвовал в обысках у буржуев, сопровождал арестованных. Комсомольцы вели большую работу среди молодежи по воспитанию в них революционного духа времени. В 1921 году Володя Липовский поступил на курсы красных командиров. Там же, шестнадцатилетним парнем, вступил в партию. В начале этого же года вернулся, наконец, из Красной армии мой отец, пройдя всю гражданскую войну и оставшись целым и невредимым. Он опять вернулся на работу в свою переплетную мастерскую при типографии. Мама занялась детьми: у нее опять наметился ребенок.

По поводу нового ребенка у отца и матери было полное несогласие. Мама больше не хотела рожать детей. Она накопила горький опыт предыдущих рождений. После каждого рождения ребенка отец надолго исчезал из дома. Если бы не помощь сестры отца тети Сарры, мама вообще не смогла бы выжить и растить детей. Почти семь лет одна с детьми в такое сложное военное время. Но отец все-таки настоял на своем, и мама готовилась родить третьего ребенка. Весной двадцать второго года отец получил отпуск, но в это время подвернулась работа по покраске железнодорожного моста через реку Друть, и он решил подработать. Лишний рубль никогда в доме не мешает.

Работая на железнодорожном мосту, он простудился с осложнением на горло. Потребовалась операция, и младший брат Володя поехал с ним в могилевскую больницу. Володя как раз проходил службу в Могилеве и каждый день навещал своего брата в больнице. Отцу сделали операцию, но довольно неудачно, и он с каждым днем чувствовал себя все слабее и слабее. Однажды он пожаловался на холод в ногах и попросил брата принести грелку. Брат принес грелку с горячей водой, приложил к его холодным ногам. Отцу стало немного лучше. Однако, жизнь уже покидала его тело. И вскоре он на глазах брата тихо скончался. В последний путь его провожали всего три человека: его отец, который приехал из Быхова, старший мамин брат Исаак, приехавший из Рогачева, и младший брат Володя. Вот и вся похоронная процессия.

Так умер в расцвете сил, тридцати двух лет от роду, мой отец. Он прожил честную трудовую жизнь, принимал активное участие в изменении ее устоев, борясь в первых рядах бойцов на фронтах гражданской войны за Советскую власть.

И хотя мне не пришлось его увидеть, я всю жизнь горжусь им, замечательным человеком. Больше того, он стал моей путеводной звездой, определяя и направляя все мои поступки на длинном пути моей жизни. А появился я за неделю до кончины моего отца, когда мама жила в полуподвальном помещении на Бобруйской улице.

Это случилось 4 мая 1922 года. Обстановка после моего появления была крайне трудной. И если я все же выжил, то только благодаря той счастливой звезде, под которой я родился. Моя бедная, хорошая, необыкновенная мама!

Предчувствия не обманули ее. После моего рождения отец уже в третий раз ушел из дома, но теперь уже безвозвратно. Такого неожиданного и сильного удара судьбы мама перенести была уже не в состоянии. Единственное, что она еще успела сделать, прежде чем надолго забо-

леть, это распродать все свои вещи, которые накопились в полуподвальной квартире, и купить полдома у Ривкиных, чтобы переселиться к давно знакомым людям, на давно знакомую улицу.

Это была как раз та половина дома, где раньше была пекарня, в которой мама проработала до своего замужества более 12 лет. Теперь здесь пекарни уже не было. Об ее существовании говорила только большущая печь, занимавшая полкухни.

Когда в Рогачеве установилась Советская власть, местный Совет открыл государственную пекарню, и дела этой частной пекарни пошли на убыль: ее пришлось закрыть. Я уже говорил и не боюсь повториться, что мама была у нас умная женщина. Распродав все свое имущество и купив половину дома, мы оказались среди своих людей, которые заботились о нас как о родных, и этим определилось наше дальнейшее благополучие. Очутившись среди близких людей, которые окружили нас своим теплым вниманием и сочувствием, мама, наверно, расслабилась и тяжело заболела. Ее положили в больницу, а за нами присматривала сестра отца и соседи – бывшие хозяева дома.

Как потом рассказывала мама, все их усилия были направлены на ее спасение, а на меня, трехмесячного младенца, махнули рукой. Наверно, мамино молоко было не лучшим после такого потрясения. Все мое тело было покрыто прыщами, и все решили, что я все равно не жилец на этом свете. А когда мама легла в больницу, про меня и вовсе забыли.

Но, когда человеку положено жить, то его всегда выручает счастливый случай. Первой моей доброй феей была молодая мать-одиночка, жившая в нашем Первомайском переулке. Она согласилась выкормить меня вместе со своим сыном. Можно сказать, что эта русская женщина спасла мою жизнь на заре ее зарождения. Когда я подрос, и мама рассказала мне об этом, я сразу же загорелся желанием увидеть эту женщину, но мама сказала, что она уехала в другой город. Мама только и помнила, что ее звали Настей. Жаль, что она исчезла. Я очень хотел посмотреть на нее благодарными глазами. Ведь соседки рассказывали, что пока она меня кормила, я успел переболеть несколькими детскими болезнями.

Мама долго лежала в больнице, а затем долго переживала смерть отца. Только через два года она поддавалась на уговоры родных и близких людей и ради своих детей вышла вторично замуж за старого холостяка. Однако, любви никакой не было, и сжиться с ним даже ради детей она так и не смогла. Вскоре она с ним разошлась и, как память о совместной жизни с Григорием Эпштейном, осталась дочь, моя младшая сестра Саша. Отец ее не исчез бесследно, как это случалось в других семьях после развода. Он поселился близко от нашего дома, в семье младшего мамино брата Ефрема, и почти каждый день приходил смотреть на свою дочь, принося ей каждый раз еду и сладости. Нам оставалось только завидовать Саше.

После болезни мама опять пошла работать в переплетную мастерскую при типографии. Но проработала она там недолго. Зарплата была там низкая. Четверых детей на него не прокормить. И мама перешла на работу в хлебопекарню по основной своей специальности, которую она приобрела чуть ли не с детства. Она опять, и теперь уже на всю жизнь, стала пекарем. Здесь, в большом рабочем коллективе, она как бы начала свою вторую жизнь.

Здесь она стала членом Всероссийской Коммунистической партии большевиков. Здесь она активно включилась в общественную жизнь, обретая в ней радость и интерес. Здесь она стала посещать ликбез и научилась немного читать и писать. Эта учеба первоклассницы ей доставляла огромную радость. С трудом прочтя какой-нибудь отрывок из книги, она каждый раз удивлялась самой себе, как это мол она до сих пор жила, не умея читать и писать? Мы, дети, тоже радовались ее успехам. Каждое неудачно прочитанное мамой слово вызывало у нас смех. И этот смех превращался в настоящее веселье, когда мама смеялась вместе с нами. Детям все-таки нравится, когда дома весело, независимо от порождающих причин. Спасибо маме, что она никогда не обижалась на нас. Такой у нее был характер. А умение жить без обид – это тоже признак человеческого ума.

Тогда я еще не понимал, какая у нас была мужественная мама. Сколько она выдержала превратностей судьбы, но никогда не теряла бодрости духа. Сами подумайте: нищенское детство, раннее сиротство, работа с восьмилетнего возраста. А из десяти лет замужества она фактически жила с мужем три года, а остальное время – в разлуке, одна с маленькими детьми. А затем, когда казалось, что все страшное осталось позади, что пришла мирная жизнь, и все будет хорошо, коварная судьба наносит ей самый страшный удар – смерть любимого мужа.

И против всего этого мама сумела устоять и не потерять веру в жизнь, веру в людей. А это под силу только умной женщине. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что мама у меня была необыкновенная. У разных людей по-разному складывается жизнь. Мало у кого жизнь проходит без сучка и задоринки. Но страшно несправедливо, когда на одного человека валятся несчастья, как из рога изобилия, которых хватило бы на сто человек.

Вот такая трудная жизнь выпала и моей маме. Будущее еще подтвердит мои рассуждения. Но об этом я расскажу вам в следующих главах моих воспоминаний.

## Глава третья

### Дом

Наш дом ничем не отличался от других домов на нашей улице. Разве только тем, что он был длиннее других домов и имел, как все говорили, несчастливый номер. По улице Либкнехта – тринадцать, а по Первомайскому переулку – один. Рядом с нашим домом, как я уже рассказывал, был удобный спуск с днепровской горы к нашему поильцу и кормильцу Днепру. Наш дом – и не произведение древнего зодчества, которое нужно сохранить для потомства. Но тем не менее, как творение человеческих рук и как полезная вещь для человека, дом постепенно приобретает вместе с его хозяевами определенную историю своего существования. В отличие от других домов нашей улицы, этот дом иногда посещали председатели горисполкома города Рогачева. Но об этом поговорим после.

Особенный интерес к нашему дому вызывает у меня то обстоятельство, что здесь до революции была пекарня, в которой начала свою трудовую жизнь восьмилетняя девочка – моя будущая мама. Разве вы сможете припомнить такое стечение обстоятельств? Здесь мама научилась мастерству пекаря и достигла в этом деле довольно высокого совершенства. А после Октябрьской революции, когда дела пекарни расстроились, и пекарня закрылась, мама купила половину этого помещения, чтобы жить здесь всей семьей. Маме тогда пришлось продать всю свою обстановку: мебель, вещи, картины и даже папины музыкальные инструменты: мандолину и две скрипки. О проданных скрипках я впоследствии вспоминал с сожалением.

Вот как мама рассказывала о покупке этой половины дома. "Денег у меня Ривкины брать не хотели. Деньги были тогда неустойчивые и обесцененные. В стране после двух продолжительных войн, первой империалистической и гражданской, был голод. Главным богатством тогда был хлеб. Вот хозяева дома и предложили мне наполнить зерном вот эту маленькую спальню, – мама указывает на спальню с окном во двор, с видом на днепровский простор. – Ох, сколько я тогда набегалась в поисках этого зерна, с каким трудом я его находила и покупала, даже пересказать трудно. Вожу и ссыпаю, а уровень зерна в спальне как будто и не увеличивается. Сколько я намучилась тогда и вспомнить страшно. У меня уже и продавать нечего было, а спальня только наполовину наполнилась зерном. Тут хозяева и сжалились надо мной, сказали «хватит». У меня как гора с плеч свалилась. Все-таки свои люди, старые знакомые. И хоть вошла я сюда с одной кроватью, столом и скамейкой, но я была очень рада, что, наконец, обрела свои собственные стены, свой собственный угол. Сколько я мытарилась по чужим углам? Заиметь собственный дом было мечтой и твоего отца, а получил он его на том свете". При этих словах мама замолкает и долго глядит раскрытыми глазами куда-то вдаль. Она, наверно, вспоминает моего отца и тот самый разговор, в котором отец говорил о необходимости собствен-

ного дома. Не век же жить под чужими крышами. Мама приходит в себя и договаривает с тяжелым вздохом: "А всем необходимым мы обзавелись постепенно". Вот и вся история покупки нашей половины дома. И так получилось, что мама провела здесь и детство, и юность, и всю остальную жизнь. Разве это не удивительно?

Наш дом находился в одной из трех седловин города, тем не менее, он стоял на довольно бойком месте. С одной стороны мимо нашего двора шел спуск к реке, по которому шло движение людей и днем и ночью. Люди ходили здесь за водой, на рыбалку, покататься на лодке, на пляж и, наконец, на нашу знаменитую дамбу. С другой стороны, мимо дома протекал после дождя бурный ручей, который стекал со всех прилегающих улиц. Во время сильных и длительных дождей он превращался в настоящую бурную речку, занимая всю ширину улицы от дома до дома.

Вот этот-то ручей и доставлял нам, а также горисполкому Рогачева, постоянные хлопоты. Дело в том, что этот ручей постепенно промыл на нашем дворе глубокий овраг и грозил снести в Днепр и наш дом. Естественно, и Ривкины, и мама обращались в горисполком за помощью. К нам во двор приходили все председатели местного Совета. Дело было не только в нашем доме, угол которого уже повис над оврагом. Этот овраг, увеличиваясь, мог перерезать улицу и постепенно дойти до главного шоссе – дороги государственного значения.

Председатели горисполкома приходили не по одному, а с целой группой. И каждый раз предлагали свои планы пропуска ручья и засыпки оврага. Один раз овраг засыпали песком и от двора до самой пяты горы вымостили камнем ложе для ручья. Все было красиво и хорошо. Но все это продержалось до первого сильного дождя. Все вымощенные камни вместе с насыпью снесло в Днепр, как какую-нибудь песчинку. А овраг стал еще шире и глубже. Уже не только угол дома висел над ним, но и видна стала вся кирпичная стенка нашего погреба. Нам, детям всей улицы, и мне особенно, эта канитель с оврагом доставляла величайшее удовольствие, а взрослые переживали и опять бегали за помощью в исполком. И опять засыпали овраг песком и опять мостили каменный желоб до берега Днепра. И опять это все держалось до осенних дождей.

И чего только ни делали, чтобы спасти наш дом и засыпать овраг. По указанию горисполкома каждый год свозили весь мусор города в наш овраг. За зиму он заполнялся до края, и мы получали возможность ходить в сарай не вокруг дома через улицу, а ближайшим путем – по двору. Но приходила весна и обильная дождевая вода смывала этот мусор, и опять зияла яма на всю глубину, и опять угол дома повисал в воздухе. Почти каждый год к нам приходили смотреть наш овраг во дворе все новые и новые начальники города. Предлагали поставить заградительный забор у выхода из оврага, посадить деревья и кустарники, заполнить овраг одними камнями и многое другое. Но ничего этого не делали. Только одна работа продолжалась: круглый год возили к нам мусор. Наш овраг превратился в мусорную свалку города. За зиму и лето он заполнялся мусором, а весной и осенью весь мусор вымывало в Днепр, как будто его и не было. Овраг становился все шире и шире. Он занял треть нашего двора и дошел до сарая. Сарай пришлось убрать. Его разобрали и из этого же материала построили два небольших сарая, прилепив их к задним, глухим стенам дома.

Однажды к нам пришел в окружении своих помощников очередной новый председатель горсовета. Он был очень маленький, точь-в-точь как лилипут. Я его однажды видел у дома дяди Исаака и, конечно же, не мог и подумать, что этот маленький человек – хозяин нашего города. Лилипутов я уже видел. Они приезжали в наш город и выступали в нашем кинотеатре. Денег на билет у меня не было, но я бегал вечером к кинотеатру и смотрел на них, когда они приходили туда на представление.

Вот примерно такой же или чуть-чуть больше был наш новый председатель. Он был одет как все начальники в то время: блестящие сапоги, брюки полугалифе, Китель военного покроя с четырьмя накладными карманами, фуражка с высокой тульей. Но вся эта одежда была мини-

атюрная, совсем маленького размера. Весть о его появлении моментально обошла все дома нашей улицы. Теперь не только дети, но и все взрослые сбежались на наш двор. Всем вновь приходящим старались тут же сообщить: "Сам Шулькин приехал! Сам Шулькин приехал!" Почему он у всех соседей вызывал такой интерес, я тогда еще не знал. Меня только удивляло, что на такого крохотного человечка с маленьким морщинистым лицом все смотрели с таким большим уважением. А он был меньше меня!

Шулькин походил по краю нашего оврага, заглянул в его глубину, осмотрелся вокруг и стал давать указания своим рослым – а по отношению к нему, можно сказать, великанам – помощникам. Он предложил построить на устоях деревянный желоб от нашего двора до пяты горы и опять заполнить овраг мусором и песком.

Когда Шулькин ушел, и все разошлись, несколько соседок продолжали удивляться и судачить по поводу его роста.

– Это же надо, голова меньше, чем у младенца, а соображает лучше, чем нормальные головы!

– Светлая голова!

– Бывает и тупиц выбирают туда!

Одна женщина со смешком сказала:

– Я слышала, что он предложение сделал одной женщине, а она отказала ему, хотя давно ходит в старых девах.

– Да что там говорить, у него наверно нет ничего!

Дальнейший разговор стал мне неинтересен, и я убежал на дамбу. Деревянный желоб из толстых досок нам построили за два дня. Он был метров тридцать длиной. Перед желобом русло ручья вымостили гладкими камнями. Первый дождевой поток стекал к реке, как по маслу. Все соседи были рады этому. Овраг постепенно наполнился песком и мусором. Вскоре насыпь закрыла красные кирпичи нашего погреба и выровнялась с нашим двором. Устои желоба тоже утонули в мусорной насыпи, и желоб, казалось, лежал прямо на земле. Мы, дети, стали по нему сбегать к речке.

Так благодаря этому желобу, наш двор стал опять нормальным. Мусорщиков мы попросили больше не возить к нам ничего. Овраг был переполнен. Мы отдыхали от него целых два года, и не раз возносили дифирамбы маленькому председателю городского Совета.

Но силы природы неизмеримы. Человек, к сожалению, пока бессилен против них. В конце второй годовщины нашего желоба, после затяжных осенних дождей, когда ручей разбух, как в половодье река, бурный и стремительный поток воды не уместился в желобе и пошел гулять по насыпи. Больше того, сильный напор воды разрушил каменный козырек перед желобом и устремился в заполненный овраг, сметая все на своем пути. Через несколько часов все, что здесь было уложено за два года, исчезло в пучине днепровских вод, как будто корова языком слизнула. Дядя Симон только руками развел, не зная, что и сказать. Все начиналось сначала.

Конечно, взрослым этот овраг доставлял много хлопот и беспокойства, но для детей нашей улицы события с этим оврагом, с бурными потоками дождевой воды казались необыкновенными приключениями, и мы бегали и прыгали через этот поток воды с восторгом и весельем. В это время мы тратили тетради на бумажные кораблики, которые уплывали вместе с ручьем в Днепр, а может быть и в Черное море. Я был горд, что вся эта круговерть происходит у нашего дома, на нашем дворе. Я был уверен, что все дети нашей улицы завидовали мне.

Откуда у этого ручья было столько сил? Ведь он не только у нас безобразничал. На главном шоссе, спускаясь в наш переулок, он выворачивал и разбрасывал большие тяжелые камни на край шоссе. Нам только оставалось удивляться его силе. Каждый раз дорожные рабочие ремонтировали разрушенные участки шоссе. Иначе образовались бы глубокие рытвины, и невозможно было бы ездить по шоссе.

Только наш переулок Первомайский держался молодцом против дождевого потока. Вдоль домов здесь росли могучие тополя и клены. Ручей только обнажил их верхние корни и этим ограничился...

Как я уже рассказывал, мама купила половину дома. Но эта половина была почти в два раза больше другой половины. От бывшей здесь когда-то пекарни нам в наследство осталась большая печь. На печи была целая комната, загороженная от остальной кухни кирпичной стеной до потолка. Каменные ступени позади печи вели наверх. На такой печи тепло держалось долго, и в сильные холода мы спали здесь всей семьей. Если бы в это время кто-нибудь зашел в наш дом, то был бы очень удивлен, не обнаружив никого, потому что входа на печь сразу не увидишь, а со стороны казалось, что печь занимает все пространство от пола до потолка. Я там иногда прятался в небольшой нише за трубой. Там меня мама никогда не находила. Она осмотрит весь дом, поднимется по ступеням и глянет за печь – нигде никого – и решает, что я куда-то убежал, а я из-за трубы выберусь и лежу себе спокойно на печке. Умный человек придумал эту печь.

Кухня тоже была большая. С двумя окнами. Одно окно выходило на улицу, а другое, напротив печи, в коридор, это было большое итальянское окно. Зал был длинный, просторный. Ведь когда-то здесь был целый цех, где готовили тесто, а за длинным столом из этого теста подготавливали для выпечки булки и баранки. В зале было четыре двери. Одна дверь вела во вторую половину дома к Ривкиным. Она, за редким исключением, никогда не запиралась. Дело в том, что бывшая хозяйка дома, тетя Сарра, в отсутствие мамы, все время приходила на нашу половину, чтобы смотреть, чем мы занимаемся. (Папина сестра, неизменная помощница мамы, к тому времени вышла замуж за вдовца в Быхове и уехала туда жить.) Тетя Сарра боялась, что мы устроим пожар. Надо сказать, что боязнь ее была оправдана. В наших играх иногда имел место и огонь. Две другие двери вели в спальни.

Одна спальня была с окном и с видом на Днепр, а вторая – темная, без окон. Четвертая дверь вела на кухню. Из кухни был выход в коридор, а в коридоре одна дверь вела на улицу, а другая – во двор, третья – в чулан, где по углам накапливались всякие ненужные вещи и разбитая мебель. Там же был вход в большой погреб.

Как видите, дом у нас был больше, чем просторный. Недаром, все соседи приходили к нам отдохнуть. Они говорили, что в нашем доме легко дышится. Когда мама бывала дома, она ставила наш большой самовар и всех угощала чаем со своим печеньем. К чаю выходили и Ривкины – дядя Симон и тетя Сарра. Стол у нас большой, возможно он тоже остался от бывшей пекарни, и вокруг него часто сидели по двенадцать-четырнадцать человек. Эти чаепития запомнились на всю жизнь. Они проходили очень весело, с рассказами и шутками.

Так вот, пока мама не потеряла профсоюзные деньги, мы жили одни в этом большом доме. Мама не хотела пускать квартирантов. Она говорила, что никак не может насладиться своей мечтой – пожить в собственном доме. Но после несчастного случая с потерей денег поневоле пришлось впустить квартирантов в дом.

Первыми квартирантами были у нас, как вы помните, два парня, прибывшие учиться на курсы бухгалтеров. Затем несколько раз занимали нашу спальню артисты, гастролирующие в нашем городе. Потом там надолго поселились сестры Кац: Рахиль, Анна и Шура. Три интересные женщины, по каким-то причинам не вышедшие замуж. Правда, младшая Шура была еще совсем молодая, хотя и имела вид взрослой женщины. Работала она пионервожатой. И хотя она была девушка красивая и очень серьезная, но и с ней произошла довольно банальная история, какие случаются с не очень серьезными девушками. Будучи в пионерском лагере, она влюбилась в учителя, который был более чем в два раза старше ее, а тот не совсем честно воспользовался ее любовью. Вернувшись домой, она рассказала старшим сестрам, что учитель, работавший вместе с ней в пионерском лагере, хочет жениться на ней. Но сестры, узнав сколько ему лет, просто ужаснулись такому положению и отговорили ее от этого шага. А она не призналась

им, что была уже беременна. Она тщательно скрывала это до самого последнего момента, хотя и спала на одной кровати со старшей сестрой. Она стягивала живот простыней, чтобы никто не заметил его рост. А в результате – мертвый, вернее задушенный ребенок.

Самым интересным, конечно, был рассказ старшей сестры о том, как она проснулась и увидела в кровати мертвого младенца. Нет, она не осуждала сестру, она только удивлялась, как это сестра сумела скрыть свое положение до самых родов. Да, это был необыкновенный случай. Слух об этом распространился по всему городу с быстротой молнии. Приехал из района его виновник. Он оказался высокий, интересный мужчина с чуть поседевшей шевелюрой на голове. Он всем понравился и все забыли, что он вдвое старше ее, и тут же договорились о свадьбе.

А ведь это могло произойти и раньше, и все было бы нормально. Поспешные решения чаще бывают неверными. Была ли у них свадьба или нет, я не знаю. Дело в том, что как раз в это время сестрам Кац пришлось уйти от нас. Моя старшая сестра выходила замуж, и спальня переходила в ее пользование. Но об этом мне опять придется рассказывать все с начала, чтобы все было ясно и понятно.

Старшей сестре Соне не пришлось окончить школу. Финансовые затруднения в нашей семье вынудили маму забрать Соню из шестого класса и определить ее в типографию. Там она стала ученицей наборщика. Если вы внимательно следили за моим рассказом, то должны были заметить тяготение нашей семьи к типографии. Помните: сначала отец работал в типографии, затем его младший брат Володя, потом мама, и вот теперь Соня.

Как только ее определили на работу, она сразу же преобразилась, как будто стала взрослой. Уход из школы ее обрадовал. Училась она трудновато, и это связывало ее поведение. Она была тихой, скромной и застенчивой. А как пошла на работу, так даже играть с нами перестала. Каждый день, как только она приходила с работы, так сразу переодевалась и бегом к подругам. Она хоть и всех их моложе, но теперь работала и тоже считалась взрослой. А подруг на нашей улице было много: у Гольдбергов – две, у Рубинчиков – две, у Окуневых – две, у Драпкиных – одна, у Нафтолиных – две. Представляете, какая компания! Все работают, все молодые, одна лучше другой, красивые, скромные, веселые. Веселье через край расплескивается. Когда они собирались вместе, даже самые обыкновенные слова вызывали у них смех. Как будто они обладали особым даром находить в каждом слове какой-то внутренний смешливый смысл.

В хорошую погоду они все вместе ходили гулять на Циммермановскую, вдоль кинотеатра и стадиона. На этом отрезке улицы было главное гулянье по вечерам. В саду, где был похоронен Циммерман, размещался летний театр – крутая сцена, скамьи под открытым небом и кинобудка. Здесь молодежь показывала свою самодеятельность. Нам, мальчишкам, нравилось шнырять между ног у взрослых, а когда в саду крутили кино и у входа продавали билеты, мы залезали в сад через штaketник со стороны улицы Советской. Сюда-то и ходила гулять с подругами моя сестра в тихие летние вечера. Когда погода была плохая, они собирались у Гольдбергов или у нас и перебирали со смехом все косточки у своих ухажеров. У моей сестры ухажера еще не было. Она была совсем молодой. Но мама всегда сомневалась в том, что у нее будут ухажеры. Уж очень она была неуравновешенная.

Я уже упоминал, что когда мама была вечером дома, у нас организовывалось чаепитие. Самовар у нас был большой, медный, со знаком качества – шесть круглых печатей, шесть медалей. Целое ведро воды нужно было, чтобы заполнить его. Правда, разжигать его было трудно, особенно без углей. Эту работу поручали обычно мне. Щепок наколешь, бросаешь в трубу, зажжешь березовую кору и бросаешь к щепкам. Если щепки сухие, то все идет нормально. Если же сырые, то кора сгорит, а щепки копотью покроются, а гореть не хотят. В таких случаях я шел на запретный прием. Пользоваться керосином запрещалось, однако, когда никто не смотрел, я обливал щепки керосином, бросал в трубу зажженную спичку и быстро ставил верхнюю трубу в дымоход. Щепки тогда горели с гуденьем. Вода закипала быстро. Дядя Симон

заваривал чай в чайнике, а чайник ставил на горячую трубу самовара, и только через несколько минут он разрешал пользоваться чаем. Сахар тогда у нас был в большом почете, потому что его не хватало. Нам разрешалось положить в стакан чая только одну чайную ложку сахара.

Однажды я заметил, что Соня бросила в стакан три ложечки сахара.

– Мама, – закричал я, – Соня три ложечки сахара положила в свой стакан!

И хорошо, что я тут же нагнулся под стол. Сонин стакан с чаем пролетел над моей головой и разбился, ударившись о стену. Соня стоит вся красная, как варенный рак, а я улыбаюсь и приговариваю: "Не попала! не попала!" – так мы обычно кричали на улице, когда играли в мяч.

– Перестань! – строго говорит мама мне, а Соне выговаривает: – И что это у тебя за сумасшедший характер. Не иначе, как в бабушку. Как ты будешь жить с мужем, я не представляю.

Всегда мы у мамы на кого-то похожи.

– У меня не будет мужа, – отвечает раздраженно Соня.

– Ну-ну, посмотрим, – говорит мама.

Вот такая вспыльчивая бывает у нас Соня. Когда она моет пол, то в дом входит опасно: в лучшем случае накричит, а то может и мокрою тряпку бросить в лицо.

Прошло уже немало лет, как Соня начала работать в типографии. Она стала хорошей наборщицей, а сама стала похожа на настоящую невесту. В это время в Рогачев приехал новый редактор районной газеты «Коммунар» Макар Усовик. Очевидно, что наша Соня ему приглянулась, ибо он стал все чаще и чаще провожать ее домой. Мама забеспокоилась. Русских ухажеров она опасалась. До полуночи она не давала спать Соне, уговаривая ее не ходить с Макаром.

– Разве ты не видишь, как они живут, – говорила мама, – что ни день – напиваются, потом бунтят на всю улицу, дерутся и бьют своих жен. Ты не представляешь, какая у тебя будет жизнь!

– Макар, мама, совсем не такой, он же образованный и добрый.

Соне, наверно, Макар нравится, раз она его защищает.

– Это он добренький, пока ухаживает за тобой, – возражает мама, – а потом станет такой же, как наши соседи.

– Ну, я не знаю, что мне делать, – говорит Соня, – не могу же я его прогнать, он все-таки наш начальник.

Против этого довода мама не знает, что ей сказать.

– Что делать? Что делать? – повторяет мама, – надо посоветоваться с тетей Саррой.

Тетя Сарра – мудрая женщина, ее советы всегда благоразумны. Некоторое время они молчат. Кажется, что они уснули. Но вот опять заговорила мама:

– Смотри только, – просит она Соню, – ни в коем случае никому не говори о том, что я тебя отговариваю от русского, а то мне может попасть по партийной линии. Никто ведь не станет разбираться, почему я против. Злым языкам дай только волю! Так смотри, – просит она Соню, – никому ни слова о нашем разговоре, хорошо?

– Хорошо, – отвечает Соня.

Про меня мама, конечно, не думает – она уверена, что я давно сплю. Но я, вдруг услышав их тихий разговор в темноте, очень заинтересовался. Ведь за Соней ухаживает не кто-нибудь, а сам редактор нашей газеты! Почему мама против? Наверно, Соне все ее подружки завидуют!

Теперь, когда мама вечером не занята, я стараюсь не уснуть. Накроюсь с головой простыней и делаю вид, что сплю. Иногда я незаметно засыпаю, а утром очень недоволен собой, потому что не знаю, то ли был разговор, то ли нет. Зато очень радуюсь под своей простыней, дождавшись этого разговора. Мама приводит Соне все больше и больше примеров «страшной» жизни русских. Были даже случаи, когда пьяный муж забивает жену до смерти. Соня уже не возражает маме. Она слушает молча. Иногда мама думает, что она спит и тормозит ее: "Ты слушаешь меня?". Соня отвечает: «Слушаю», – и опять молчит.

Но однажды Соню прорвало, и она дала достойную отповедь маминым уговорам:

– Ну сколько раз надо тебе говорить, что Макар не такой! Неужели ты ничего не хочешь понять? Он же не простой неграмотный рабочий, не возчик мусора и не Терешка-пьяница (это она о нашем соседе). Макар – образованный человек! Неужели ты этого не понимаешь? Вот Ася Гольдберг рассказывает, как за ней русские парни ухаживают. Они лезут сразу обниматься. Она от одного насилия убежала. А Макар столько времени провожает и ни разу меня пальцем не тронул. Идет рядом и рассказывает про свою деревню, про родителей, про брата, как учился. Он, мама, совсем другой, он – хороший. Вот увидишь, – заканчивает она уверенно.

– Ну, смотри сама, – говорит мама, – потом пеняй на себя!

Через несколько дней Соня привела Макара в наш дом. Мы впервые увидели ее постоянного поклонника. Красивым, конечно, его не назовешь. Обыкновенный крестьянский парень, светловолосый и белобрысый, как и все белорусские парни, которые все детство и юность проводят в поле под жгучими лучами солнца. Глаза и тоненькие брови выражали какую-то внутреннюю обиду, а губы и подбородок – твердую волю и решимость. Высокий лоб и короткий чуб ежиком. Вот и весь его портрет. Одет он был в светло-серый костюм. Под пиджаком – белая рубашка и коричневый галстук.

Вначале я даже разочаровался в таком женихе. По моим представлениям он и на редактора-то не был похож. Редактор – это ведь тот же писатель. Я видел его однажды в школе: высокий, красивый, с большим, нависающим на лоб, черным чубом. Ничего похожего Макар не представлял. Все было в нем до обидного просто и обыкновенно. Однако, когда он улыбнулся, лицо его сразу преобразилось: оно стало добрым и благожелательным. Из своей половины дома вышли дядя Симон и тетя Сарра. Все стали знакомиться с Макаром.

Потом они меня и младшую сестру Сашу попросили выйти на кухню, а сами стали рассуживаться вокруг стола. О чем они там говорили, я не знаю, но утром уже всем стало известно, что скоро у Сони будет свадьба. И пошли приготовления к свадьбе. Макар дал маме много денег, и не обходилось ни одного дня без покупок. Спальню с видом на Днепр обставили всем новым: и новой кроватью, и новым шкафом, и новым столиком, и новыми стульями. В доме царил предпраздничное настроение. Ничего подобного у нас никогда не было. Все соседки, Сонины подруги каждый день забегали на минутку посмотреть новые покупки и желали Соне долгих лет счастья и благополучия.

А что творилось во время свадьбы, вообще невозможно описать. Дом наш превратился в проходной двор. Бесперывным потоком приходили и уходили люди, большинство из которых я никогда в глаза не видел. Никогда бы не подумал, что так много людей в городе знают нашу семью.

Свадьба затянулась до полуночи. Наверно, ничего подобного наш дом не испытывал за всю свою историю. Даже когда здесь была свадьба у моей мамы. Правда, тогда ее мало кто знал.

С приходом Макара Усовика в наш дом, жизнь наша изменилась к лучшему. Соня стала домохозяйкой. Она аккуратно готовила завтраки, обеды и ужины. Хотя я не придавал значения еде, но все же жить стало веселее. Быть домохозяйкой Соне очень понравилось. Она с удовольствием бегала по магазинам и на базар и покупала все, что ей хотелось. Затем стряпала, убирала в доме и в свободное от хлопот время примеряла свои обновы перед зеркалом.

Удивительно, как женщины быстро перевоплощаются в домохозяйек! Вместе с Макаром у нас в доме появились две вещи, о которых мы и мечтать не могли. Это были велосипед и телефон. Велосипедом я пользовался, как говорится, на всю катушку, с утра до вечера. А телефон оказался ненужным. Ни у кого из моих друзей и товарищей телефона не было. Было жалко, что стоит без толку такая хорошая вещь.

А Макар целыми днями не бывал дома. Даже Соня стала жаловаться тете Сарре: что это за муж, мол, рано утром уходит и в полночь возвращается, а она целый день одна. Нас она уже не считала. Дело доходило до ее знаменитых вспышек. Но на Макара они не действовали. Он ее успокаивал:

– Ладно, ладно, не сердись, – говорил он ей с добродушной улыбкой, – я же тебе много раз рассказывал, какая у меня работа. Зачем же сердиться?

– А когда ты ухаживал за мной, – говорит обиженно Соня, – ты же находил время гулять со мной. Мы в кино ходили, и в театр, а теперь совсем никуда не ходим.

– Зато я тогда ночами не спал, а теперь сплю ночью. Не сердись, выберемся как-нибудь и в кино, и в театр.

Соня успокаивалась. Что делать, если у него действительно такая «сумасшедшая» работа. Макар уходил на работу в восемь часов утра, а возвращался в полночь, а то и позже. Но на обед он приходил каждый день в одно и то же время. Быстро пообедав, он выходил во двор, ложился спиной на зеленую траву и читал учебник "История ВКП(б)". Но жара оказывала на него усыпляющее действие, и через десять минут он уже спал, накрыв лицо книгой. Усталость все-таки давала о себе знать. К концу обеденного перерыва ему кто-то звонил из редакции, и он уходил или уезжал на велосипеде в свою редакцию до полуночи.

Иногда он приносил домой центральные белорусские газеты «Звезда» и "Советская Белорусь", в которых были напечатаны его маленькие статейки, и говорил с улыбкой, что его заметки страшно урезают там, т. е. в Минске, в редакциях этих газет. Но мама, да и соседи по дому, гордились им и за эти маленькие статейки. У мамы теперь сложилось абсолютно противоположное мнение о Макаре.

Теперь мама только и знала, что хвалила Макара.

– Вы знаете мою Соню, – говорила она собеседнице, – это же нервный клубок, вспыхнувшая спичка, как рассердится, так такое наговорит, что потом сама не рада, а он ей все прощает и успокаивает. Такого мужа ей не найти бы среди всех евреев города, – помолчит и добавляет, – и кто бы мог подумать, что среди русских есть такие трезвые и хорошие парни!

Некоторые соседи, которые раньше осуждали маму за то, что она разрешила Соне выйти замуж за русского, теперь разочарованно приумолкли. Факты были против них.

Оставим на время Соню и вспомним о моем старшем брате Лазаре, третьем обитателе по старшинству нашей половины дома. Удивительно, но о нем у меня самые короткие воспоминания. У меня до сих пор такое впечатление, что он крайне редко бывал дома. Только что приходил ночевать.

Был он крепким, красивым парнем с прямым острым носом и выдающимся вперед подбородком. Серые глаза и высокий лоб делали его не по летам серьезным и взрослым. У него был густой чуб, аккуратно зачесанный на затылок. Ростом он был ниже среднего, но зато широкоплечий. Был он вечно занят: то в школе, то по комсомольским делам, то пропадал в библиотеке, то у товарищей. Дома он задерживался за редким исключением, а со мной играл и того меньше. Наверно характером он пошел весь в маму. Как и мама, он был очень активным общественником, вечно выполнял какие-то комсомольские поручения. Учился он не так, как я. Он входил в группу из четырнадцати человек, мальчишек и девчонок. Они собирались на дому, чтобы готовить уроки, по очереди у каждого члена группы.

Я хорошо помню, как они рассаживались у нас вокруг большого стола и делали домашние задания. Кто-то один решал вслух задачу и диктовал решение. Кто-то другой читал историю или географию, и все тихо и внимательно слушали. Когда домашние уроки были сделаны, брат тут же объявлял об открытии комсомольского собрания. И тут начинался шум невероятный. Речь шла о комсомольцах, которые плохо учатся. Но никто не мог дослушать товарища до конца. Все перебивали друг друга. Сколько не просил их брат вести себя тише и спокойнее, никто не слушался. Шум принимал такие размеры, что выходила из своей половины дома тетя Сарра и спрашивала:

– Почему такой шум? Вы же друг друга не слышите! Разве так занимаются?

Воспользовавшись заминкой, брат подводил итог этой дискуссии: нерадивым ученикам объявляется предупреждение. После этого переходили к вопросу о международном положе-

нии. Какой-то Борис докладывал о том, что вычитал из газеты. Он говорил, что в Германии к власти пришли фашисты, что там идет суд над болгарским революционером Димитровым. Потом он рассказывал о забастовках в капиталистических странах, о нашей солидарности и т. д. Расходились по домам, когда на улице начинало темнеть. Брат уходил вместе с ними. Ему еще надо было побывать в библиотеке.

Через много лет, вспоминая эти групповые занятия брата, я каждый раз удивлялся, что у этих пятиклассников были какие-то взрослые интересы. Например, в нашем пятом классе международным положением интересовался один только Яша Гуревич и то, наверно, потому что брат у него был лектором. Может быть такое происходило оттого, что они занимались группами и все были комсомольцами. Или общественная зрелость наступала быстрее у ровесников Октября?

Однажды брат забыл на столе свою заветную толстую тетрадь. Он ее ото всех прятал. Мне говорили, что брат в школе читает свои стихи со сцены. Но мы учились в разных школах, и я ни разу его не слышал. Заглянув в его тетрадь, я был просто поражен. Никогда не думал, что у него так много стихотворений. И все только на политические темы: об Октябрьской революции, о Ленине, о гражданской войне, о трагедии трипольских комсомольцев, о Парижской коммуне... Это было для меня настоящим открытием. Стихи брата мне очень понравились. Они захватывали революционной романтикой. Я читал их с большим интересом и не услышал, как в зал вошел брат.

– Кто разрешил тебе трогать мою тетрадь? – спросил он строго.

– Она здесь лежала, – ответил я виновато, – я и посмотрел.

– Больше не трогай эту тетрадь, все равно ничего не поймешь.

Удивительно, он был в пятом классе и уже считал себя взрослым и все понимающим человеком. Нам теперь это трудно понять. Правда, ему уже четырнадцать лет было. Дело в том, что брат начал учебу еще в хейдере у ребе. Была такая форма учебы на дому у учителя. Брат успел испытать все ее прелести, хотя это было уже при Советской власти. Этот ребе за каждую провинность нещадно сек учеников розгами. Среди взрослых этот метод считался правильным.

– Кто не прошел через розги ребе, тот человеком не будет! – говорили они.

Брат мой прошел через эти розги и поэтому с опозданием начал учиться в советской школе. Но это тогда не имело значения, так как все его ровесники были в таком же положении. После пятого класса брат поступил в зооветеринарный техникум где-то под Минском. Учиться там было очень трудно. С продуктами было очень плохо. Мама хоть и посылала ему посылки, но это бала капля в море. На каникулы он приезжал бледный и худой, вечно недовольный нашей едой. Мама очень переживала, но что она могла сделать, если другой еды у нас не было. Так он и уезжал опять на учебу, толком не поправившись.

Но два года прошли, и он стал зоотехником. Направили его на работу в какой-то южный район Минской области. В письмах он писал, что обслуживает 32 колхоза, что постоянно мотается по дорогам, еле успевает из одного колхоза в другой. Весь дом переживал за неудачно выбранную им профессию. Но брату жизнь вообще не улыбалась, наверно. Однажды он прислал письмо, в котором сообщал, что дом, где он снимал квартиру, полностью сгорел, когда он был в очередной командировке. Все его вещи сгорели. Но не вещей, писал он, ему жалко, а двух тетрадей со стихами. Конечно, он не показывал своих переживаний, но я-то хорошо знал, как он дорожил этими тетрадями...

Осенью тридцать седьмого года его призвали в армию. Попал он в артиллерийский гаубичный полк, который базировался в Краснодаре. Месяца через три он попросил маму прислать ему две рекомендации для вступления в партию большевиков. Такие рекомендации мама взяла на работе у своих знакомых Шеера и Плоткина. Еще через полгода он уже писал, что стал членом ВКП(б), а спустя еще некоторое время, что его выбрали членом полкового комитета. Он прислал нам фотографию, на которой он выглядел внушительным командиром орудия.

"Служба идет хорошо", – сообщал он и просил, чтобы мы не беспокоились, если он некоторое время не будет писать писем. Как потом выяснилось, их перебросили в Днепропетровскую область на Южную Украину.

Вместе со своим полком он принимал участие в освобождении Западной Украины, когда фашистская Германия вероломно напала на Польшу. Там его чуть не женили. Он писал, что местные евреи, узнав, что он еврей, сватали ему необыкновенных красавиц, но он благополучно от них отбил. Здесь, в Рогачеве, его ждала Сарра Рубинчик, соседка с нашей улицы.

Когда я уже был в армии, весной сорок первого, он прислал мне письмо, в котором писал, что через три месяца демобилизуется и поедет домой. Это было его последнее письмо...

Теперь немного о пятом обитателе нашей половины дома, о младшей сестре Саше. Она появилась у нас после неудачного повторного замужества мамы. Отец Саши, дядя Григорий, после развода стал жить в доме младшего мамино брата Ефрема по нашей же улице. Он часто навещал дочь, принося ей всякую вкусную еду. Поэтому сестра росла крепкой и полной девочкой. Первые мои неприятности из-за младшей сестры были в том, что меня всегда заставляли ее укачивать. Это было не так просто, потому что, насколько я помню, она никогда не хотела спать и при этом плакала в голос.

Надо учесть, что я тоже был маленьким, всего на три года старше Саши. Я с трудом дотягивался рукой до верхнего края детской кроватки. К ножкам кроватки были прикреплены полудуги, благодаря которым кроватка и качалась. Однажды, когда мне особенно хотелось быть на улице, а сестра никак не засыпала, я, рассердившись, сильно раскачал кроватку и выпустил ее из рук. Кроватка упала на бок, и плачущая сестричка выкатилась на пол. От неожиданности она и плакать перестала, но затем подняла такой крик, что сбежались все, кто был дома. Я не на шутку испугался. Мама набросилась на меня с криком, хотела наказать, но ее удержала тетя Сарра. Она сказала, что я случайно выпустил из рук кроватку.

– Что вы хотите от него, – сказала она маме, – он же еще сам ребенок. Его самого еще надо укачивать.

И все сразу успокоились. Удивительная женщина была наша соседка тетя Сарра. Она всегда находила нужные слова, которые держали наш дом в постоянном мире и спокойствии.

Сестричка постепенно подрастала, и выяснилось, что у нее предобрая душа. Я уже говорил, что ее отец часто приносил ей сладости. Иногда он сидел и ждал, пока она их съест. Но чаще он уходил, и тогда Саша всем делилась со мной.

Когда ей было годика четыре, мы решили с ней попробовать курить. Нам тогда казалось, что папиросы можно сделать просто из бумаги. Мы так и сделали. Я скрутил тоненькую папироску, а сестричка – потолще. Мы вставили папиросы в рот, я зажег спичку и поджег папиросу себе и ей. Мы даже не знали, что надо втягивать дым в рот. Мы просто держали эти папиросы во рту и смотрели, как они постепенно сгорают. У меня горел маленький огонек, а у сестры – большой. Я даже позавидовал ей. Огонь у моей папиросы медленно продвигался ко рту, а сестры – быстро. Вот он уже у самого рта, и тут она закричала от боли: огонь обжег ей нос. Хорошо, что в соседних комнатах были взрослые. Даже ее отец был у Ривкиных. Горящая папироса упала под стол, из носа у сестры пошла кровь, а я не знал, что делать. Тетя Сарра схватила Сашу и положила на диван, а дядя Григорий затоптал папиросу, схватил со стола стакан и приставил его под нос Саше. Стакан стал наполняться кровью. Я перепуганный убежал в сарай и там спрятался.

А через несколько дней Саша заболела. Наверно, потеря крови не прошла бесследно. Пришел врач, осмотрел Сашу и объявил всем, что у нее скарлатина. Наша соседка, ни слова не говоря, схватила меня за руку и потащила на свою половину дома, тщательно закрыв за собой дверь, заперла ее на ключ и заткнула щели тряпками.

– Теперь ты будешь жить у нас, – предупредила она меня, – смотри, чтоб туда, – она указала на нашу половину дома, – не ходил ни в коем случае, у твоей сестры заразная и опасная болезнь.

– А как же моя мама, – говорю я ей, – как же я буду без мамы жить?

– Мама будет здесь же, в нашем доме, – объясняет тетя Сарра, – только она будет на вашей половине дома, а мы – на нашей половине. Маме, Соне и Лазарю эта болезнь неопасна, а тебе – опасна. Поэтому ты будешь пока у нас жить. Как только Саша выздоровеет, ты опять вернешься к себе, на вашу половину дома. А пока, – повторяет она, – туда ни шага, а то тебе плохо будет.

Я понял ее, но без мамы все-таки плохо. Прибежала мама с работы и через дверь завершила меня, что она всегда будет рядом со мной, только за дверью. Насчет мамы я успокоился, но у тети Сарры стало сразу скучно: не с кем играть, не с кем говорить, негде бегать. У нее везде идеальная чистота и порядок. Мебель вся блестит, пол блестит, скатерть на столе как новая, на окнах – новенькие занавески, на комоды и тумбочках – белые салфетки, постель на кроватях в спальне сияет белизной. Ни у кого на нашей улице я не видел такой чистоты в доме. Разве что у Рубинчиков, но все-таки не до такой степени. Даже на кухне у тети Сарры чисто прибрано. Конечно, и семьи такой тоже на нашей улице не было: ведь они жили вдвоем. Притом тетя Сарра нигде не работала. Она была домохозяйка.

Вот эта чистота меня как раз и угнетала. Ко всему я боялся притронуться: как бы не запачкать. Даже на стул я боялся сесть, а вдруг после меня пропадет блеск. И по такому блестящему полу тоже не разбежишься: скользко. Одним словом, у тети Сарры мне стало скучно и одиноко. Вечером пришел с работы дядя Симон и очень обрадовался решению тети Сарры взять меня на время к себе.

– Наконец-то и у нас появился сыночек, – сказал он, поглядывая на меня веселыми глазами, – хочешь быть нашим сыном?

– Я мамин сын, – ответил я и посмотрел на него с подозрением. "А вдруг, – подумал я, – воспользуются тем, что сестра заболела, и заберут меня к себе. Соседи ведь говорили, что бог их обидел – не дал им детей". И как мне было подозревать их в этом, если меня с первых лет жизни предупреждали, чтоб я от дома никуда не отходил, ибо кто-нибудь может меня украсть. Я же тогда не понимал, что это делается для того, чтобы я не потерялся. Мама меня пугала цыганами, а тетя Сарра при мне рассказывала маме страшные случаи, когда бандиты крали детей и делали из них лучшее в мире мыло. И я действительно в отсутствие взрослых боялся выходить на улицу и целыми днями играл во дворе при запертой калитке, время от времени заглядывая в дырочки забора, образовавшиеся от вылетевших сучков, чтобы увидеть цыгана или бандита с мешком.

Однажды я увидел в Первомайском переулке человека, похожего на бандита. Он был высокий, темнлицый, с небритым лицом, с насупленными густыми бровями. Он держал в одной руке мешок и шел прямо на наш забор. С замиранием сердца я ждал, когда он толкнет запертую калитку, чтобы убежать в дом. Но он дошел до нашего забора и вдруг повернул направо вдоль улицы, мимо нашего двора. Потом я опасался нищих, которые ходили из дома в дом с мешком за спиной. Конечно, взрослым моя боязнь была выгодна. Они знали, что далеко от дома я не убегу, но мне они нанесли большой вред, вселив в мою душу ненужный страх на всю жизнь.

Вот поэтому-то я встретил вопрос дяди Симона с подозрением и опаской. Но когда они на мой ответ вместе рассмеялись, я понял, что они просто шутят. Вскоре мы поужинали. Каша была рассыпчатая, вкусная. У нас дома такую не варили. Когда я ее быстро проглотил, тетя Сарра спросила:

– Наелся? Или еще дать?

Если бы так спросила мама, я бы, конечно, попросил еще каши. Но это была тетя Сарра, и я отрицательно помахал головой, хотя с удовольствием поел бы еще такой вкусной каши.

После ужина, когда тетя Сарра убрала со стола посуду и накрыла стол чистой скатертью, дядя Симон достал из книжного шкафа толстую книгу и углубился в чтение. Так у них проходил каждый вечер: тетя Сарра хлопочет на кухне, а дядя Симон читает книгу, и мешать ему нельзя. Стало тихо как в мертвом доме. Я сидел на стуле, скучая, и смотрел на полосатые обои на стене. Когда тетя Сарра управилась на кухне, она вошла в зал, посмотрела на меня и сказала:

– Ребенок уже хочет спать.

На что дядя Симон, не отрываясь от книги, согласно кивнул головой. И тетя Сарра стала стелить мне на тахте, которая стояла в зале. Раньше на ней спал дедушка, отец дяди Симона. Это был седой, маленький старичок с небольшой лопатообразной бородой. Он всегда был чем-то недоволен, и я ни разу не видел его улыбающимся. Однажды утром он оказался мертвым. Ни дядя Симон, ни тетя Сарра не плакали по нему и не горевали, как это обычно бывает, когда кто-нибудь умирает. Его тихо отвезли на кладбище и похоронили. Целое лето тахта у них стола без пользы. Никто на нее даже не садился. Теперь она пригодилась для меня.

Тетя Сарра постелила на тахту белые простыни, а я с тоской подумал, что тут же испачкаю их. Ведь я еще бегал по улице босиком. У себя дома я спал на дощатом топчане, на котором лежал серый соломенный тюфяк. Там я никогда не задумывался о том, что я его запачкаю. А здесь, увидев эти чистые белые простыни, я просто ужаснулся своих грязных ног. Но тетя Сарра все предусмотрела. Она повела меня на кухню, где уже стоял таз с теплой водой. Раздела догола, поставила в таз и помыла меня с мылом с ног до головы. Потом вытерла полотенцем и отнесла на тахту, сказав дяде Симону:

– Посмотри, каким он красавчиком стал! Дядя Симон оторвался от книги, подошел и, пощекотав меня по голому животу, улыбнулся и сказал:

– Молодец!

И не известно было, к кому это относится: то ли ко мне, то ли к тете Сарре. Так я стал жить на второй половине дома. Но все тут было в гораздо меньших размерах, чем у нас. В спальне тоже было окно с видом на Днепр. Но Днепр хозяев, наверно, не интересовал, потому что это окно было наполовину заставлено высоким комодом, и из-за него ничего не было видно. Меня это всегда удивляло. Почему они лишали себя такого приятного вида? Ведь смотреть на Днепр, на скользящие по нему лодки, на проходящие пароходы – одно удовольствие. Может им все это надоело на старости лет? Но разве Днепр может надоеть? В зале было два окна на улицу, а в маленькой кухне – окно во двор.

Жить здесь было очень скучно, но деваться было некуда, надо было потерпеть, пока Саша выздоровеет. Зато тетя Сарра готовила вкусную пищу. Питались они в строго установленное время три раза в день. И удивительное дело: дома я прикладывался к пище каждые два часа, хватая по мелочам, и целый день ходил вроде голодный. А у тети Сарры я ел три раза в день и никогда не чувствовал голода.

В пятницу утром у тети Сарры было больше всего работы. Она варила пищу на два дня. Они считались набожными людьми, и в субботу они не имели права заниматься делами. Даже если тете Сарре приносили в субботу денежный долг, она его в руки не брала, а просила положить деньги на подоконник, где они лежали до воскресенья. Дядя Симон был шапочником и работал в артели на углу улиц Советской и Базарной (ныне улица Фрунзе). Выходные дни были тогда по воскресеньям, но дяде Симону разрешали делать выходной день в субботу, а в воскресенье он работал.

К Ривкиным был отдельный вход со двора, и каждый день мама заходила и останавливалась на пороге. Трогать меня она опасалась и только спрашивала, как я здесь живу. Чтобы не обидеть тетю Сарру, я отвечал, что живу хорошо, хотя мне хотелось домой. Но мама меня и так

понимала и каждый раз говорила, что скоро можно будет вернуться домой. Однажды вечером тетя Сарра сказала дяде Симону:

– Ребенок все время скучает, почему ты не займешь его чем-нибудь?

– А чем его занять? У меня уже не те годы, чтобы играть с ним в прятки.

– Научил бы его читать твои книжки. Все равно ему скоро идти учиться в школу.

– Это, пожалуй, можно, – говорит дядя Симон, – подойди-ка сюда, Левочка, – подзывает он меня к себе, – ты читать еще не умеешь?

– Нет, – говорю я ему, – я только знаю буквы.

– Тем лучше, – говорит он и, указывая на букву в книге, спрашивает, – это какая буква?

Я отвечал. Все буквы, какие он спрашивал, я знал.

– Молодец! Сарра, – говорит он жене, – подумай только, он и вправду знает все буквы!

Почему же ты не читаешь, – обращается он ко мне, – это же легко.

Он читает строчку, но мне ничего не понятно. Какая-то белиберда.

– Фу, – смеется он и хлопает себя по лбу, – какой я осел. Я совсем забыл, что читаю по-древнееврейски. Жаль, – продолжает он, – но у меня в шкафу нет ни одной книги на еврейском языке. А древнееврейский слишком труден для тебя. Может попробуем?

Он объясняет мне, что в древнееврейском языке печатаются не все буквы, которые мы слышим, и чтобы читать все буквы, надо смотреть на точки и тире, которые стоят под буквами. Но все его объяснения не шли мне в голову. Ну как я мог читать слова, которые я никогда в жизни не слышал и, естественно, совершенно не понимал их значения. Это была для меня китайская грамота. Тетя Сарра поддержала меня.

– Не мучь его, Симон, он еще слишком мал для такого старого языка.

Так неудачно окончилась для меня попытка познать древнееврейский язык.

Проходили дни, прошли недели. Саша уже выздоравливала. Ее беготня в нашей половине дома была уже слышна мне, но врач еще не разрешал мне вернуться.

Однажды, когда дядя Симон был на работе, а тетя Сарра ушла на базар, я нарушил запрет и, сняв замок, чуть-чуть открыл дверь и высунул голову в нашу половину дома. Старший брат Лазарь сидел на полу и играл с Сашей. На полу лежали игрушки, которых раньше у нас не было. Первой меня увидела Саша. Она вскочила и запрыгала от радости около меня. Потом она стала показывать мне все игрушки, что ей купили, пока она болела. Больше всего мне понравились кубики. Брат переворачивал их на полу в разные стороны, и каждый раз получались все новые и новые звери. Вдруг кто-то схватил меня за ухо, втащил меня в зал и захлопнул дверь. Я не услышал, как вернулась тетя Сарра.

– Ну что ты за мальчишка, – выговаривала она мне беззлобно, – ты же знаешь, что открывать дверь пока нельзя, зачем же ты это делаешь?

Я стоял с опущенной головой, не зная, как оправдаться. Вечером пришел дядя Симон и тоже пожурил меня.

– Сам подумай, – говорил он, – мы берегли тебя почти целый месяц, и в самом конце ты можешь все равно заболеть, понимаешь, и получится, что мы напрасно берегли тебя. Я чувствовал себя виноватым со всех сторон, но тоска по родной половине дома была, наверно, сильнее меня.

Наконец, настал день, когда торжественно открыли дверь, и тетя Сарра сказала:

– Теперь ты можешь идти на вашу половину дома.

Я переступил порог и увидел всех наших: маму, Соню, Лазаря, Сашу и даже соседских девчат. Все стали обнимать, прижимать и хвалить меня, как будто я был невесть где, а не за дверь. Все пришли к выводу, что я здорово поправился и даже подрос. Мама сказала:

– Что же ты не благодаришь дядю Симона и тетю Сарру?

Я повернулся к ним и почему-то очень тихо произнес: "Спасибо вам". Они стояли оба улыбающиеся, довольные собой, как будто вернули меня с того света и вдобавок сделали из

меня, по меньшей мере, принца. На этом закончилось мое недолгое «изгнание» из нашей половины дома во имя благополучия нашей семьи ко всеобщему удовольствию всего нашего дома. Жизнь в доме опять вошла в нормальное русло.

Я уже говорил, что наш просторный зал мог вместить многих соседей и знакомых без всякой тесноты. Это обстоятельство привлекало к нам постоянных гостей. Всем нравилось у нас посидеть и поговорить. Дело в том, что мама любила разводить цветы, и в зале у нас было много зелени. Цветами были заняты все подоконники. Цветы стояли на табуретках и скамейках, а один клен с обширной кроной стоял прямо на полу и верхушкой упирался в потолок. Мама очень гордилась им. Кроме того, мама обладала умением занимать всех разговорами. Со всеми она находила тему для беседы. Поэтому всех соседей тянуло к нам на посиделки. В зале у нас было просторно и в то же время уютно. Дом наш был вроде клуба на нашей улице. Чуть ли не каждый день, с утра до вечера, собирались компании. То приходили мои друзья, то – друзья брата, то – Сонины подруги, то – соседи.

Часто приходили к нам и мамины братья: Ефрем и Исаак. Под Исааком, как говорила мама, земля горела под ногами. Это значит, что он вел очень активную жизнь. А Ефрем, наоборот, был спокойным и медлительным. Исаак самостоятельно научился грамоте и постоянно стремился быть в начальниках, а Ефрем не умел даже расписаться и не спеша выполнял свою работу, – он был печником. Научил его этому делу мой дед со стороны отца. У дяди Исаака было трое детей, а у дяди Ефрема – пятеро. Оба хорошо зарабатывали и имели свои дома. Дядя Ефрем купил дом на нашей улице, на углу улиц Либкнехта и Социалистической, а дядя Исаак построил дом на улице Пролетарской, 41, между русским кладбищем и садиком им. Ворошилова. В этом садике стоял памятник Ленину.

Все мамины братья: и в Рогачеве, и в Бобруйске, – имели рабочие профессии: каменщики, печники, штукатуры и маляры. Только один Исаак в конце двадцатых годов был директором рогачевского ресторана. Исаак был ниже среднего роста, толстенький, с круглым лицом. Лицо у него было всегда красное, будто он только что вышел из парилки. Мама говорила, что он слишком часто пьет. Когда она ругала его за это, он всегда отшучивался: "Ну и что, я же никогда не бываю пьяным". Каждый раз, когда он заходил к нам, он приглашал меня зайти к нему в ресторан. Однако мама запретила мне ходить к нему в ресторан. Она говорила, что он скоро пропьет весь ресторан. Но мое любопытство взяло верх над маминым запретом.

И однажды я сам отправился к дяде в ресторан. Точно, где он находился, я не знал. Но дядя как-то объяснял, что надо идти по улице Циммермановской мимо городского сада, а потом смотреть на окна. Как увижу большие, широкие окна, так это и будет ресторан. Я так и сделал. Прошел мимо городского сада, мимо большого деревянного дома поликлиники, мимо больших ворот пожарной команды и следом увидел большие окна ресторана. Долго я стоял у дверей, не решаясь войти, но, в конце концов, все же вошел.

Первое, что меня поразило, это множество квадратных столов, накрытых скатертями. Почти все столы были свободны. Ко мне подошла красивая официантка в белом переднике и сказала мне, что сюда заходить нельзя. Я сказал ей, что здесь работает мой дядя Исаак Ронкин. Она молча ушла в глубь зала и скрылась за какой-то дверью. И тут я увидел выходящего оттуда дядю Исаака. Он шел ко мне и улыбался.

– Вот молодец, что пришел, – сказал он и, взяв меня за руку, подвел к одному из столиков, – садись, сейчас я тебя накормлю вкусным обедом. Маруся, – позвал он официантку, – накорми моего племянника, да повкусней!

Вскоре она принесла мне обед: суп, котлеты с кашей и компот. Но так много еды я даже у тети Сарры не ел. Дядя сидел напротив и подбадривал меня.

– Ешь, ешь, если не хватит, еще попросим.

Подошла официантка и спросила:

– И откуда у вас, Исаак Лазаревич, такой прелестный племянник?

Дядя сунул ей деньги в руку за обед и, улыбнувшись, ответил:

– Это сын моей младшей сестры.

Я в это время с трудом доедал вторую котлету. Все было вкусно, и оставлять не хотелось. Компот я выпил через силу.

– Наелся? – спросил дядя.

Я только кивнул головой. Говорить уже не было духа.

– Теперь беги домой и передай привет маме.

Я вышел на улицу со страшно тяжелым животом, перешел улицу и тихо побрел домой. Меня мучила какая-то неприятная тяжесть в животе. Как будто там не только что съеденный обед лежал, а тяжелые камни. Мысли мои были так заняты своим болезненным животом, что я уже ничего вокруг не замечал, и дорога к дому показалась мне очень длинной. Но вот и наш дом. Я вхожу на кухню и вдруг судорога сжимает мне горло, а изо рта выскочил фонтан из всего того, что я с трудом проглотил в ресторане. Мама всполошилась. Прибежала тетя Сарра. И обе в один голос спрашивают: "Что ты ел?" Но меня продолжали давить спазмы, и я не мог ничего сказать. Мама дает мне стакан с водой и просит попить воды. А я стою на коленях и не могу взять стакан, потому что руки стали какими-то непослушными, а в глазах – слезы.

– Может врача позвать, – говорит тетя Сарра.

– Боже мой, что же это с ним случилось, – причитает мама, она сует мне стакан в рот, я с трудом делаю глоток, и мучительные спазмы меня отпускают. Мне становится легче, и я тут же признаюсь, что был у дяди в ресторане. Мама взрывается потоком возмущения.

– Пусть он только появится теперь у меня! Я ему покажу, как перекармливать ребенка! Зачем ты туда ходил? – говорит она строго, – я же запретила тебе ходить в ресторан! Вот, – обращается она к тете Сарре, – я как будто чувствовала, что ресторан до добра не доведет.

– Слава богу, – говорит тетя Сарра, – что все хорошо обошлось.

Но мама не может сразу успокоиться. Она вообще сердита на своего брата. Вместо того, чтобы помогать ей, он все пропивает. Мама считает, что на пропитые деньги она могла бы прилично одеть своих детей. Она была очень недовольна им.

И мамины опасения все-таки сбылись. С дядей Исааком произошел из ряда вон выходящий по нашим понятиям случай. Он бросил жену и детей и стал жить с одной из официанток ресторана. Когда я услышал об этом, то мне почему-то подумалось, что он ушел к той самой официантке, которая встретила меня в ресторане и хотела повернуть меня на улицу. Уж очень она красивая была. Как к такой не убежать? Мама дядю Исаака ругала по-страшному.

– Вот она, водка, что делает, – говорила она тете Сарре с возмущением.

Ровно через месяц дядя Исаак прибежал к нам похудевший и бледный. Он ругал свою любовницу на чем свет стоит: она оказалась совсем не такой, как он думал. Он ругал свое начальство за то, что они сняли его с работы. От любовницы он ушел, и теперь он остался один и без работы. Дядя Исаак пришел к маме, чтобы она простила его за нечестный поступок. Он почему-то был уверен, что жена его простит, но ему очень нужно было, чтобы его простила моя мама. Но мама не хотела ничего ему прощать. Она сказала, что так ему и надо, что она его много раз предупреждала, что водка до добра не доведет, но он не хотел ее слушаться, и что теперь она его ни капельки не жалеет.

– Если бы я была твоей женой, – говорила она ему, – я бы тебя на порог дома не пустила. Глаза бы мои на тебя не смотрели, – добавила она и указала ему на дверь, – уходи и больше ко мне не ходи!

И он ушел, опустив голову, как провинившийся мальчишка. Если бы мама тогда могла предугадать, что она действительно больше никогда его не увидит, она не обошлась бы с ним так сурово. Всю жизнь она будет переживать свое суровое напутствие брату. Ходили слухи, что дела у дяди Исаака пошли совсем плохо. В начальники его больше никуда не брали, а от физического труда он отвык. Везде по городу его сопровождала плохая слава, и жить в Рогачеве

ему было уже невозможно. Он продал свой дом и переехал в Жлобин. Больше ни его, ни его жены, тетю Нехаму, ни его детей: Лену, Лазаря и Исаака, мы не видели.

Младший мамин брат Ефрем бывал в нашем доме гораздо чаще, чем Исаак. Как я уже упоминал, он жил рядом на нашей улице: Либкнехта, 6. Жили они хорошо до 1931 года. Но вот пришел этот голодный год и подорвал все их благополучие. Был дядя Ефрем высок и худощав, весел и добродушен. С работы он всегда ходил мимо нашего дома, и мне всегда хотелось его встречать, потому что он, грязный и утомленный, приятно улыбался мне и говорил:

– А, Левочка, ну как жизнь?

– Хорошо, – отвечал я и тоже улыбался.

А все дело было в том, что дядя Ефрем мне очень нравился. Он был совершенно безграмотным и в то же время необыкновенным рассказчиком. Сказки он рассказывал самые невероятные, причем, сюжет одной только сказки мог растянуть на несколько недель, каждый вечер по два-три часа. Когда я говорил, что у нас по вечерам любили собираться соседи и знакомые, я забыл сказать, что одной из причин их стремления в наш дом была надежда послушать дядю Ефрема. Он рассказывал нам невероятные сказочные истории, и все сидели, затаив дыхание, готовые слушать его рассказ хоть всю ночь. Особенно нам везло на его сказки тогда, когда в магазинах исчезали папиросы и махорка. Дядя Ефрем был заядлый курильщик, и мама это учитывала. Она заготавливала впрок махорку и, когда махорка исчезала в магазинах, она приглашала младшего брата зайти вечерком покурить. Она знала, что без махорки его надолго в гости не заманишь. И дядя Ефрем приходил к нам курить. Как только он приходил и садился за стол, мама клала перед ним пачку махорки, папиросную бумагу, спички и ставила свое условие: пока он курит, он должен рассказывать сказки. Против этого он никогда не возражал, как будто у него этих сказок было бесчисленное множество.

Курить он любил обстоятельно, как и все, что он делал, не спеша и со вкусом. Закончив одну закрутку, он тут же заворачивал другую. И так весь вечер. Рассказывал он тоже не спеша, но без остановок. Он постепенно нанизывал своим героям такие удивительные и запутанные приключения, что все слушатели только диву давались. Содержание выдуманных историй так захватывало всех, что минутная остановка для сворачивания новой закрутки вызывала у самых нетерпеливых досаду и подталкивающий вопрос:

– Ну, дальше, дальше что было?

Дяде Ефрему нравилась заинтересованность слушателей, но спешить он не собирался. Довольный, он улыбался и неторопливо прикуривал новую закрутку от тлеющего окурка, а потом опять же неторопливо продолжал рассказывать о дальнейших приключениях своих героев. Мы не замечали, как пробегали два-три часа. И каждый раз нам казалось полной неожиданностью, когда он вставал и объявлял:

– На сегодня хватит! Поздно уже!

В первое мгновение все молчат. Не доходит до сознания, почему в такой критический момент он вдруг прервал свой рассказ? Ведь корабль, на котором его герои отправились в далекое путешествие, терпит крушение. Люди тонут среди океана, моля о помощи. Почему дядя Ефрем остановил свой рассказ в такой опасный для героев момент? А что будет с ними? Неужели они погибнут? Все упрашивают дядю Ефрема хоть немного, хоть чуть-чуть продолжить рассказ.

– Не упрашивайте, – говорит им дядя Ефрем, – если я вам расскажу, как они спаслись, то завтра вы не придете дослушать мою сказку.

Все разногласия уверяют его в обратном, но дядя Ефрем неумолим. Ведь завтра ему идти на работу – надо отдохнуть. Тогда все благодарят его за сказку и наказывают ему завтра непременно опять прийти. Дядя, улыбаясь, благодарит за махорку и, попрощавшись, уходит домой.

Прямо с утра и весь день я нахожусь под впечатлением вчерашней сказки. Пробую даже записать ее на подобие книги "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели. Я ее прочел недавно. Даже у Пушкина не так складно написано, как у Шота Руставели. Целое утро я мусолил карандаш, но ничего хорошего так и не получилось. А вначале мне казалось, что все очень просто. Следует, конечно, учесть, что Шота Руставели – старик, а я учусь в третьем классе. Однако содержание сказки записываю, чтоб не забыть. Потом напишу ее в стихах. У меня уже шесть тетрадей со сказками дяди Ефрема. А перевести их на стихи я не могу. Не хватает нужных слов. От затруднений опускаются руки...

Целый день я с нетерпением жду вечера. Сажусь на крыльце. Боюсь упустить момент, когда дядя Ефрем будет возвращаться с работы. Ко мне подходит Борис Драпкин, мой ближайший сосед и напарник. Он, оказывается, тоже ждет не дождется вечера. Я же говорил, что все ждут дядиных сказок. Только дети признаются в этом, а взрослые делают вид, что им все нипочем. Борис спрашивает:

- А придет вечером твой дядя?
- Должен прийти, если обещал, – отвечаю я, хотя меня самого гложет сомнение. Но вот, наконец, показывается дядя Ефрем. Я бегу ему навстречу.
- А, Левочка, как живешь? – спрашивает он, как обычно.
- А ты придешь досказать сказку? – отвечаю я ему вопросом на вопрос.
- Конечно приду, – успокаивает он меня улыбаясь, – можешь не сомневаться. И мне сразу становится легче. Я бегу домой и еще с порога кричу на весь дом:
- Он сказал, что придет!

И все прекрасно понимают, о ком я кричу. И дядя Ефрем приходит. И мама опять кладет ему махорку на стол. И он, сворачивая закрутку, с хитринкой в глазах, спрашивает, на каком месте он вчера остановился, хотя и сам хорошо помнит об этом. И когда несколько человек напоминают ему вчерашнюю концовку, он говорит:

- Теперь слушайте, что было дальше.

И опять течет его неторопливая речь, и опять приключения наслаиваются одно на другое, и опять все сидят с раскрытыми ртами, переживая и радуясь изменчивой судьбе героев сказочного рассказа. И каждый раз он заканчивает сказку счастливым исходом. И все, успокоенные и довольные, восхищаются умением дяди Ефрема рассказывать сказки.

Мама, как и я, любила своего младшего брата и обращалась с ним тепло и нежно. Каждый раз, когда дядя кончал сказку, она с любовью и удивлением спрашивала его:

- Ефремушка, откуда все это у тебя берется? Ведь ты совсем не умеешь читать?

На что дядя отвечал с неизменной мягкой улыбкой:

- Я и сам не знаю, плетется и плетется само собой.

Однажды, два года спустя, когда я уже учился в пятом классе, Ефим Фрумин, самый старательный ученик в нашем классе, рассказал товарищам про печника, который перекладывал у них в доме печь и одновременно рассказывал удивительные сказки. Я сразу догадался, о ком идет речь, ведь другого печника-сказочника во всем Рогачеве нет. А Ефим так и нахваливает его, так и нахваливает. Я не выдержал и с гордостью крикнул ему:

- Это мой дядя!

Ефим недоверчиво посмотрел на меня и сказал:

- Нет, у него другая фамилия, но я не могу вспомнить.

- Ронкин! – опережаю я его.

– Точно! – подтверждает радостно Ефим, Ефрем Ронкин. А почему же у него другая фамилия?

– Это младший брат моей мамы, – говорю я ему с гордостью, – а дядя Ефрем рассказывает нам длинные-предлинные сказки, иногда в течение двух недель подряд.

- Эх, – говорит с сожалением Ефим, – вот бы мне их послушать.

Так я узнал, что дядя Ефрем рассказывает сказки не только нам одним...

Дядя Ефрем был, как говорится, кустарь-одиночка. Время для кустарей кончилось, а он никак не хотел идти в ногу со временем, и это его погубило. Если бы он вступил в артель, все было бы совсем иначе, и не было бы никаких трагедий. Надеясь на свое мастерство, он продолжал работать в одиночку. У него все шло хорошо, пока люди жили хорошо, но вот в стране случилась беда: неурожай и, как следствие, голод. И у дяди Ефрема резко упали заработки. Когда продукты стоят дорого, людям не до красоты и удобств. Они сразу же забыли о том, что надо ставить новую печь, что нужно переложить или отремонтировать старую. Все мысли были о хлебе насущном. И дядя Ефрем стал почти безработным. И даже будучи в таком трудном положении, он все равно отказывался вступить в артель. До сих пор не могу понять почему. И началась у него полоса неудач. Подавленный этими неудачами и не найдя выхода из создавшегося положения, он стал все чаще и чаще прикладываться к сорокаградусной бутылке. Мама при каждой встрече говорила ему, что водка до добра не доведет. Но он ее слушал также, как и старший брат Исаак.

Дело могло кончиться плохо, если бы не постановление партии и правительства "Об образовании Еврейской автономной области". Профсоюзы бросили клич всем евреям страны, призывая их ехать обживать богатый дальневосточный край. И дядя Ефрем, как и многие другие евреи, решил попытать свое счастье в этом далеком крае нашей страны. Надо заметить, что дядя Ефрем был мужчина добродушный и добросовестный, но слабохарактерный и безвольный. Трудности, которые обычно выпадают на первых переселенцев, он до конца не смог выдержать и, проработав там только полгода, вернулся домой. Он говорил, что непривычному к тем условиям человеку там очень трудно жить, что там тучами летают какие-то гнусы, вроде наших комаров, но такие же большие, как мухи. Их укусы иногда доводят человека до какой-то болезни, когда у человека перестает двигаться рука или нога. И все же не это было главной причиной его возвращения, как говорил сам дядя. Просто там нет ни родных, ни близких (семью он оставил здесь), и ему там было одиноко.

Итак, поездка ничего не изменила. Целыми днями он ходил в поисках работы, но она редко попадалась. Семья его бедствовала. И его братья, и моя мама помогали ему, чем могли, но нужда от его семьи не отступила. Он приходил к нам уже не сказки рассказывать, а жаловаться на свою неудачную жизнь маме. Мама его корила за уныние и советовала вступить в артель. Но он не соглашался, ссылаясь на то, что в артели каменщики тоже плохо зарабатывают. Так мама и не смогла уговорить его переменить свой образ жизни. А у себя дома он все чаще стал говорить, что ему осталась одна дорога – в омут головой. Жена его, тетя Фрума, опасаясь его мыслей, посылая вместе с ним старших сыновей, когда он ходил на Днепр купаться. Но дядя Ефрем все больше катился по наклонной плоскости в этот самый омут. Редкие заработки он стал пропивать, совершенно не заботясь о семье. Мысль о самоубийстве не выходила из его головы. Слабая воля не смогла его образумить. Однажды, возвращаясь домой в пьяном состоянии, он, не дойдя до дома, свернул на наш пляж. Там он выбрал безлюдное место, разделся и вошел в воду.

Как потом рассказывали парни, которые катались на лодках недалеко от него, дядя Ефрем вошел в воду, пополоскался немного, нырнул и слишком долго не появлялся на поверхности воды. Почуввав что-то недоброе, парни направили свои лодки к тому месту, где нырнул мой дядя. Но он вдруг вынырнул и, увидев близко лодки с парнями, заулыбался им. А когда они отъехали, дядя опять нырнул. Парни уже не придали значения его долгому отсутствию, думая, что он просто хороший ныряльщик и, наверно, просто дразнит их. А дядя из воды так и не вылез. Рыбаки искали его до вечера, но так и не нашли.

Его обнаружили только на третий день, когда он всплыл в конце нашей дамбы, почти под мостом. Мальчишки рассказывали, что он лежал весь синий. Я не пошел смотреть, чтобы не испортить память о живом дяде. Проводить его до кладбища приехали из Бобруйска все

братья и сестры. После похорон все они собрались у нас в зале. И здесь я услышал странные вещи. Оказывается какие-то евреи не разрешали хоронить дядю на кладбище. Хоть бросай его опять в воду. По их правилам выходит, что человек, который наложил на себя руки, теряет право лежать в земле рядом с теми, кто стойко прожил свою жизнь до конца. Ох, как дяди ругали тех евреев с их дурацкими правилами. Ведь мертвые сраму не имут! Только после того, как получили взятку, они разрешили похоронить дядю Ефрема за кладбищенской оградой, у самого обрыва.

Когда дяди изрядно выпили, они опять меня удивили. Женщины тихо плакали, а дяди как-то странно похохотывали. На кухне я спросил у мамы:

– Почему они хохочут?

– Дурачок, – ответила мама, – это они так плачут.

Первый раз в жизни я слышал такой плач.

Так, в силу неблагоприятных обстоятельств, безвременно ушел из жизни мой дядя Ефрем – добрый, талантливый сказочник. Семью он оставил в очень трудном положении. Его жена тетя Фрума – домохозяйка, а у нее на руках – пятеро маленьких детей. Положение – хуже некуда.

Поначалу они продали полдома. Потом им помогали многочисленные родственники. Затем государство определило им помощь на детей. И семья, хотя и с большими трудностями, выжила.

А теперь я хотел бы рассказать о моем дедо со стороны отца Исааке Яковлевиче Липовском. Он никогда не жил у нас дома. Но тем не менее, я хотел бы именно в этой главе рассказать о его многотрудной и удивительной жизни. Все-таки он – старейший предок из рода Липовских, которого я видел и помню. И потом, самый интересный момент из своей жизни дед рассказал именно в нашем доме.

Итак, с моим дедом, Исааком Яковлевичем, я впервые познакомился, когда мне было лет пять, а деду – около семидесяти. Он жил в Быхове. Там же жила его дочь, сестра моего отца, Сарра, о которой я уже рассказывал. Она помогла маме вынуждать всех ее детей, пока отец воевал на полях империалистической, а затем и гражданской войн. Помните, эту тетю Сарру сосватали за вдовца в Быхове, и она уехала от нас. Вот к ней-то мама и решила послать меня погостить. Тетя Сарра, папина сестра, просила об этом маму в каждом письме. А тут подвернулся удобный случай: в Быхов ехала знакомая женщина, которая согласилась взять меня с собой.

Это была моя первая поездка на поезде. Наша железнодорожная станция находится на самой окраине городка. Станция хоть и маленькая, но красивая, сложенная из красных кирпичей, между которыми проложены ровные черные швы. По бокам станции – маленькие садики со скамьями для ожидающих. Если на нее посмотреть издали, то она покажется вам красивым игрушечным домиком из кирпича. Вокруг станции – пустырь, а впереди за железнодорожным полотном – непроходимое болото, заросшее тиной и осокой. На некотором удалении от станции находится поселок рабочих лесопильного завода и картонной фабрики. К станции можно идти двумя путями: через специальный проход под железнодорожным полотном и мимо больницы, по краю болота. Все, конечно, выбирали первый путь, опасаясь топкого болота.

Провожая меня, мама все время напоминала этой своей знакомой, где находится в Быхове дом ее золовки, а женщина, ни капли не сердясь, каждый раз успокаивала маму: "Хорошо, хорошо, я уже запомнила". Наконец подошел поезд, и мы вошли в вагон. Все скамейки были заняты. Мы прошли вдоль всего вагона, и моя провожатая нашла себе свободное место, а я остался стоять около нее. Женщина напротив, рассмотрев меня, сказала ей:

– Какой у вас хороший мальчик, – и обращаясь ко мне, – иди садись рядом со мной, – она чуть-чуть подвинулась, уступая мне край скамьи. Я посмотрел на мамину знакомую, чтоб она разрешила мне сесть.

– Садись, садись, – сказала она, – ехать еще долго.

И хотя Быхов от Рогачева совсем недалеко, но мне действительно показалось, что мы едем очень долго. Ужасно утомительно сидеть на одном месте среди незнакомых людей, которые все время смотрят на тебя. Я не мог предположить, что в поезде так неудобно и трудно ехать. Хорошо, что все имеет конец. Кончилась и моя езда в вагоне поезда.

Мы вышли на перрон, и я увидел станцию, совсем не похожую на нашу. Вход на станцию был со двора. Со стороны железной дороги была только стена со множеством высоких окон. Кто это построил такую неудобную станцию? Мы обошли ее и двинулись по пыльной грунтовой дороге. Был уже полдень, и было очень жарко. По обеим сторонам дороги росла низкорослая рожь, огороженная от дороги только жердями, наверно, от скотины. Вдали виднелись деревянные дома. Мне почему-то показалось, что мы долго идем к этим домам. Это, наверно, от усталости. Когда мы поравнялись с первым домом справа от дороги, мамина знакомая остановилась и сказала:

– Вот дом твоей тети.

Я очень удивился такому совпадению: первый дом и вдруг дом моей тети. Я стоял в нерешительности, думая, что мамина знакомая хочет надо мной пошутить. Зачем же мама ей так подробно объясняла, где находится тетин дом?

– Ну, что ты стоишь? – спросила она с досадой, – это дом твоей тети Сарры, заходи!

А сама повернулась и пошла дальше. Чувство жалости к себе тронуло мое сердце: мне показалось, что эта женщина просто бросила меня на произвол судьбы. А я-то думал, что она меня передаст из рук в руки, а она почему-то ушла, оставив меня одного. А вдруг здесь не будет моей тети Сарры? И потом, я ее совсем не помню. Она ведь уехала от нас, когда мне и двух лет не было. И дом этот мне не понравился. Старый длинный дом, сложенный из толстых бревен и стоящий узким торцом на улице. Со стороны двора на всю его длину – ни одного окна. Одна только входная дверь в середине. В торце на улицу – только одно окно. Не дом, а сарай какой-то. А вокруг двора кривые стойки и прибитые к ним жерди напоминают о том, что когда-то здесь была ограда. Я пожалел, что согласился сюда приехать. Что это за двор без забора? Это все равно, что нет двора. У нас в Рогачеве у всех есть заборы. Правда, у кузнеца Славина нет забора. Они говорили, что забор мешает крестьянам подъезжать к кузнице. Тут уж ничего не возразишь. Ведь жизнь их держалась на кузнице, она их кормила.

Однако, делать было нечего. Женщина, которая меня сюда привела, завернула куда-то за угол улицы и исчезла, и я, хочешь или не хочешь, пошел к дому. Двери дома были широко открыты. Я вошел в маленький коридорчик, а потом на кухню. Прямо на полу сидела женщина и две маленькие девочки. Все чистили картошку.

– Здравствуйте, – сказал я тихо.

– Здравствуй, мальчик, – ответила женщина, – ты зачем пришел? Я что-то не помню таких мальчиков у наших соседей.

– Я из Рогачева.

– Из Рогачева, – повторила она, удивляясь, – а к кому же ты приехал?

– К тете Сарре, – ответил я, начиная сомневаться, туда ли я попал. Ведь тетя никак меня не признавала. Если бы она меня нянчила, она бы давно меня узнала.

– Я – тетя Сарра, – сказала она, – но чей же ты, мальчик?

– Я – Лева, Ронин сын, – ответил я уже без всякой надежды и стал мучительно думать, как же я теперь один вернусь домой? Но услышав, что я Ронин Сын, тетя неожиданно легко вскочила и закричала на весь дом, всплеснув руками:

– Левочка! Дорогой мой! И как это я сразу не догадалась?

Она подбежала ко мне, легко подняла и поцеловала меня в обе щеки. Моя тревога сразу улетучилась. Наконец-то я почувствовал, что попал по назначению. А тетя Сарра продолжает удивляться.

– Я тебя совершенно не узнала, – говорит она, – ты стал такой большой. Боже мой, – продолжает она, – я тебя оставила вот таким маленьким, – она показала это ладонью, держа ее над полом на пятьдесят сантиметров. Какой ты стал большой! Ну, как там мама? Дети? Рассказывай. Дети, – обратилась она к своим девочкам, не ожидая моего рассказа о маме, – это мой племянник из Рогачева, помните, я вам рассказывала, как я жила в Рогачеве? Вот, Левочку я тоже нянчила. Смотрите, дети, не обижайте его. А картошку ты чистить умеешь? – спросила она меня.

– Умею, – сказал я, удивляясь ее разговорчивости.

– Раечка, – обратилась она к одной из девочек, – принеси ножик для Левочки.

Рая принесла мне ножик. И мы все стали чистить картошку, бросая ее в большой чугунок.

– Молодец, Левочка, – сказала тетя Сарра, увидев, как я аккуратно чищу картошку, и обратилась к девочкам, – смотрите и учитесь, хоть он – мальчик, а вы – девочки.

Девочки засмеялись. Они, наверно, были очень смешливые. А тетя Сарра не переставала говорить:

– Сейчас придет мой муж, и мы будем обедать, – сказала она, – а потом надо обязательно показать тебя моему отцу и твоему деду. Ведь он тебя еще ни разу не видел. А пока, девочки, приглашайте Левочку во двор и погуляйте там.

Девочки повели меня во двор. Двор был совершенно пустой, заросший бурьяном, и делать на нем было нечего. Тогда Рая, она была, наверно, постарше и посмелее, позвала меня в кузницу. Она оказалась совсем рядом, по другую сторону дороги. Оттуда был слышен перестук молотка. Кузница представляла собой деревянный сарай с воротами почти на всю высоту стен. Войдя в эти ворота, девочки закричали:

– Папа! К нам приехал мамин племянник! Вот он!

Их папа был большой мужчина, весь закопченный, похожий на трубочиста. Он отложил молоток, которым работал, подошел ко мне и протянул большую бугристую руку, как мужчина мужчине.

– Здравствуй, сынок! – прогудел он басом, – когда же ты приехал?

– Только что, – ответил я.

– Ну, погуляйте немного, сейчас я закончу работу, и пойдем обедать.

Он взял щипцами какую-то железную деталь и сунул ее в тлеющие угли, а мы вышли на улицу. Сразу же за кузницей, огороженной жердями, чуть-чуть раскачивалась высокая пшеница. Смотреть на эту полоску было приятно. Среди желтой пшеницы радовали глаз голубые васильки. Я еще никогда не видел, как растет пшеница, из которой мама печет в пекарне белые булки и баранки. Это, действительно, красивое зрелище. Видя, что я засмотрелся на пшеницу, девочки похвастались:

– Это наша пшеница! Каждый год папа сеет ее здесь. Он сеет для красоты. Он говорит, что когда он выходит из кузницы и смотрит на пшеницу, то просто отдыхает.

В это время из кузницы вышел их отец, закрыл ворота и позвал нас на обед. На улице он показался мне еще больше, чем в кузнице. У нас в Рогачеве таких кузнецов нет. Настоящий богатырь!

Обедали молча. После обеда, когда дядя Павел ушел в кузницу, тетя Сарра поручила Рае и Оле мыть посуду, а меня посадила на диван, села рядом и стала спрашивать про маму, про брата, про сестер и про наших соседей. Все, что я знал, я ей, конечно, рассказал. А потом тетя Сарра сказала:

– Завтра с утра девочки отведут тебя к дедушке, а вечером заберут опять к нам.

Я согласился. Потом девочки играли своими самодельными тряпичными куклами. Тетя Сарра возилась на кухне, а я рассматривал их дом. Оказывается, этот длинный дом делится на две половины. Одна половина, где они живут, а вторая половина – сарай. Причем, вход в сарай есть и с кухни, и со двора. Вход со двора я заметил не сразу. У тети Сарры было

большое хозяйство: корова, куры, утки и свинья, которая без конца хрюкала в сарае так, что и на кухне было слышно. Все окна были у них с восточной стороны, где по утрам всходит солнце. И в кухне, и в зале, и в спальне стояла старая мебель. Ее, наверно, лет сто не меняли: такая же старая как и весь дом. Наверно, здесь жили не только родители дяди Павла, но и его дедушка с бабушкой. Из дивана выглядывали наружу несколько пружин. От всей обстановки веяло глубокой стариной. Такой же старой оказалась и корова со сломанным рогом.

Дядя Павел пришел домой, когда уже начинало темнеть. Мы попили молока с черным хлебом и легли спать. Мне постелили как раз на этом старом диване. Утром я проснулся, когда солнце всю освещало зал. Девочки стояли напротив и улыбались. Никогда раньше я так поздно не вставал. Вошла тетя Сарра и сказала:

– Быстрее одевайся. Надо спешить к деду, а то не застанете его дома.

После завтрака, который состоял из картошки с кислым молоком, девочки повели меня к деду.

Улицы Быхова ни в какое сравнение не шли с рогачевскими: все какие-то кривые, с ветхими домами, переулки такие узкие, что и телега не проедет. Девочки вели меня по какому-то запутанному лабиринту улиц. Но они шли так уверенно, что я не сомневался в том, что дорогу к деду они знают. Наверно, много раз туда ходили. Я бы давно уже запутался. За всю дорогу я не встретил ни одного кирпичного дома. Да, Быхов – не чета Рогачеву!

Наконец, мы остановились около довольно большого дома, из которого несся стук молотка, бьющего по жести. Наверно, это – здесь. Девочки с трудом открыли калитку, за которой сразу же вниз вели ступеньки. В небольшом дворике казалось, что мы находимся в яме. Через узенькую дверь мы вошли в подвальное помещение. Маленькое окошко настолько запылилось, что свет с трудом пробивался в подвал.

Когда мы вошли, я увидел около старика с бородой не совсем старую женщину. Одна кровать, небольшой шкаф и два стула у стола – вот и вся обстановка. Удары молотка по жести здесь были слышны еще больше, чем на улице. Похоже было, что прямо под потолком работал жестянщик. Сразу с дороги девочки закричали наперебой:

– Дедушка, мы привели к тебе Левочку из Рогачева!

– Неужели? – радостным, но слабым голосом воскликнул дедушка. – Подойди ко мне, внучек, дай-ка я посмотрю на тебя у окна, – позвал он меня.

Я подошел к нему. Стук молотка о жечь прекратился, и стало приятно тихо. Дедушка положил на мои плечи свои худые руки, повернул меня к единственному окошку и стал всматриваться в меня улыбчивыми глазами. Лицо у него почти все заросло рыжевато-седой бородой и все было испещрено тонкими морщинами. На голове у него был старый потертый картуз, а лацканы пиджака были запачканы жировыми пятнами.

– Смотри, Соня, – обратился он к своей жене, – он похож на Моисея, видишь?

Но тетя Соня безучастно стояла в стороне и смотрела на меня с каким-то безразличием, совершенно не разделяя радости деда. Дедушка отвел ее в сторону и стал о чем-то шептаться с ней. До меня только долетали отдельные слова: «одолжи», «он же ребенок», «сколько ему надо». Дедушка попросил меня выйти во двор погулять. Я вышел во двор и опять очутился, как будто в яме. Вокруг дворика – сарайчики, закрытые на замки, а улица, как будто на горе. Опять застучал жестянщик. Девочки, наверно, убежали домой, и я не знал, что мне делать. Было такое ощущение, что я напрасно сюда пришел, что я здесь лишний, что никто особенно мне не рад и никто не хочет уделить мне внимания. Я бы ушел назад к тете Сарре, но я боялся, что заплутаю в этих кривых улицах и узеньких переулках. Теперь придется ждать до вечера, когда за мной придут девочки.

Во двор вышел дедушка, маленький, худенький, но с очень доброй улыбкой. Он сказал, чтоб я погулял здесь, и что он скоро вернется. Удары молотка по жести разносились по всему двору и глушили все мои мысли. Как тут живет дедушка – было непонятно. Я здесь только

полчаса, а уже не знаю, куда деваться от такой шумной работы жестянщика. Я не слышал, как ко мне подошел мальчик лет восьми, весь костюм которого был покрыт заплатами, а с картуза свисал надорванный козырек.

– Бабка сказала погулять с тобой, – сказал он с таким независимым видом, – тебя как зовут?

– Лева, – ответил я, радуясь, что нашелся человек, который готов помочь мне в моем одиночестве.

– А меня – Борис, – сказал он дружелюбно, – пошли за яблоками в церковный сад.

Удивительное явление: наверно, во всех городах мальчишки лезут в церковные сады за яблоками.

– А далеко? – спросил я, боясь все-таки затеряться в этом беспорядочном городке.

– Рядом, за углом нашего дома, – сказал он охотно, – пошли?

– Мне нельзя, – сказал я, думая о том, что испачкаю чистую матроску, но, увидев его грязный, заплатанный костюмчик, добавил, – я в гостях.

– Ладно, – сказал он, быстро соглашаясь, – раз тебе нельзя, то в сад залезу я, а ты постоишь на улице и свистнешь, если кто-то будет идти.

Мне ничего не оставалось, как согласиться. Церковь, действительно, оказалась рядом за углом дома, где жил дедушка. Удивительно то, что эта деревянная церковь была, как две капли воды, похожа на деревянную церковь в Рогачеве. Наверно, одни и те же люди строили. Даже ограды были одинаковые. Борис остановился у определенного места в ограде, где ему был известен лаз.

– Ты тут смотри и, в случае чего, дай мне знать, – сказал он мне, а сам подошел вплотную к ограде, сдвинул дощечку в заборе и пролез в сад.

Его долго не было. Хорошо, что в это время никто не прошел по улице, ибо я не знал, как предупредить его. Свистеть-то я еще не научился. Наконец, он вылез на улицу такой же спокойный, как и прежде, во дворе.

– Все в порядке, – сказал он и дал мне яблоко, – пошли теперь на речку.

Надкусил я яблоко и тут же выплюнул. Таких кислых яблок я еще не пробовал. В нашем церковном саду яблоки гораздо вкуснее. А Борис ест эти кислые яблоки и даже виду не показывает, что их есть невозможно. Привык он к ним, что ли? До речки было недалеко, но последние триста метров пришлось идти по сыпучему желтому песку. Ноги вязли в нем, как будто в грязи, в башмаки набился песок, и я их снял, но тут же опять их одел: песок обжигал ступни. А Борис шел босой и никаких неудобств не испытывал. С трудом я добрался до воды. Борис стал купаться, а я стоял и смотрел на него, на речку, на поле за рекой. Борис говорит, что это Днепр, а мне что-то не верится. Ничего похожего на Днепр у Рогачева. Нет высоких берегов, на которых расположен Рогачев, нет кустарников лозы вдоль берега, и сама река в два раза уже, чем у нас. В Рогачеве Днепр выглядит веселей, особенно у дамбы. А здесь какой-то пустынный, необжитой. Может этот желтый песок сузил его до крайности?

Почти весь день мы просидели у реки. Приятно в жаркий день побыть у реки. А когда мы вернулись, бабушка сильно отругала Бориса за то, что увел меня со двора на целый день. Девочки уже ждали меня. Так как у дедушки негде было ночевать, мы сразу же пошли к моей тете Сарре.

Когда тетя Сарра узнала, что я целый день ничего не ел, она возмутилась поведением бабы Сони.

– Ты только подумай, – говорила она дяде Паше, – какая она скаредная женщина. Впервые в жизни вижу такую скупую еврейку. Ни разу за целый день не покормить ребенка! Подумать только!

– Ну, что ты волнуешься, – успокаивал ее дядя Павел, – может быть, у них самих нечего поесть. Чтобы обвинять их, надо сначала узнать, в чем дело. И потом, что ты раскричалась, лучше покорми детей ужином.

Тетя Сарра спохватывается:

– Ну что у меня за язык такой? Пойдемте, дети, ужинать...

Вот такая неудачная встреча произошла у меня с дедом Исааком в первый раз. Я гостил у тети Сарры еще два дня, а он почему-то не приходил. Тетя Сарра говорила, что ему некогда, что он целый день занят в синагоге, где он работает за какие-то копейки служкой и сторожем.

– А что делать, – говорит тетя Сарра, – у него пенсии нет, а жить как-то надо.

У дедушки, если не считать моего отца, осталось два сына и дочь. Но они, наверно, плохо ему помогают. Тетя Сарра сама призналась, что она редко помогает отцу. Муж запретил ей раздавать его заработок.

В воскресенье девочки повели меня к каким-то дальним родственникам. Если я не ошибаюсь, то это была семья двоюродного брата дедушки, тоже Липовские. У них было много молодых девчат, разговорчивых и веселых. Я им всем очень понравился. Они все меня целовали, надавали конфет и очень жалели, что мне еще нет двадцати лет. При этом все хохотали и шутили. Они жили рядом с кинотеатром. Вскоре сестры решили показать нам кино и повели меня, Раю и Олю в кинотеатр.

Кинотеатр был у них деревянный, покрашенный зеленой краской. Внутри стояли грубо сколоченные длинные скамьи, как в плохом клубе. Кино оказалось настолько скучным, что я задремал и чуть не свалился на пол. Когда мы вышли на улицу, сестры во весь голос смеялись надо мной, но я не обиделся. Мне нравилась их веселость. Когда я тете Сарре рассказал, как я гостил у этих Липовских, она сказала:

– Им хорошо. Все устроены. Все работают. Живут хорошо, помочь двоюродному дяде не считают нужным.

После этого я понял, что нашему дедушке живется плохо. А в понедельник тетя Сарра и девочки провожали меня домой в Рогачев. Тетя Сарра купила мне билет, а когда подошел поезд, посадила меня в вагон и попросила проводницу высадить меня в Рогачеве. А там я уже знал, куда идти. Улицы в Рогачеве прямые, и любой дом можно легко найти.

Когда я благополучно вернулся домой, мама, увидев меня, очень удивилась.

– Почему ты так быстро вернулся домой? Что там случилось? Не заболел ли ты? – забросала она меня вопросами.

Я ей сказал, что там очень скучно, что мне не с кем там играть. Но постепенно, в течение последующих дней, я рассказал ей про бедность дедушки, про жадность его жены Сони, про веселых девчат Липовских, про крученный, некрасивый город, про пустынную речку и про многое другое...

Вторая и последняя моя встреча с дедом Исааком произошла ровно через шесть лет и имела довольно неприятное для меня начало. Дело в том, что во время голодных годов на нашей улице развелось много нищих. Если раньше ходили две женщины, то теперь их стало больше дюжины. Причем, многие из них были еще молоды и, скорее всего, как утверждала мама, притворялись больными, а на самом деле, они – просто лодыри. Мама им не доверяла и наказывала нам, детям, ничего нищим не давать и неизменно отвечать, что дома никого нет, и что у нас ничего нет. Сама мама им что-нибудь всегда выносила, а нам запретила.

Одним словом, как мама наказывала, так я всегда и делал. Всех нищих по нашей улице я знал в лицо и, как только они открывали дверь на кухню, я им сразу выпаливал: "Дома никого нет! У нас ничего нет!" Они поворачивались недовольные, а иногда даже сильно хлопали дверью. Наверно, сердились. Но меня это не беспокоило. Я точно выполнял наказ мамы.

И вот однажды, в наш дом вошел новый нищий, старый дедушка с седой бородой и палкой в руке. Руки и голова у него мелко тряслись, и у меня мелькнула мысль, что ему-то обя-

зательно надо что-нибудь подать, но заведенная привычка взяла вверх, и я по обыкновению сразу отчеканил:

– Дома никого нет! У нас ничего нет!

Однако, дедушка не уходил, как это делали нищие. Он оперся дрожащими руками на палку и молча смотрел на меня улыбочивыми глазами. Я подумал, что он, наверно, плохо слышит, и уже громче повторил:

– Дома никого нет! У нас ничего нет!

На кухню прибежала младшая сестра Саша и посмотрела с любопытством на дедушку: какой-то странный дедушка, не хочет выходить из дома. А дедушка, продолжая улыбаться, спросил тихо:

– Где же ваша мама?

– Мама на работе, – ответил я.

– А где Лазарь и Соня?

– Их тоже нет дома, – ответил я и удивился: "Откуда он их знает?"

– А ты меня не помнишь? – спрашивает дедушка.

Я нерешительно покачал головой. В это время, услышав наш разговор, подошла наша соседка тетя Сарра. Она всегда прислушивалась к тому, что происходит на нашей половине дома: все-таки дети здесь почти всегда одни. Увидев дедушку, она поздоровалась с ним, как со старым знакомым. А дедушка, усмехаясь, шутливо пожаловался ей, что я никак его не узнаю.

– Чего с него взять, – сказала ему тетя Сарра, – несмышлениш еще, – и повернувшись ко мне строго продолжала, – это же твой дедушка приехал в гости, а ты его не узнаешь! Эх, ты!

Мне стало стыдно, и я покраснел до ушей. Теперь-то я тоже вижу, что это мой дедушка Исаак. Конечно, я когда-то был у него. Но разве я мог его надолго запомнить после той мимолетной встречи? Да еще в темной подвальной каморке. И был я тогда совсем маленьким. Но дедушка, видно, не обиделся на меня, потому что продолжал дружелюбно смотреть на меня и Сашу.

– Проходите, проходите, – пригласила его тетя Сарра к моему топчану, – садитесь и отдохайте, Роня скоро придет с работы.

Она помогла ему сесть, забрала у него палку и картуз и, толкая меня к дедушке, сказала мне:

– Поздоровайся с дедушкой! Что ты вдруг набрал воды в рот! Сумел не узнать дедушку – теперь и узнать сумеи!

К дедушке я подошел, но поздороваться после того, что произошло, не решился. Неудобно как-то было. Дед привлек меня к себе, прижал мою голову к своей седой бороде и стал гладить мои кудри.

– А это кто? – спросил он у тети Сарры, посмотрев на Сашу.

– Это дочь от Григория, второго мужа Рони, – сказала тетя Сарра.

Дедушка согласно закивал головой. В это время и вошла моя мама. Приезд деда ее и обрадовал, и встревожил. Дедушка все-таки был стар и слаб.

– Как это вы решились ехать в такую жару? – спросила она дедушку.

– Я на пароходе приехал, а около воды не бывает жарко, – ответил дедушка.

Тетя Сарра ушла к себе, а мама, разговаривая с дедушкой, начала собирать ему на стол что-нибудь перекусить. Она поставила ему тарелку с супом, усадила его за стол и предложил поест с дороги, а сама стала рассказывать ему, как она работает иногда по две смены подряд, чтобы как-то прокормить детей. А дедушка с трудом подносил ложку с супом ко рту. Его рука дрожала, и суп расплескивался обратно в тарелку или на стол. Он ел и смотрел на нас веселыми и счастливыми глазами, как будто исполнилась его самая заветная мечта. Бесчисленное количество морщин, как будто лучи, расходились от радостных глаз. Глядя на него, можно было подумать, что дедушка прожил долго и хорошую жизнь, хотя в действительности жизнь его

была такая же тяжелая, как и у большинства людей-труженников, а в некоторых случаях и того хуже. За всю свою жизнь он не сумел нажать себе дома и вечно жил по чужим углам.

Родился он в бедной семье, в тот год, когда царское правительство под напором крестьянских волнений вынуждено было отменить крепостное право. Рано лишившись родителей, он прошел через все тяготы сиротства, трудясь на хозяев с утра до ночи за кусок хлеба. И никто не позаботился оформить ему документы на право жительства. Паспорта у него не было до пятидесяти лет, и он не был нигде прописан. Научившись ремеслу маляра и печника, он ходил по деревням и местечкам, нанимаясь на работу к местным жителям. Там где работал, там он и жил и питался. Много ли одинокому человеку нужно. Зимой снимал угол в Быхове и тратил деньги, нажитые за лето. Работа у него была в основном сезонная. За несколько лет он исходил Могилевскую и Минскую губернии вдоль и поперек. Все его знали, и никто никогда не спрашивал у него паспорт.

Но однажды он нанялся на работу к одному богатому хозяину в местечке Гревск Минской губернии. В большом доме жили только два человека – отец и дочь. Ее звали Света. Работы хватило на целый месяц, и за это время он и дочь хозяина полюбили друг друга. Хозяин, узнав об этом, метал громы и молнии.

– Никогда моя дочь не выйдет замуж за голодранца, да еще беспаспортного! – кричал он на всю округу. Он не дал Исааку закончить работу и выгнал его из дома, требуя, чтобы Исаак убрался из местечка, а не то он заявит в полицию, что у него нет документа на право жительства. А дочери он запретил встречаться с Исааком. Но любовь сильнее всех запретов. Исаак не ушел из этого местечка, и Света в отсутствие отца продолжала встречаться со своим любимым. Они решили пожениться против воли отца, но прежде Исаак должен был собрать необходимые средства, чтобы увезти Свету отсюда и создать свое гнездо в другом месте.

Исаак ушел на заработки. Он договорился со Светой, что вернется на следующее лето, но больше им увидеться не пришлось. Когда мой дедушка, тогда еще молодой парень, вернулся в это местечко с намерением тайно увезти Свету, он в корчме узнал, что Светы уже нет дома и, следовательно, ходить туда Исааку незачем. Больше того, хозяин корчмы ему рассказал, что отец Светы, религиозный фанатик, отправил дочь в Америку, а сам после этого не долго пожил – умер. Так, Исаак ушел восвояси.

Прошли годы. Раны этой любви затянулись, дедушка женился в Быхове, и у него появились девочка Сарра и мальчик Моисей. Вскоре жена дедушки умерла, и он ради маленьких детей женился во второй раз. Вторая жена родила ему двух мальчиков: Иссера и Володю – мои будущие дяди.

Когда дедушке было уже пятьдесят лет, ему при помощи знакомых, за взятку, удалось получить документ на право жительства. Пятьдесят лет он жил без паспорта. Пятьдесят лет он жил "без права на жизнь". Сказать кому – не поверят. Но при царизме бывало еще и не такое. А что стоит подписанный царем указ о "черте оседлости" евреев, по которому евреям разрешалось жить только на южной окраине Российской империи. Так что нет ничего необыкновенного в том, что мой дедушка жил столько времени без паспорта.

О первой романтической и возвышенной любви нашего дедушки, окончившейся так трагично, никто из нас не знал и не подозревал. И вот дедушка неожиданно приезжает к нам в гости. Говорит с мамой о том, о сем и кушает дрожащей рукой суп. Не доев еще и половины супа, дедушка вдруг заторопился, засуетился, встал из-за стола. Ему, оказывается, надо было успеть на пароход до Быхова.

– Зачем вы так торопитесь, – говорит ему мама, – побудьте у нас пару дней. Отдохнете, а потом поедете.

– Спасибо, – отвечает ей дедушка, – но мне обязательно надо сегодня же вернуться.

– Ну что за спешка, – говорит мама, – можно же до завтра побыть у нас, ведь вы еще не видели Лазаря и Соню.

– Нет, никак не могу, – настаивает на своем дедушка, – мне нельзя задерживаться. Где мой картуз и палка? Я подал ему палку, а мама – картуз.

– Я бы только попросил тебя, Роня, проводить меня до пристани, а то мне одному трудно ходить, – говорит он.

– Конечно, я вас провожу, – говорит мама, – но почему вы не хотите остаться – никак не пойму.

Но дедушка уже идет к дверям. Я тоже готов проводить его до пристани, но дедушка говорит маме, чтобы я не ходил с ними.

– У нас будет разговор по дороге, – говорит он маме, – не для детских ушей.

Ослушаться деда нельзя. Он слишком слаб, чтобы с ним спорить. Я нехотя остаюсь дома.

Вернулась мама домой очень возбужденная и сразу позвала тетю Сарру, чтобы поделиться с ней необыкновенной новостью. А новость действительно была, как говорят, сногсшибательная: у нашего деда нашелся сын, о котором он ничего не знал целых пятьдесят лет, полвека!

– Подумать только, – говорит с восторгом мама тете Сарре, – через пятьдесят лет найти сына, которого он никогда в глаза не видел!

По дороге на пристань дедушка рассказал ей историю своей первой любви и о том, как плачевно она закончилась. И вдруг эта первая любовь напомнила ему о себе через пятьдесят лет, когда дедушке было уже семьдесят четыре года.

Однажды, к дедушкиным знакомым пришло письмо из Америки от их родственницы, которая еще до революции уехала туда. Родственница писала им, что случайно встретилась в Америке со старушкой, которая когда-то тоже жила в Белоруссии. Встретились землячки и, естественно, разговорились, вспоминая свою далекую родину и все, что было с ней связано. Та старушка и рассказала ей, что в молодости очень любила одного человека, но отец выгнал его из дома, а ее силой отправил в Америку. При этом старушка раскрыла ей тайну, что от того любимого человека у нее родился сын, которого ее отец отнял грудным и куда-то отнес, и она до сих пор ничего не знает о судьбе своего ребенка. Старушка ей сказала, что тот молодой человек назывался Исааком Липовским. Вот родственница и спрашивает у них, не тот ли это Исаак Липовский, что проживает в Быхове.

Письмо показали дедушке, и он подтвердил догадку. Пошла переписка с Америкой. Дедушкина любовь Света просила дедушку узнать судьбу их ребенка. Она сообщила, что если дедушка Исаак будет искать своего сына, то пусть имеет в виду, что сын его родился со щербинкой на носу. И наш дедушка, будучи в преклонном возрасте, решил поехать в тот злополучный Гревск, чтобы проверить, не живет ли там его сын. А вдруг он живет там же?

И дедушка отправился в дорогу. Он приехал в районный центр и пошел на базар, чтобы поискать подводу до местечка, где он когда-то работал, жил и любил. Пешком идти, как он это делал в молодости, теперь ему было уже не по силам. Подвода не сразу нашлась, и он сел отдохнуть рядом с какой-то лавкой. Было еще рано, но базарная площадь постепенно заполнялась людьми.

К торговой лавке, у которой отдыхал дедушка, подошла женщина, очевидно лавочница, и стала открывать двери этой лавочки. Увидев старика, совсем незнакомого, она заинтересовалась:

– Откуда вы, дедушка? Кого ждете?

Дедушка объяснил ей, что ищет подводу на Гревск – ему очень нужно там побывать.

– Вам кто там нужен? – заинтересовалась женщина.

Интерес женщины воодушевил дедушку, и он с готовностью рассказал ей, что ищет сына, которого потерял пятьдесят лет назад. Рассказал он и о письмах из Америки, и о том, что ему необходимо проверить, живет ли такой человек в Гревске или нет.

Женщина почему-то заволновалась и стала запирать только что открытую лавку.

– Я, дедушка, тоже из Гревска, – сказала она ему, – сейчас я найду подводу и вместе с вами поеду туда.

Она ушла, а дедушка был рад, что эта женщина решила ему помочь. Вскоре она приехала с подводой, усадила поудобней дедушку, сама села рядом, и они поехали в Гревск. В Гревске женщина попросила остановить лошадь у высокого дома с крыльцом. На звук подъехавшей подводы на крыльцо вышел крепкий мужчина с небритым лицом и спросил:

– Хана, что случилось? Почему ты вернулась?

Дедушка, рассматривая мужчину, вдруг заметил, что на носу у него щербинка, и он сразу понял, что перед ним – его сын. А женщина, которая привезла дедушку, сказала:

– Отец, принимай гостя! Я привезла тебе твоего отца!

Она, оказывается, еще в райцентре догадалась, что этот старик – ее настоящий дедушка.

– Откуда ты знаешь, что это мой отец? – спросил он у нее, крайне удивленный.

– Можешь не сомневаться, – ответила дочь, – все сходится. Помоги дедушке слезть с подводы.

– Да, да, – подтвердил, волнуясь, дедушка, – щербинка на носу, – самая верная примета, что ты – мой сын!

Они обнялись и расцеловались. И слезы радости у обоих потекли по щекам. Ефим (так звали его сына) разволновался и вдруг закричал на всю улицу во весь голос:

– Люди, у меня нашелся отец! Вы слышите, у меня нашелся отец!

На крик сбежались все соседи и с изумлением смотрели на эту трогательную встречу отца и сына, которые нашли друг друга через пятьдесят лет. Тут же нашлись старики и старушки, которые вспомнили давнишнюю историю любви между бродячим печником и дочерью гревского богача. Дедушку пригласили в дом и здесь отметили эту удивительную встречу.

В разговорах за столом выяснилась вся жизнь дедушкиного первого сына Ефима. Ефим не помнил, кто его выкормил и вынянчил. Он помнил себя уже семилетним мальцом, которого все почему-то называли «подкидышем». Ни отца, ни матери он не знал и никто ему не говорил о них. Он жил у кузнеца и помогал хозяину в кузне. Когда он подрос, ему всем обществом определили фамилию по названию местечка. Так он стал Ефимом Гревским. В этом местечке он женился, вырастил детей и сам стал дедушкой. Сейчас он работал кузнецом в колхозе. Весь день и все последующие дни, пока дедушка гостил у нашедшегося сына, в дом приходили люди, чтобы посмотреть на дедушку и подивиться превратностям судеб человеческих. Через неделю дедушку проводили домой.

Вот такую историю рассказал дедушка моей маме, когда она его провожала на пристань. Через несколько лет дедушка скончался в Быхове на семьдесят седьмом году жизни. А историю первой любви дедушки мама много раз рассказывала соседям нашей улицы и своим знакомым. И все удивлялись необыкновенной дедушкиной судьбе. Шутка ли, через пятьдесят лет найти сына, внуков и правнуков, о которых он ничего не знал...

Когда маму приняли в члены Коммунистической партии, она с радостью и энтузиазмом устремилась навстречу новой жизни. О работе и говорить нечего – она считалась лучшим мастером по выпечке баранок и булок, а потом и хлеба. Все-таки она работала в пекарне чуть ли не с детства. Но и дома она делала все, что было в ее силах. Она самой первой по нашей улице провела в наш дом электричество. Правда, "лампочку Ильича" повесили только в зале, а на кухне и в спальне мы продолжали пользоваться керосиновыми лампами. Лампочка Ильича привлекла всех соседей. В частных домах она была тогда редкостью. По вечерам все заходили к нам и подолгу смотрели на эту тусклую лампочку и удивлялись:

– Как это она горит и светит без керосина? Неужели по черным проводам, которые протянули к нам от Циммермановской улицы, бежит огонь и свет?

Они хоть и завидовали нам – все-таки экономия керосина, – но сами пока не хотели расставаться с керосиновыми лампами. Они просто побаивались этого новшества. Им, конечно, было привычнее возиться каждый день с керосиновыми лампами.

Потом мама провела в наш дом радио. Когда у нас в доме заговорил репродуктор, к нам в дом зачастили даже и те соседи, которые к нам почти никогда не заходили. В зале негде было сесть, и нашей соседке по дому, тете Сарре, приходилось выносить стулья из своей половины дома: неудобно держать соседей на ногах. Каждый вечер у нас собирались, как на праздник. Слушали и удивлялись:

– Как это слова из Москвы прилетают в наш зал? Даже в сказках ничего подобного не рассказывалось.

И каких только суждений тут не было. Сколько людей – столько мнений. Никто в этом радио ничего не понимал, и поэтому нам ничего не оставалось, как удивляться. Я, конечно, тоже места не находил из-за этого радио. Спал я на кухне на топчане, а черный репродуктор повесили в зале над диваном. Стал я просить маму, чтобы она разрешила мне спать на диване рядом с репродуктором. Мама возражала, говорила, что диван предназначен для гостей. Но я каждый день надоедал ей своей просьбой, и она в конце концов разрешила мне спать на диване бок о бок с репродуктором. Я был на седьмом небе от счастья.

Теперь радио говорило и пело мне прямо в ухо. И так каждый день до двенадцати часов ночи. А так как песни и музыку часто повторяли, то я в скором времени уже знал наизусть десятки песен и арий из опер и оперетт. Они стали сопровождать меня везде, куда бы я ни ходил. Вся душа моя была переполнена музыкой и песнями. Я постоянно жил в мире музыки. Я восторгался и турецким маршем Моцарта, и танцем маленьких лебедей Чайковского, и полонезом Огинского, и польками Шопена. Если на улице я про себя воссоздавал музыку и песни, то дома я их пел во весь голос, изо всех сил. И никто меня не ругал. А мама, смеясь, говорила соседям:

– Кто знает, может из него выйдет знаменитый певец, и он будет петь в театре, как герой романа Шелом-Алейхума "Блуждающие звезды".

Мама говорила, что она когда-то читала этот роман и обливалась слезами от жалости к героям. "Почему у певцов такая трагическая жизнь? – думал я, – ведь петь так приятно?" Мне очень нравилось пение Федора Шаляпина. Как я жалел, что у меня нет такого баса, как у него. Я бы тогда так же хорошо смог спеть и «Блоху» Мусоргского, и арию Фауста из оперы Гуно. Но зато у меня хорошо получались те песни и арии, которые пели артисты с более высокими голосами.

Так или иначе, но радио доставляло мне большое удовольствие. Я часто испытывал необыкновенное блаженство от его присутствия. Но прошли месяцы и годы, и я постепенно привык к нему, как привыкают ко всему новому, и вечером стал засыпать раньше, чем кончались передачи. Самым интересным было то, что репродуктор наш никогда не выключался. Как начинались радиопередачи рано утром, так и продолжались они до двенадцати, а то и до часу ночи. И никому они не мешали. Наоборот, когда бывали перерывы, то все спрашивали, почему радио молчит, не испортилось ли оно. Именно благодаря радио я был в курсе всех событий, которые происходили в нашей стране и за рубежом.

Вот каким был наш дом, в котором я жил и учился до призыва в Красную Армию.

## Глава четвертая

### Улица

Наш дом стоял на улице Либкнехта, но речь в этой главе пойдет не обо всей улице, а только о начальном ее отрезке: от казармы охранников моста до белой каменной церкви, или от переулка Клары Цеткин до Бобруйской улицы. Оглядываясь на далекое прошлое, я могу

утверждать, что наша улица оказалась довольно счастливой. Я имею ввиду, конечно, живших на ней людей. Счастье наших соседей я усматриваю в том, что большая часть их уцелела после последней опустошительной войны, уничтожившей почти весь наш городок, а нашу улицу – полностью. Из всех моих сверстников по нашей улице ни один не погиб. Разве это не счастье?

А теперь, продолжая свой рассказ, я начну издалека. В связи с тем, что я появился на свет в то время, когда умирал мой отец, мама считала, что я – как бы его продолжение на земле и поэтому уделяла мне особое внимание, по крайней мере, в первые годы жизни. С первых же лет мне постоянно внушали, чтобы я далеко от дома не уходил. И я целыми днями играл во дворе нашего дома.

Двор наш был огорожен забором только с улицы, но зато был совершенно открыт днепровским просторам. Каждый день перед моими глазами раскрывались картины необыкновенной красоты. Этот удивительный мир природы ежесекундно, ежечасно, ежедневно изменялся и беспрерывно обновлялся перед моими глазами новыми красками и новым обликом. Поэтому двор для меня был как бы наблюдательным пунктом, с которого я следил за всей этой изменчивой красотой. На таком дворе не могло быть скучно. И если бы даже меня не ограничили рамками двора, я все равно не нашел бы лучшего места для своего времяпрепровождения. Вы можете сами убедиться в этом, если встанете на высоком днепровском берегу и окинете взглядом заднепровские картины природы. Я тогда и не подозревал, что есть дворы, на которых кроме соседних домов ничего не видно. У меня и в мыслях даже не было, что есть дворики, как на дне колодца, где видны только высокие стены и высоко над ними – маленький кусочек неба. Тогда я был уверен, что у всех детей жизнь так же просторна и привольна, как у меня.

В то время Днепр не был таким тихим, как теперь. Он жил тогда полнокровной жизнью, как подобает настоящей большой реке. День и ночь по ней курсировали рейсовые пассажирские пароходы, баржи, соединенные по две и даже по три вместе. Кроме того, по реке плыли плоты с лесом, без конца шныряли моторные лодки, не говоря уж об обыкновенных лодках и «душегубках» жителей нашего городка.

Пароходы шумно шлепали по воде своими колесами, создавая на воде крупные волны, моторные лодки наполняли воздух стрекотом своих моторов, и только длинные плоты плыли тихо и степенно вниз по течению реки. Перед тем, как пройти под мостом, они останавливались у нашей дамбы и тщательно готовились к этому переходу. Представляете, какое разнообразие картин на одном только Днепре сменялись перед моим восторженным взором! Скучать было просто некогда, хотя я играл там чаще в одиночестве, чем вдвоем. На улицу я выходил тогда, когда там играли знакомые соседские мальчишки, а также когда на крыльце отдыхала мама, беседуя с соседками.

Улица у нас была тихая, хотя она и находилась рядом с главной улицей города Циммермановской. Начальный отрезок главной улицы до поворота на Бобруйскую улицу был мизерным отрезком большой магистрали Москва-Брест, и поэтому здесь было наиболее интенсивное движение транспорта. Однако, до нашей улицы этот шум почти не доходил. Мы, дети, могли часами играть на середине улицы в теплом сером песке, не опасаясь лошадей с повозками: они очень редко проезжали по нашей улице.

Единственный момент, когда мы прятались по дворам, освобождая улицу, был вечером при возвращении коров с пастбища. Тогда даже взрослые не решались стоять на улице. А когда проходил мимо громадный бык с острыми рогами и налитыми кровью глазами, то становилось страшновато даже за забором.

Однажды, собралась на середине улицы почти вся мальчишеская «мелкота». Мне тогда было три или четыре года. Расселись мы между домами Гольдбергов и Рубинчиков: я, Исаак Гольдберг, Лева Рубинчик и Борис Драпкин. В этом месте улицы песок был более глубоким. После жаркого дня было приятно в одних трусиках посидеть на горячем песке. Тепло, как на печке зимой. Сидим и перебираем ручками песок с места на места: кто горку насыпает,

кто песком ноги свои засыпает. Наслаждаемся теплом земли родной. Долго мы так играли, и никакой охоты не было встать и пойти домой.

И вдруг я увидел необыкновенную крупинку, излучавшую на солнце множество разноцветных лучей, которые переливались и играли по мере того, как я передвигал крупинку налево или направо. Это была удивительная крупинка. Я вдруг перепугался, что кто-нибудь может отобрать ее у меня. Особенно я опасался Исаака: он очень агрессивный мальчик. Но все мальчики спокойно пересыпали песок и даже не смотрели в мою сторону. В этот момент я очень пожалел, что в трусах не кармашка. Я сидел и думал, куда бы мне спрятать эту прелестную крупинку песка? Если я зажму ее в кулачек, все обязательно пристанут ко мне с вопросом: "Что у тебя в руке?" Это я знал точно: не первый раз. Куда же ее спрятать, чтоб никто не заметил и не спросил? И вдруг меня осенило – схватив двумя пальчиками эту песчинку, я быстро прячу ее в ухо. Никто моего движения не заметил. Я продолжал пересыпать ручками песок, как будто у меня ничего не случилось, а сам уже думал, как приду домой и буду играть с этой волшебной крупинкой.

Вот, наконец, Лева Рубинчик встает и, не отряхнувшись, бежит к своему крыльцу к маме. Потом поднимается Исаак. Он аккуратно счищает с ног песок и тоже уходит в свой дом. Потом, не сговариваясь, поднимаемся вместе я и Борис. У нашей калитки я сворачиваю во двор, а Борис убегает домой. Я закрываю калитку, сажусь около забора на зеленую травку и хочу достать свою находку.

Я нащупываю ее в ухе одним пальчиком, но второй пальчик не лезет в ухо, и я не могу ее взять. Тогда я решаю выкатить крупинку одним пальчиком, но она проскакивает еще дальше в ухо. Теперь я не могу ее даже нащупать. Я испугался такого оборота. А вдруг через ухо крупинка попадет в голову, и тогда пропадет голова. И притягательный интерес к этой изумительной крупинке песка был моментально вытеснен страхом за свою голову. Я вбежал в дом.

– Мама, – кричу я, – ко мне в ухо упал камешек!

Конечно же, я не говорю ей, что сам его туда засунул.

– Как же это случилось? – говорит мама спокойно и смотрит мне в ухо. – Вижу, – говорит она, – сейчас мы его достанем. Она сунула свой палец в мое ухо, но к большому ее сожалению, камешек углубился в ухо еще дальше.

– Что же это такое, – заволновалась она, – как же его вытащить?

Она открыла дверь в другую половину дома и позвала тетю Сарру. Тетя Сарра посмотрела в мое ухо и спокойно сказала:

– Его надо вести к врачу.

Тетя Сарра никогда не охает, но зато всегда дает мудрые советы. Мама хватается за меня на руки и бежит со мной на улицу – мы спешим в поликлинику. На улице начинает темнеть, а до поликлиники далеко. От волнения мама быстро устала. Она очень боится, что со мной может произойти несчастье, и поэтому так спешит.

У магазина канцелярских принадлежностей, не доходя до швейной артели, нам неожиданно повстречался младший брат мамы Ефрем. Потом мама будет всем рассказывать, что он встретился нам на ее счастье, иначе она бы не донесла меня до поликлиники.

– Куда ты так спешишь с ним? – спросил дядя Ефрем.

Мама очень обрадовалась встрече.

– Ефремушка, – говорит она просительно, – выручай меня. У Левушки камень в ухе застрял, и его нужно срочно показать врачу.

Дядя без лишних слов забрал меня у мамы и посадил к себе на шею. И пошел шагать своим широким шагом. Мама чуть ли не бегом поспевала за ним, да еще радовалась, что он так быстро идет. Сразу же после городского сада – большой квадратный дом, покрашенный в темно-зеленый цвет. Это наша поликлиника. Мы поднялись на высокое крыльцо и зашли

внутри. Там – большой зал ожидания, а вокруг зала – множество дверей в кабинеты врачей. В зале – ни одного человека. Проходившая мимо медсестра указала нам на дверь ушного врача.

Старенький врач с рефлектором на лбу долго искал у меня в ухе «камень», как сказал ему дядя Ефрем. Камня он не нашел, а нашел мелкую песчинку. Но у него не оказалось нужного инструмента, чтоб ее вытащить, и он посоветовал дяде пройти в больницу.

Когда мы вышли в зал, мама бросилась к нам с вопросом:

– Ну как? Вытащили?

– Нет, – спокойно ответил дядя, – нет у врача нужного инструмента.

– Что же это такое? – чуть не плачет мама. – Что же теперь делать?

– Ничего, – улыбается ей дядя, – сейчас пойдем в больницу. Там уж, наверно, найдут нужный инструмент.

На улице стало совсем темно. Дядя усадил меня опять на шею, и мы пошли в больницу. Мама всю дорогу переживала неудачу в поликлинике, а дядя успокаивал ее, да еще шутил. До больницы тоже путь не близкий. Она находилась на окраине городка в самом конце Циммермановской улицы. Надо было пройти мимо ресторана, почты, сапожной артели, райисполкома и длинного забора, за которым находились военные казармы кавалерийского полка.

Вот мы прошли полковой двор. На улице темно, хоть глаза выколи. Если в центре города на главной улице светили тусклые фонари, то здесь их не было и в помине. Мы перешли дорогу, которая вела на станцию, и через несколько минут оказались у больницы. Больница была новая: трехэтажная, отштукатуренная и побеленная известкой.

Дядя Ефрем рассказал нам однажды, как он чуть не упал с третьего этажа этой самой больницы. Подрядился он однажды покрыть известкой эту самую больницу. Работал он в люльке, которая крепилась за крышу. Пульверизаторов тогда не было, и целый день приходилось белить кистью. Вот дядя сидит в люльке и белит стену, и вдруг одна из веревок, державших люльку, лопнула и, если бы дядя не успел ухватиться за край опрокинутой люльки, он бы разбился об асфальт...

Все окна в больнице светились, и вокруг дома было светло. В больнице врач без особых усилий вынул злополучную крупинку песка и наказал мне, чтобы я никогда и ничего не прятал в ухо. Как он догадался, что я сам спрятал эту крупинку в ухо, я до сих пор не знаю.

На обратном пути дядя Ефрем купил мне шоколадку за то, как он сказал, что я держался у врача молодцом. В то время дела у дяди Ефрема шли хорошо и, как говорила мама, жизнь ему улыбалась...

Однажды я оказался свидетелем ссоры двух нищенок, которые постоянно ходили по нашей улице. Играя во дворе, я вдруг услышал крики на улице. Обычно на нашей улице – идеальная тишина по утрам, поэтому крики в этот утренний час удивили меня. Я подбежал к забору и заглянул в глазок, образовавшийся от вылетевшего сучка. На улице друг против друга стояли две нищенки: одна – худая, другая – толстая. Между ними шла интересная перебранка.

– Ты почему раньше времени вышла? – кричит тонкая.

– А тебе какое дело?

– Но мы же договорились о времени, чтобы не мешать друг другу!

– Иди ты со своим временем, – выругалась толстая, – когда захочу, тогда и буду ходить!

Тоже мне указчица нашлась!

– Не пушу! – подняла еще выше голос тонкая.

– Ты? – толстая смерила тонкую презрительным взглядом. – Да я тебя одним пальцем пополам сломаю!

– Сейчас ты у меня увидишь, кто кого сломает! – закричала тонкая и, выставив вперед руку с растопыренными пальцами, угрожающе надвинулась на толстую. У меня сердце сжалось от предчувствия взрослой драки. Но в это время к ним подошла высокая полная женщина и начала их стыдить:

– Как вам не стыдно! Из-за кусочка хлеба деретесь! Наверно, от жира беситесь! А еще больными притворяетесь!

– Не ваше дело! – огрызнулась толстая.

– А если не мое, – сказала им строго женщина, – так запомните раз и навсегда, чтобы ноги вашей у меня не было. Я всем расскажу про вашу болезнь! – добавила она и ушла от них.

– Договорилась, – сказала тонкая толстой, – бегемотиха несчастная! Последний кусок хлеба у меня отняла!

С тех пор я их на нашей улице больше не видел. Наверно, они сменили место своего нищенства.

По вечерам, когда мама бывала дома, она, управившись с домашними делами, выходила посидеть на нашем крыльце. И сразу же к ней присоединялись соседки. Начинался женский разговор, который мог длиться бесконечно. И откуда у них столько новостей? В это время я смело бегал по всей улице, гоняясь за воробьями. Когда мама сидит на крыльце, мне никто не страшен. Игра с воробьями – очень интересное занятие. Они, конечно, легко от меня улетаели, но недалеко, как будто приглашали меня опять ловить их. Я, конечно, не отказывался, потому что мои перебежки доставляли мне удовольствие.

Но вдруг воробьи поднялись всей стайкой и взлетели на край крыши противоположного дома и с высоты будто посмеиваются надо мной: попробуй, мол, достать нас здесь! Тогда я собрал несколько камней и стал их бросать в воробьев. Они разлетались, а затем опять садились на то же самое место, как будто дразнили меня. Тогда я собрал побольше камней и стал бросать их быстро один за другим, думая, что у воробьев не сработает реакция.

– Перестань бросать камни на крышу! – крикнула мама. – Окно разобьешь!

– Ну что ты, мама, – крикнул я ей, – я же дальше всех бросаю камни в речку!

Но тут же был посрамлен. Неудачно брошенный камень, вместо того, чтобы полететь на крышу, угодил прямо в верхнюю часть окна. Стекло разлетелось с треском, и осколки посыпались вниз на землю. Несколько мгновений я стоял и смотрел на разбитое окно, не веря глазам своим. Но вспомнив хозяйку этого дома, со всех ног бросился бежать домой. Сидящие на крыльце женщины то ли в шутку, то ли всерьез хотели меня задержать, но не тут-то было. Я как ветер проскользнул между рук и через кухню и зал пронесся прямо в спальню под широкую мамину кровать в самый дальний угол.

Мамы я не боялся, но очень боялся хозяйки этого дома. Ее все на улице звали Аксиньей, хотя была она немолода. Про нее соседи рассказывали очень интересную историю. Молодая Аксинья была очень красивая девушка. Именно поэтому богач Михеев взял ее к себе в горничные. Но новая горничная приглянулась и его сыну Владимиру. Владимир был настолько красив, что молодая горничная не устояла перед его ухаживаниями и в результате забеременела. Чтобы избежать неприятной огласки, старый Михеев, спасая свою честь и честь молодого Михеева, выдал Аксинью замуж за своего старого садовника, Ламерсона Карла Ивановича, латыша по происхождению и агронома по образованию. Так, рождение дочери у Аксиньи приобрело естественный и законный характер.

Они стали жить в этом доме по улице Церковной. Ей поручили должность экономки и стали звать Аксиньей Викторовой. Потом она родила вторую дочь и опять пошла молва, что и эта дочь родилась не без помощи молодого Михеева. Старый Михеев скоро умер. За ним последовал и садовник. А молодой Михеев после революции удрал за границу. И Аксинья с двумя дочерьми стала жить в этом доме. Дом этот был, наверно, самый красивый в городе, хоть и деревянный. Представьте себе большой дом на высоком фундаменте с большими окнами, окантованный шалевкой и покрашенный в зеленый цвет. Второй этаж был, вроде мезонина, в два раза меньше первого, а над вторым этажом – смотровая площадка под широким грибком. Не дом, а картинка!

Ко времени, когда я веду рассказ, дочери Аксины – Лена и Капа – были уже большие и где-то учились или даже работали, потому что приезжали к матери только в гости, да и то ненадолго. Только при дочерях дом оживал: оттуда были слышны песни, шум и смех. А когда они поднимались на смотровую площадку, то я им страшно завидовал. Но это было редкое явление. А так, целыми годами, тетя Аксины жила одна в этом большом доме. Одинокая жизнь тети Аксины сделали ее суровой и неприступной. Она ни с кем не водила дружбу, никого в дом не пускала. Только нашу соседку Сарру она выделяла из всех женщин на нашей улице и иногда бывала у нее дома. Все ее побаивались и сторонились.

Поэтому я с большой опаской входил в ее дом, когда мама посылала меня что-нибудь одолжить у нее. Переступлю порог с бьющимся сердцем, никого не видно, и вдруг она откуда-то кричит:

– От порога никуда не ходи! Что надо?

И я с дрожью в голосе отвечаю:

– Мама просила одолжить перца.

В просьбе она никогда не отказывала. Пока она ходила за перцем, я разглядывал чистенький коридор и лестницу наверх в мезонин. Как бы я хотел туда подняться и постоять на смотровой площадке. Оттуда, наверно, видно намного дальше и шире, чем с нашей горы. Я очень боялся хозяйки дома. Уж очень угрюмый и недоступный вид был у нее. Возможно, что она была недовольна своей одиноким жизнью. Вести такую жизнь очень неприятно.

Возможно, что она ненавидела бедноту на нашей улице. Утверждать не буду. Но когда она запирала на висячий замок свою калитку во дворе, то это означало, что она очень сердится на всю нашу улицу. Она ведь знала, что во дворе находится общий для всех колодец! И тем не менее, перекрывала вход во двор.

Так или иначе, но она была единственной женщиной на нашей улице, которая внушала мне страх. Вот поэтому я прижался к дальнему углу под кроватью. Мне казалось, что я теперь пропал, хотя и не знал, в чем это выразится. Я слышал на улице сердитый и грозный голос этой бывшей наперсницы богача. Она осуждала мою маму за то, что я плохо воспитан. А мамин голос был извиняющимся и виноватым. Маминих слов я не мог даже разобрать.

Через несколько минут мама вошла в зал, выдвинула нижний ящик в шкафу, что-то там взяла и вышла на улицу. И сразу там стало тихо. Потом мама вошла в спальню и стала меня звать, а я почему-то не отзывался. Каким-то недетским сознанием я чувствовал себя очень виноватым перед мамой, потому что я часто слышал, что у нас не хватает денег на жизнь. И вот из-за меня ненужные расходы. Мама наклонилась и заглянула под кровать.

– Вылезай, вылезай, дурачок, – сказала она ласково, – я ей уже уплатила за разбитое стекло, вылезай, не бойся.

Но я не посмел вылезти.

– Ну, как хочешь, – сказала она и ушла на улицу к ожидавшим ее соседкам. А я сидел под кроватью и беззлобно придумывал самые большие несчастья на голову этой Аксины. Ну почему бы не сгореть ее дому? Ведь у других дома горят. У нее самый красивый дом во всем городе, а она ходит вечно сердитая. Я очень жалел, что ее дом не конфисковали вместе со всеми домами богача Михеева. И почему ей оставили такой большой двухэтажный дом, когда она живет совершенно одна. Дочерей я не принимал во внимание, потому что они редко бывали у нее.

Весь вечер я просидел под кроватью. Пришла Соня и позвала меня. Потом встала на коленках Саша и долго смотрела на меня. А я все сидел и сидел, зажавшись в угол. Но вот в спальне стало совсем темно. А сидеть в темноте под кроватью совсем не весело. Тут я вспомнил про мышей. Они всегда по ночам вылезают из-под пола. И меня сразу же потянуло к людям. Я вышел в зал с опущенной головой. Я чувствовал себя очень виноватым...

В связи с этим случаем, я расскажу о судьбе других домов, конфискованных у богача Михеева. Дом в Первомайском переулке, где когда-то жила прислуга, отдали под квартиры: там теперь жили учителя. А главный дом Михеева передали детскому дому, и в нем жили дети, оставшиеся без родителей. Дом был большой и очень красивый. Если на улицу был один выход с высоким крыльцом, то во двор вели три выхода с красивыми пристройками, а также красивой верандой напротив сада. Этот богач был, наверно, со вкусом. Взрослые говорили, что белую каменную церковь, достопримечательность нашего города и, я бы сказал, замечательное произведение русского зодчества, Михеев построил на свои деньги. Недаром, когда он умер, его похоронили в церковном саду. Там стояла в одиночестве черная мраморная плита с бронзовой надписью.

Итак, дом Михеева отдали сиротам. После империалистической и гражданской войн сирот было много. Бессменным директором детдома был тогда всем известный Левин: человек очень энергичный и хозяйственный. Это был "рогачевский Макаренко". Он вырастил и вывел в люди не одну сотню бездомных ребят. Конечно, взрослые опасались такого соседства, а мы, дети, охотно дружили с ними. С детдомовцами учился в школе мой старший брат, а потом и я. Они были хорошие и дружные ребята. Куда бы они ни шли, они всегда были в компании. Приходили они и в наш дом. Брат мой им нравился, в чем я потом сам убедился.

Мама солила на зиму очень много огурцов в двух таких больших бочках, что я еле доставал поднятой рукой их верхний край. Как будто она знала, что эти огурцы понадобятся всей нашей улице. Она их покупала оптом по много мешков, и до засолки они занимали половину нашего коридора. Соседки только удивлялись, хотя зимой часто к нам наведывались за ними. Мама, улыбаясь, говорила им:

– Это самая дешевая и полезная пища! И потом, – добавляла она, – я ведь их солю не только для себя, а на всех.

Так вот, детдомовцы, которые приходили к брату, всегда угощались этими огурцами. Бочки стояли в коридоре, зимой рассол сверху замерзал, так они со смехом разбивали кулаками ледяную корку и уплетали огурцы за обе щеки. Огурцы им очень нравились, и они без конца их нахваливали. Брат разрешал им есть столько, сколько они захотят, а я почему-то боялся, что нам ничего не останется, и бегал к маме жаловаться.

– Пусть едят на здоровье, – говорила мама, – они ведь сироты.

– Я тоже сирота, – доказывал я свою правоту, – а они все огурцы поедят и мне ничего не останется.

– Глупенький, – смеялась мама, – во-первых, огурцов хватит на всех и для тебя, тем более, а во-вторых, ты один раз сирота, а они – трижды сироты.

– Как это трижды? – удивленно спрашивал я.

Я думал, что я самый первый сирота на нашей улице. И вдруг оказывается, что есть еще большие сироты, чем я.

– А вот так, – сказала мама, – если у ребенка нет отца, то такой ребенок – один раз сирота, если же у ребенка нет матери, то он – дважды сирота. А у детдомовцев нет ни отца, ни матери. Понял? Так я узнал, что я не такой уж сирота, как я сам о себе возомнил.

После маминого объяснения я тоже ходил во двор детдома и пробовал пригласить мальчиков покушать наших огурцов. Но они почему-то смотрели на меня с недоверием и убежали. А к брату – приходили.

Запомнился мне еще один случай из раннего детства. Опять та же обстановка: мама сидит на крыльце и разговаривает с соседками, а я бегаю по улице. Но скоро беготня мне надоела, и я стал внимательно рассматривать стены нашего дома. Дом наш, как и другие дома на нашей улице, был сложен из бревен, но в отличие от большинства, был сверху обит досочками, и имел довольно культурный вид. Так вот, многие досочки выгнулись и торчали вместе со ржавыми гвоздями.

Глядя на эти торчащие гвозди, мне вдруг захотелось удивить всех сидящих на крыльце женщин. Я решил, используя торчащие гвозди и дощечки, забраться по стене на крышу. Решил и полез, почти как альпинист. Вначале все шло хорошо. Я хватался ручками за верхние гвозди, а ножки ставил на нижние гвозди. Я был очень доволен своим подъемом, только жаль было, что женщины и мама не смотрели в мою сторону. "Но ничего, – думал я, – сейчас поднимусь еще выше, и меня сразу заметят".

Но когда я наклонил голову, чтобы определить, на какой следующий гвоздь поставить ножку, неожиданно в мой нос воткнулся гвоздь, и я от острой боли закричал на всю улицу. Подбежала мама и стала тянуть меня за ножки, чтобы снять меня со стены, но гвоздь в моем носу мешал, а я от боли еще сильнее кричу. Из моего носа хлыщет кровь прямо маме на руки, а она не знает, что предпринять, и кричит женщинам:

– Женщины, помогите! Позовите кого-нибудь из мужчин!

На зов женщин прибежал наш сосед, Ефим Драпкин, высокий здоровый мужчина. Он сразу понял в чем дело и, осторожно приподняв меня, снял меня со стены и поставил на землю. Вся рубашка у меня в крови, а из носа кровь так и льется. Мама подхватила меня на руки и побежала со мной в дом. Она положила меня на диван и долго прикладывала к носу смоченные в холодной воде тряпочки, а рядом стояли все соседки и давали маме советы.

Этот случай будет напоминать о себе в течение всей моей жизни...

Я уже рассказывал в предыдущей главе, что базары у нас бывали очень шумные и многолюдные, и что мы с братом бегали на базар ради зрелища. Вот и в этот раз мы отправились с братом на базар. Он держит меня за руку, а я почти бегом с трудом успеваю за его быстрыми шагами. Только мы пересекли наискось складскую площадь, как я увидел впереди себя лежащий на земле кошелек. Я рванулся от брата, чтобы поднять его, но брат крикнул: "Не трогай!" – и, крепко держа меня за руку, увлек в сторону от этого кошелька. Дойдя до угла Советской и Северо-Донецкой улиц, он сказал мне:

– Посмотри в противоположный угол. Видишь трех парней?

– Вижу, – говорю я.

– Это они нарочно подбросили пустой кошелек и ждут, когда кто-нибудь поднимет его. Как только это произойдет, они подойдут и будут кричать, что это их кошелек, и потребуют деньги, которые будто бы лежали в кошельке.

О таком вероломстве я еще никогда не слышал. Этот случай меня просто ошеломил и остался в памяти на всю жизнь. После этого случая я никогда не решался поднимать кем-то утерянные деньги, хотя они, как нарочно, попадались мне довольно часто. Каждый раз, как увижу под ногами тройку, пятерку или даже десятку, у меня сразу всплывали в памяти те трое парней, ожидающие за углом падкого на находки человека, чтобы обманным путем обокрасть его.

Я уже рассказывал, что очень много времени я проводил на Днепре. Вы можете подумать: что тут особенного, если человек живет на берегу Днепра. Но не спешите с этим утверждением. Ведь на Днепре жили все мальчишки с нашей улицы, а на берегу Днепра они бывали редко. О чем это говорит? Это говорит о том, что он их не привлекал, в то время как я был от него в восторге. Я даже не мог представить, как бы я жил без Днепра, без его чистой прохладной воды, без его обросших кустарником берегов, без белых пароходов и быстроходных катеров, без высоких барж и сидящих почти в воде плотов с соломенными шалашами и кострами около них.

Но что особенно и больше всего меня привлекало – это лодки. Лодки были моей самой большой страстью на Днепре. В любой погожий день я мог часами сидеть на берегу Днепра около лодок, чтобы с появлением хозяина попросить лодку хотя бы на самое короткое время. Просить лодку, чтобы покататься, можно было только у наших соседей, потому что незнакомые владельцы лодок все равно откажут. А лодки были на нашей улице только у Ивановых и у

Клещевых. У Ивановых разрешал мне брать лодку младший из братьев – Сашка. Зато старший брат отнимал ее. Появится вдруг над горой и кричит:

– А ну, поставь лодку на место!

И по этому крику я уже чувствовал, что никакие ссылки на Сашку не помогут, и я причаливал к берегу. У Клещевых разрешал мне брать лодку тоже младший из братьев – Семен, а иногда и Федя. Тут уж поездка на лодке была для меня более основательной и спокойной, хоть целый день катайся. Они только предупреждали, чтоб я далеко от берега не уплывал.

Маленьким я и сам боялся далеко ехать, тем более что управлял я лодкой какой-нибудь дощечкой или даже палкой. Весло мне тогда еще не доверяли. Но уже лет семи-восьми я смело бороздил воды Днепра вдоль и поперек. В это время Сенька разрешал мне брать вместе с лодкой и рулевое весло. Этого мне было достаточно, чтобы отправиться в «далекое» путешествие. Вниз по течению плыть было некуда. Там стоял мост через Днепр, а чтобы проехать под ним, нужно было иметь специальное разрешение. Эти разрешения, конечно же, были не для детей.

Я отправлялся вверх по реке к таинственному Старику – это небольшое озеро, стекающее в Днепр. О нем шли разные разговоры. То ли это было старое русло реки, то ли один из рукавов Днепра, то ли обыкновенное озерцо. Вода в нем была всегда холодная, как лед. Это подтверждало мнение, что на дне этого озера бьют из-под земли холодные ключи. Возможно, что это озеро образовалось именно благодаря ключам. Вход в Старик со стороны Днепра был мелким, мне по грудь, но проехать туда было довольно сложно из-за сильного встречного течения, что было мне не под силу.

Но я нашел выход. Вначале я переезжал на ту сторону реки и там поднимался вверх против течения вдоль обрывистого берега, подталкивая лодку так, чтобы она не отошла носом от берега. Иначе сильное течение развернет лодку в обратную сторону и понесет вниз. Надо было быть очень осторожным. Достигнув входа в Старик, я вылезал на берег и тянул лодку за цепь. Пройдя горловину, я опять садился в лодку и спокойно отдыхал. Вода здесь была почти стоячая, и не надо было опасаться, что тебя куда-нибудь снесет.

В окруженном лозняком Старице царил тишина и благодать. Как будто я очутился в заколдованном месте. На поверхности воды плавали большие и маленькие желто-зеленые и бурые листья, круглые и остроносые, а среди них – желтые и ярко-белые цветы. Их называли по-разному: кто чашечками и лилиями, а кто кубышками и кувшинками. В тихую погоду, когда вода не нарушается рябью, вода здесь настолько прозрачная, что с лодки видны простирающиеся до самого дна двухметровые стебли листьев и цветов, будто лианы свисают в тропическом лесу. Мелкие рыбки шныряют между ними, совершенно не нарушая спокойствия воды, как в аквариуме.

Сколько бы раз я сюда ни приезжал, меня каждый раз охватывало необъяснимое блаженство от этого уголка покоя и красоты. Только один раз я был разочарован, посетив этот чудный уголок. В один из тихих вечеров, когда воды Днепра блестят как зеркало, и река кажется совершенно неподвижной, я надумал съездить в Старик за белыми кувшинками.

Когда я забрался, наконец, в этот залив, то был очень недоволен тем, что не увидел ни одного белого цветка на поверхности воды. "Кто-то побывал здесь до меня, – подумал я, – и слишком жадно очистил от цветов весь залив". С досады я сорвал один нераспустившийся цветок как доказательство того, что я здесь был. Пришлось возвращаться домой ни с чем. Но как я был удивлен, когда дома мне объяснили, что белые цветы на ночь закрываются. Подумать только! Какое чудо: ночью цветы спят под водой, а с восходом солнца – пробуждаются и выходят над поверхностью воды. После этого я уже не мог их больше рвать. Теперь, когда я бывал в этом уголке, я просто любовался их приятной и спокойной красотой.

В один прекрасный летний день я решил отправиться в более длительное путешествие. Когда я смотрел с нашей горы на заднепровский луг, особенно весной и осенью, когда луг освобождался от высокой травы, то видел верхушки обрывистых берегов, извиристо уходящих

до самого леса. Это русло небольшого притока Днепра Комаринки. Говорили, что начинается он где-то в лесу и несет свои прохладные воды на протяжении всего нескольких километров. Впадает он в Днепр у самого моста, образуя широкое полукруглое устье большой глубины. Издали Комаринка казалась таинственной речушкой, и я мечтал посмотреть ее путь вблизи. В ее устье я много раз бывал на лодке, а подняться вверх по ее течению опасался. И опасался я не за себя, а за чужую лодку: вдруг кто-нибудь отберет ее у меня. Много раз я звал с собой моего соседа Бориса Драпкина, но он почему-то все время отказывался ехать туда, хотя был на несколько лет старше меня. А мне шел тогда восьмой год. Конечно, одному боязно пускаться в такую даль, но любопытство все же взяло верх над разумом.

Лодку я выпросил у Сеньки Клетецкого. Можно сказать, что лодку я заработал. Я помог Сеньке посадить новое дерево на дамбе вместо старого срезанного. Помощь моя была, конечно, пустяковая, но за нее Сенька охотно разрешил мне взять лодку и дал рулевое весло. Это был удобный момент, чтобы осуществить мою мечту. Я набрался храбрости и поехал один на эту Комаринку. Попасть в устье Комаринки было не просто. Два сильных течения Днепра и Комаринки могут унести лодку сразу под мост, поэтому необходимо завернуть лодку в устье Комаринки у самого берега и проехать по ее правой стороне до того места, где ширина Комаринки всего семь-восемь метров, а глубина чуть больше метра. Начиная с этого места можно уже не беспокоиться, что лодку унесет к мосту. Здесь я не столько гребу, сколько толкаюсь веслом в дно Комаринки, и лодка легко идет против течения. Через полсотни метров я подъехал под маленький перекидной мостик.

С этим мостиком каждый год одна и та же канитель. Во время весеннего наводнения мостик каждый раз уносит полая вода. А летом, когда начинается сенокос, мостик приходится строить заново, иначе подводки с сеном не попадут на большой мост через Днепр.

Чем выше я поднимаюсь по Комаринке, тем мельче она становится. В некоторых местах эта речушка превращается в обыкновенный ручей, и лодку приходится тянуть за цепь. Но зато этот ручей прорыл себе довольно глубокое ложе. Близкие глинистые берега поднялись по обе стороны на два-три метра. Отсюда мне не видно, что творится наверху. Время от времени я поднимаюсь на берег, чтобы осмотреться и определить, далеко ли я уже отъехал от города. И каждый раз оказывается, что я еще очень мало проехал. Дело в том, что эта Комаринка течет не прямо, а зигзагами: без конца повороты и повороты. Иногда за поворотом русло расширяется, образуя круглое небольшое озеро с такой глубиной, что весло не достает до дна.

На одном из таких поворотов, где-то на середине пути к лесу, я вдруг увидел сидящего на берегу с удочкой рыбака, молодого парня, одетого в старую фуфайку и в потертой кепке на голове. Вот тут-то я и пожалел, что поехал один. Сейчас раскричится, что я ему всю рыбу распугал и, чего доброго, может лодку отобрать. Повернуть лодку и удирать здесь невозможно, и я поневоле продолжал плыть навстречу неприятностям.

Но когда я подъехал поближе, то от неожиданности не поверил своим глазам: на берегу сидел мой старший брат Лазарь. Он у нас заядлый рыбак. Удивительно, но это так: при всей своей деятельной натуре он мог по много часов сидеть неподвижно и следить за поплавком на воде. Вот и теперь он так увлечен, что даже не смотрит на того, кто сидит в лодке. Но когда я чуть не наехал на его поплавок, он, наконец, посмотрел на меня и тоже очень удивился. Первый его вопрос был:

– Кто тебе дал лодку? Он знал, что иногда я беру лодку и без спроса, и осуждал меня за это.

– Сенька, – сказал я.

– А куда ты едешь? – Хочу посмотреть, где начинается Комаринка? – ответил я.

– Можешь возвращаться домой, – сказал он убежденно, – дальше не проедешь.

– Почему? – А дальше дно почти пересохло.

– Попробовать все-таки надо, – говорю я ему и спрашиваю, – много рыбы наловил?

Он достает из воды кукан, на котором нанизаны два десятка мелких уклек. Когда мама бывает дома, она охотно жарит их, но если ее нет, то весь улов идет на обед кошке, потому что до вечера они все равно испортятся. Несколько раз брат и меня брал на рыбалку, но я не мог долго сидеть у реки и наблюдать за поплавком. Это было очень унылое занятие. Однако брату оно нравилось. Нет, не ради рыбы ходил он на рыбалку, а ради самого процесса ловли рыбы. Он говорил, что на рыбалке он приятно отдыхает.

Я предложил ему поехать со мной, но он отказался. Пришлось опять одному плыть дальше. Предупреждение брата скоро оправдалось – лодка прочно села на мель. Скорее всего, что на этом месте я бы повернул домой, но после встречи с братом это было просто невозможно. Его присутствие поблизости придало мне силы и упорства, и я стал рывками тянуть лодку. С трудом лодка сантиметр за сантиметром продвигалась вперед. В конце концов я достиг благоприятной для лодки глубины и смог продолжать свой путь, уже сидя в лодке. Я гордился сам собой, ведь я преодолел непроходимое место вопреки предсказанию старшего брата. Даже петь захотелось.

Но торжество мое оказалось преждевременным: через два поворота лодка опять уперлась в мель. Пришлось опять вылезти из лодки и опять рывками тащить ее через этот мелкий ручей. Я уже стал жалеть, что не послушался брата, и заодно сердился на него за то, что он отказался поехать со мной. Вдвоем было бы гораздо легче. Но брат никогда не принимал меня всерьез, считая чуть ли не младенцем. Поэтому он не мог пойти на поводу у моих желаний.

Время покажет, что он был отчасти прав. Он настолько серьезно относился к жизни, что всегда казался намного старше своих лет. А про меня такое нельзя было сказать.

Я так утомился с перетаскиванием лодки, что решил отдохнуть и заодно посмотреть, где я нахожусь. Я вскарабкался на отвесный берег и осмотрелся. Впереди за лозняком совсем близко стояли старые дубы, которые хорошо были видны с нашей горы. Рядом проходило шоссе, которое делало здесь резкий поворот налево, уходя за дубовую рощу. Вокруг было тихо. По шоссе у самого поворота ехал крестьянин, а в сторону города шли две женщины с плетеными корзинами. Спускаясь к мелкому ручью, я опять подумал, не повернуть ли мне обратно? Но там сидел брат, а я хотел доказать ему, что я тоже на что-то способен, и поэтому без сожаления потащил лодку вверх по Комаринке.

В одном месте лодка так застряла, что я не мог сдвинуть ее с места. Я уже подумал, что надо найти палку и подталкивать лодку с помощью рычага. Весло для этого я боялся использовать, чтобы не сломать его. Но тут меня осенила счастливая догадка. По середине ручья, шириной сантиметров тридцать, было глубже. Вот я и подумал, что если один борт лодки немного приподнять, то противоположный нижний угол лодки будет скользить по этой более глубокой канавке. Я попробовал так делать, и продвижение лодки пошло веселей.

А когда я после очередного поворота Комаринки увидел широкий водный простор, у меня от радости сердце заплясало. Как я был доволен, что не повернул с полпути. Я давно мечтал увидеть такую Комаринку. Я ведь знал, что здесь у дубовой рощи Комаринка похожа на настоящую речку шириной более сорока метров. Эта водная гладь с нашей горы совершенно не была видна, но я догадывался о ее существовании. Я был в восторге, что добрался сюда.

Я тут же забыл о всех своих мытарствах. Этот многоводный участок Комаринки скрывался от прохожих на шоссе за дубовой рощей и высоким кустарником на берегах. Вода здесь, наверно, была отстойной, потому что у берегов росли, как и на Старике, белые кувшинки и круглые большие листья с зелено-коричневым оттенком. Я заскользил на лодке по этой водной глади, оглядывая будто вновь открытую Комаринку и заросшие лозой ее берега. Так я доехал до последнего моста на шоссе. Здесь Комаринка раздваивалась: один водный рукав уходил под мост, за которым виднелся лес, а второй – уходил на луга, где паслось стадо коров.

Я повернул обратно: все-таки одному не очень приятно путешествовать. На обратном пути пришлось опять повозиться с лодкой на слишком мелких местах. Но теперь я уже знал,

как облегчить эту работу, да и течение теперь помогало мне: я почти не греб веслом, а только рулил. Брата не оказалось на старом месте, а мне так хотелось похвастаться тем, что я все же достиг полноводной Комаринки около леса. "В следующий раз, – думал я, – надо ехать обязательно вдвоем или даже втроем и тогда можно будет доплыть до самого истока Комаринки". Лодка по течению шла легко и быстро. Вскоре я достиг Днепра, пересек его, поставил лодку на свое место, отнес Клетецким весло и побежал домой.

У меня внутри все ликовало от восторга, как будто я совершил что-то необыкновенное. Пусть моя цель не была достигнута до конца, но я все-таки побывал на этой таинственной Комаринке и много узнал и увидел. Теперь, глядя с нашей горы на зигзагообразный путь Комаринки, я уже не буду гадать, что там и как там: я точно знаю, что перед хорошо видимой дубовой рощей плещется настоящая, широкая речка Комаринка, вытекающая из леса и луга. Но где все-таки исток нашей Комаринки? Эта загадка осталась пока не решенной...

Можно смело утверждать, что наша улица была самой активной в нашем районе в деле организации мальчишеских игр. Ни один погожий день не обходился у нас без какой-нибудь игры. К нам сходились мальчишки со всех соседних улиц: Советской, Урицкой, Бобруйской и Циммермановской. Игры были разные, и каждая игра затевалась в определенное время года. Никакого календаря игр, конечно, не существовало. Все происходило стихийно, но удивительно своевременно. Инициатива всегда принадлежала нам, мальчишкам с нашей улицы. А было нас восемь человек, как раз столько, чтобы начать любую игру: будь то городки, футбол, «пикер», "старшая матка" или лапта, не считая прочих, более мелких игр. У нас был удобный отрезок улицы между длинным детдомовским садом и огородом Клетецких. Главное – окон здесь не было. Если мяч попадал в сад, то у нас там был лаз, и мы смело пролезали туда за мячом. Сад никто не охранял, но все равно никто туда не лазил за яблоками, потому что этот сад был детдомовским, для детей-сирот. Если же мяч попадал в огород к Клетецким, то мы спрашивали разрешения достать его у бабушки Анели, матери многочисленного семейства Клетецких. Лазать к ним было абсолютно невозможно. Двор охраняла большая черная собака Альма, страшно злющая. А бабушка никогда не отказывала нам. Даже когда однажды от сильного удара мячик залетел к ним во двор и разбил стекло в окне, она вернула его нам и не ругала, как другие. Стоило нам начать игру, как тут же к нам сбегались мальчишки с соседних улиц. Наверно, наши звонкие голоса были слышны далеко вокруг. Игры обычно продолжались до темноты, до десятого пота.

Я хотел бы рассказать о самой интересной массовой игре. Это была игра в "красные и белые". Она из года в год затевалась в начале весны, когда снег уже весь сошел, и земля достаточно подсохла, но половодье еще в самом разгаре. А это значит, что льда на реке нет. В воде стоит даже дальний лес. Одно только шоссе возвышается среди грозного и холодного водяного простора. Во время весеннего разлива вода плещется у самой горы, а на дамбе можно гулять только по верхней пешеходной дорожке.

В день игры малыши распространяют по всем классам радостную весть: сегодня после уроков общий сбор на днепровской горе – это как раз рядом с нашим домом, – на игру "красные и белые". Героическая романтика гражданской войны будоражит наши сердца. Ни один мальчишка не устоит перед этой игрой. Если даже не играть, так хотя бы посмотреть, как играют другие. Тем более, что днепровская гора совсем рядом, метров сто. Пройти через Первомайский переулок, и ты – на этой горе.

После уроков все стремглав бросаются домой, чтобы оставить там учебники и прихватить свое оружие. Затем все бегут на нашу улицу. Я тоже вскидываю за спину винтовку, которую сам вырезал из дощечки, и вешаю через плечо самодельную саблю. Дырочки в сабле и винтовке просверлил мне кузнец Борис Славин, который живет на этой же горе. Когда я – при оружии, мне кажется, что я похож на буденновца, только что не по форме одет. Двухсерийный фильм про конницу Буденного, который назывался «Укразия», и фильм про красных дьяволят я уже

смотрел. И хотя сборы тут же за нашим забором, мне ни минуты не сидится дома. Настроение такое, что хоть сразу в бой. Естественно, на горе я оказываюсь первым и всех прибывающих оцениваю по их оружию. Завидую тем, у кого револьверы и винтовки куплены в магазине, они похожи на настоящее оружие.

Пока нет наших главных вожаков, все любят на половодье. Ведь вода плещется у самой горы. Там же прикреплены все лодки. На много километров впереди, справа и слева вода, вода, вода. На эту водную ширь можно смотреть часами и без конца удивляться красоте и могуществу природы. Слева от нашей горы виден небольшой остров, заросший лозняком. Это самое высокое место песчаной косы. При половодье Днепр действительно кажется широким и могучим. Все мальчишки смотрят на него, как зачарованные.

Но вот приходят наши вожаки, и с ними полно парней из старших классов. Наши вожаки – братья Нафтолины: Миша и Иосиф. Они самые сильные во всей нашей школе, и поэтому они всегда у нас за командиров. Начинается долгий спор, кому быть красными, а кому – белыми. В этом споре всегда побеждают малыши. Они наотрез отказываются быть белыми. И сколько Иосиф, командир старших ребят, не доказывает, что они уже дважды были белыми, малыши все равно настаивают на своем. Иначе они не играют. И старшекласникам приходится им уступать и в этот раз: не расстраивать же игру.

Итак, мы – красные, и наш командир – Миша Нафтолин. Он сильно выделяется среди нас. Он рослый и очень сильный. Даже когда весь класс держит его за руки и за ноги, он легко высвобождается. Мы все восторгаемся им, как достопримечательностью класса. Брат его наоборот низкорослый, но широкоплечий и тоже самый сильный среди старшекласников. Команды определены. Теперь обе стороны договариваются о границах площади действий.

Игра состоит в том, что белые прячутся, а красные должны их выследить и пленить, поэтому границы на местности должны быть точно определены, иначе белые уведут свой отряд в другую часть города, и тогда нам их и за неделю не найти. Обычные границы этой игры – река, гора и наша улица. Были случаи, когда мы не находили белых. Тогда, при наступлении темноты, белые сами выходили из своих тайников и срамили нас на весь белый свет и даже в школе. Договаривались также о неприменении силы против малышей. Если малыш кого-нибудь выследил и поймал, то белые должны подчиниться и сдаться в плен. Случались потасовки. Тогда все решал командир. Белые уходят прятаться и просят нас не подглядывать за ними, пока они не спрячутся.

Игра начинается. Миша Нафтолин назначает разведчиков. Разведчиками хотят быть все. Но Миша выбирает самых шустрых. Они уходят с заданием найти, где притаились белые. Одни уходят под гору, другие – вдоль верхней кромки горы, третьи идут по улице, заглядывая во дворы наших соседей. Я мчусь по козьим тропкам среди прошлогоднего чертополоха по почти отвесной горе, всматриваясь в черноту каждой ямы, где жители копают глину или желтый песок. Все ямы оказались пустыми. Один за другим возвращаются разведчики и докладывают командиру, что белых нигде нет. Но вот возвращается с радостной вестью Аврам Гольдин. Он в нашем классе самый маленький по росту, но самый лучший по учебе. Еще издали он кричит: "Нашел! Нашел!". А подбежав к Мише Нафтолину, рассказывает, как он случайно заметил, что в кустах на островке кто-то шевелится.

– Наверно, они там, – говорит он возбужденно, – пойдем все посмотрим.

Миша с ним соглашается, и мы всем отрядом спускаемся к Днепру, поворачиваем налево и у самой пяты горы идем рядом с холодной и полой водой. Напротив островка мы останавливаемся. Нам ничего не видно там, хотя кусты лозы без листьев просматриваются насквозь. Не верится, что белые забрались на этот островок, переплыв метров сорок водного пространства.

– Ты точно видел, что там кто-то шевелился? – спрашивает Миша маленького Аврама Гольдина.

– Точно, – отвечает Аврам и напряженно всматривается в кустарник пустынного острова. Через несколько минут с горы донеслись ликующие крики:

– Там они! Хорошо видно! Все лежат в ямках.

Возбуждение «красных» достигло предела. Раз белые обнаружены, то пленить их не так уж и трудно. Многие закричали белым:

– Вылезайте, мы вас нашли!

– Нечего прятаться! Мы видим вас!

– Вы обнаружены!

– Не притворяйтесь!

Но на острове царил абсолютная тишина, и он казался совершенно безлюдным.

– Они хотят, чтобы мы переехали к ним, – говорит Аба Нехамкин, светлолицый паренек с умными, немного выпуклыми глазами. Он тоже учится в нашем классе. Его предложение всем понравилось, и мы с готовностью поддержали его:

– Правильно!

– Переедем!

– Сразу всех белых захватим!

И тогда Миша приказывает нескольким мальчишкам найти лодку. Летом здесь полно лодок, а сейчас, как нарочно, ни одной. Лодки под нашей горой все на замках. Но вот чей-то зоркий взгляд обнаружил в небольшом углублении подножия горы плоскодонку, скрытую под прошлогодней травой. Ее немедленно совместными усилиями спустили к воде. Кто-то нашел дощечку, и лодку подогнали к нашей стоянке. Кто-то предусмотрел и притащил консервную банку на случай, если придется вычерпывать воду.

Переехать на островок захотелось почти всем. На корму с дощечкой сел Миша, а за ним бросились все сразу, но не всем хватило места на скамейках. Вместо двух, на скамейках уселось по четыре человека. В тесноте, да не в обиде. Сидящие счастливо улыбались, глядя на оставшихся на берегу сочувствующими взглядами. Несколько мальчишек остались стоять в лодке: пусть стоя, лишь бы поехать на островок. Я тоже хотел переехать на островок, но перегруженность лодки меня остановила. Плавать я не умел, а вода в реке была не летняя. От одного взгляда на эту мутную, черную воду холодок проникал во внутрь. Нет, я не решился лезть в лодку, хотя Миша и позвал меня. Лодка и так сидела слишком глубоко в воде.

Когда мы, оставшиеся на берегу, оттолкнули лодку от берега, то сразу выяснилось, что мальчишки расселись в лодке неравномерно. Корма была приподнята, а нос вот-вот зачерпнет воду. Миша не решился в таком виде плыть. Он придержал движение лодки метрах в пяти от берега и, предупредив всех, чтоб сидели тихо, не шевелясь, попросил Абу Нехамкина осторожно передвинуться на корму, чтобы нос лодки приподнялся. Но Аба сделал это не лучшим образом. Вместо того, чтобы медленно пройти между сидящими на корму, где сидел Миша, он встал одной ногой на борт лодки и, опершись рукой на плечо Арона Биндера, быстро перешагнул к Мише. Но этого движения оказалось достаточно, чтобы лодка зачерпнула бортом воду. Сидящие у этого борта Арон Биндер и Аврам Гольдин невольно шарахнулись в противоположную сторону и тем самым накренили лодку в другую сторону. В результате вода хлынула через борт, да так что выровнять лодку и остановить поток воды так и не удалось. Лодка стала быстро наполняться водой и медленно погружаться в воду. Все сидящие повскакивали, лица у них вытянулись от страха, глаза округлились.

– Мама! – закричал маленький Аврам Гольдин.

– Ругайте! – закричал Аба Нехамкин истошным голосом.

– Ой, я не могу плавать! – закричал какой-то мальчик и заплакал в голос. Заныли и другие ребята. Один только Миша Нафтолин стоял молча и смотрел презрительно на своих подчиненных. Мы, оставшиеся на берегу, сначала посмеивались над испуганными лицами ребят, но когда лодка скрылась под водой и наши товарищи стали медленно погружаться в воду, до

нас вдруг дошла трагичность их положения, и наше веселое настроение сменилось испугом за их судьбу. Но броситься в воду им на помощь никто из нас не решился. Страшно было лезть в воду, когда ты знаешь, что вода ледяная. Ее черный цвет создавал впечатление, что она очень глубокая.

Белые, прятавшиеся на островке, вышли из кустов и смотрели на красных, терпевших кораблекрушение. Несколько парней из белых стали вытаскивать из-за кустов лодку, спеша на помощь утопающим. Я смотрел на утопающих со страхом и жалостью. Я думал, что вижу их в последний раз. Вот вода уже по грудь маленькому Авраму Гольдину. Из его глаз текут слезы, как и у многих других. Они все, кроме Миши Нафтолина, зывают о помощи, но взрослых около нас нет, и их призыв о помощи является гласом вопиющего в пустыне. О, как мне было жалко их. Даже теперь, через много лет, представляя картину погружения их в реку, сердце мое сжимается от боли. А тогда... произошло просто чудо. Погружение вдруг прекратилось. От неожиданности все кричащие и плачущие на мгновение замолчали. А еще через секунду, когда до них дошло, что здесь мелко, все, толкаясь, бросились к берегу. И только рослый Миша Нафтолин не бросился к берегу. Он продвинулся к стоящим по горло в воде Авраму Гольдину и Арону Биндеру и, подняв их, вынес на берег.

На берегу все неожиданно развеселились. К этому времени к берегу подъехали и белые. Больше всех веселились сами утопающие. Они, мокрые с головы до ног, передразнивали друг друга теми голосами, которыми они зывали о помощи. Особенно досталось маленькому Авраму Гольдину за его плачущие жалобные крики: "Мама!" – и Абе Нехамкину за его истошный вопль: "Ратуйте!" Но веселье на всех напало не только из-за жалобных криков о помощи. Все радовались и веселились больше от того, что все хорошо кончилось, что все наши товарищи и друзья, хоть и пережили большой испуг, но остались живы и здоровы.

Наш командир Миша Нафтолин был не только самым сильным в нашем классе, но и самым серьезным среди нас. Он прекратил наше общее веселье, хотя оно и было как бы разрядкой предшествующих трагических событий, и приказал всем мокрым немедленно бежать домой сушиться. Затем он снял свои брюки и вместе с братом выкрутил их насухо. Потом мы долго еще сидели на берегу и вспоминали подробности этого происшествия. А виновница этой трагедии стояла около берега, доверху наполненная водой, как напоминание о том, что с водой шутки плохи. Хорошо, что все это случилось около берега. Шутить с Днестром нельзя! Самые неосторожные получают от него высшую меру наказания!

На следующий день вся школа гудела, как потревоженный улей. Ребята, побывавшие в холодной днестровской воде, не явились в школу. Один только Миша пришел. Его и старшего брата Иосифа зывали к директору. Что им там говорили, он нам так и не рассказал. Но постепенно страсти утихли. Игра есть игра. Никто не может предсказать, как она иногда может кончиться. Все бывает. А без игры детям жить невозможно.

Однажды игра в футбол оставила мне метку на всю жизнь. Главным зачинщиком игры в футбол был у нас Янка Кучер. Он жил не на нашей улице, а на Циммермановской, но играть приходил всегда к нам. Это был круглолицый и очень активный паренек. Отца у него тоже не было. Но он был у мамы один, и она, очевидно, ни в чем ему не отказывала. В футбол мы играли с обыкновенным красно-синим мячом.

Но один раз Янка Кучер прибежал к нам весь сияющий. В руках он держал настоящий футбольный мяч, а на ногах его красовались новенькие бутсы. Уже с первых его ударов стало ясно, что играть в бутсах и с таким мячом на улице слишком опасно для окон. И мы решили поиграть на лугу за Днестром. Переехали на ту сторону и стали играть в одни ворота, так как футболистов на две команды не хватало. Янка носился в своих бутсах по лугу как ветер. Он был среди нападающих. После того, как он подбил одного защитника, все хотели отказаться от игры: условия игры были явно в его пользу. Он – в бутсах, а мы все – босые. Но Янка очень хотел играть, поэтому он пообещал играть очень осторожно. Однако, осторожноничал он

недолго. В пылу борьбы за мяч он подбил еще одного защитника, а третий сам благоразумно вышел из игры. Тогда Янка стал дразнить нас, что мы трусы:

– Подумаешь, – говорил он нам насмешливо, – чуть-чуть зацепил, и уже перепугались.

Это было самое обидное обвинение. Хорошо ему быть храбрым в бутсах против босых. Но Янка был вообще храбрым мальчиком. Однажды, во время пожара, когда горел дом рядом с домом, где жил Янка, он залез на крышу своего дома и, держа в руке ведро с водой, бегал по крыше и заливал каждый уголок, попадавший на крышу. Можно сказать смело, что он спас тогда свой дом от огня, потому что у нас были случаи, когда от горящего дома загорались и соседние дома.

Однако, его обвинение задело наши детские души. Мы решили продолжать игру. Только подбитые мальчишки напросились играть в нападение, рядом с Янкой. А я вынужден был играть в защите. Янка играл самозабвенно: смело и напористо. Остановить его с этими новыми бутсами было даже страшновато, когда он летел с мячом к воротам. Но я все-таки бросался навстречу, защищая ворота. Несколько раз я удачно отбивал мяч у него из-под ног, и он недовольный возвращался за мячом, чтобы все начать сначала. А у меня с каждым удачным ударом росла уверенность в ловкости своей игры, и я тоже стал смело бросаться на мяч.

И вот в момент борьбы за мяч Янка, промахнувшись бутсами по мячу, нанес ими такой удар по моему большому пальцу на ноге, что у меня от адской боли потемнело в глазах. Все побежали за отлетевшим мячом, а я, сжав зубы, чтобы не закричать от боли, заковылял к берегу. Палец весь распух, принял темно-красную окраску и был похож на вареного рака.

Я сел в лодку, на которой мы приплыли, и на ней добрался до другого берега. Потом мне рассказывали, как ругал меня Янка Кучер за то, что я забрал лодку. Им всем пришлось идти домой кругом, через мост. Палец мой продолжал болеть, не переставая, хоть плач.

Дома никого не было. Я налил в таз холодной воды опустил туда ногу с больным пальцем. Острая боль пронзила меня. Но я терпел и ногу из воды не убирал. Постепенно боль стала уменьшаться, но палец почему-то все больше темнел. Не знаю почему, но про разбитый палец я никому не рассказывал.

Когда я утром проснулся и посмотрел на него, я сразу подумал, что его, наверно, придется отрезать. Весь палец стал темно-синий, как будто ночью его облили чернилами. Боль была слабая, терпимая, но при прикосновении к нему она усиливалась. Я сидел и сожалел, что вчера не одел сандалии – ничего бы такого не случилось. Теперь же ни о каких играх на улице не могло быть и речи.

Я вынужден был целыми днями сидеть дома и томиться от бездействия. Борис Драпкин и Исаак Гольдберг забегали ко мне, чтобы позвать меня играть на улицу, но я отказывался. Когда кто-то был дома, я сидел, держа ноги под столом, чтобы никто не заметил мой палец. А темно-синий цвет его так и не сходил. Когда же дома никого не было, я передвигался по дому, упираясь на пятку. Постепенно ноготь на пальце отлетел, а окраска его так и не изменилась. Мой тихий домашний образ жизни не мог пройти, не замеченным взрослыми. Однажды, тетя Сарра вошла на нашу половину дома и сказала маме:

– Роня, последнее время я заметила, что твой сын никуда не выходит играть, ты не знаешь, что с ним случилось?

Мама подошла ко мне и, прикладывая ладонь к моему лбу, спросила:

– Левочка, ты случайно не заболел? Почему ты перестал ходить на улицу играть?

Я знал, что мой темно-синий палец ее перепугает, и поэтому ответил:

– Нет, мама, я не болею, а играть на улице мне просто не хочется, – и, чтобы отвлечь их настороженное внимание ко мне, я высказал только что пришедшую на ум мысль: – Я хочу рисовать, а бумаги и карандашей у меня нет.

Сказал и сам удивился, как это я забыл про рисование? Ведь когда-то я увлекался рисованием. В детском саду один раз мой рисунок даже на стену повесили. На том рисунке я изобразил могучий зеленый дуб, один из тех, которые растут у дальнего поворота шоссе.

– Хорошо, – сказала мама, – я куплю тебе карандаши и бумагу.

Я очень обрадовался. Даже про палец забыл. Ровно через час бумаги и карандаши лежали передо мной на столе. А что рисовать? Думал я, думал и вспомнил про фотографии в альбоме. Там была фотография, которая мне больше всех нравилась. Это была фотография моей мамы, когда она была совсем молоденькой. Мама тогда носила длинное платье до самого пола, и поэтому, наверно, казалась высокой и стройной. Я и стал срисовывать с фотографии мамин портрет.

Через полчаса все было готово. Рисунок мне понравился. Но все почему-то говорили, что ничего похожего не получилось. Тогда я решил попробовать срисовать с фотографии отца. У нас было несколько фотографий отца, не считая групповые снимки. Я начал с солдатской фотографии. Это когда он до революции служил в царской армии. Фуражка, овальное лицо с усиками, гимнастерка – все кажется просто. А когда нарисовал, то все опять говорили, что не похож. Один дядя Симон сказал, что что-то есть. Тогда я решил, что портретиста из меня не выйдет. В то время я еще не знал, что портреты можно перерисовывать с помощью сетки.

Однажды, сидя в спальне у окна и глядя на привычную картину Днепра и заднепровского луга с дальним лесом, у меня вдруг появилась идея нарисовать все это на бумаге. И я стал рисовать вид из окна. Я так увлекся, что не заметил, как наступили сумерки. Пришлось оставить рисунок на завтра.

Вообще, когда ты чем-нибудь увлечен, то время летит совершенно незаметно. Я перестал даже оглядываться на свой палец. А он постепенно стал краснеть. Темно-синяя окраска исчезала. Это значило, что палец опять приходит в себя после удара.

Забегая вперед, скажу, что палец так до конца и не отошел. Он остался припухлым на всю жизнь и каждый раз при непогоде напоминал о себе.

А рисунок с видом из окна всем понравился, и он был первым моим рисунком, который стал висеть на стене в нашем зале.

Случаются летом такие дни, когда с самого утра не находишь себе никакого дела. Слоняешься по дому, во дворе, и нигде ничего не привлекает твое внимание. И, как нарочно, ни одного мальчишки нет на улице, чтобы вместе скоротать время.

В один из таких скучных дней, прослонявшись до полудня без дела, я ничего другого не нашел, как сесть по старой памяти на середине улицы и поиграть в теплом песке. Причем сел я не напротив нашего дома, а напротив дома Клетецких. А почему именно там, я и сам не знаю. Возможно, что именно это не могла понять и собака Альма. Она вылезла из-под ворот и стала лаять на меня, хотя хорошо знала меня. То ли ей не понравилось, что я сел слишком близко от охраняемого ею дома, то ли она возмутилась тем, что я сел среди улицы, где ездят подводы. Кто ее поймет, почему она лает на соседа. Я запускал руки поглубже в горячий песок и время то времени, чтобы умерить собачий пыл, кричал ей: "Альма, перестань!" После моего окрика она делала резкий поворот к воротам, как будто собираясь пролезть во двор, но тут же возвращалась на прежнее место и опять начинала лаять на меня. Очевидно, она все-таки боялась оставить меня среди улицы. А я продолжал наслаждаться теплом уличного песка, удивляясь настойчивости собаки.

И вдруг вместе с песком я поднял наверх большую, круглую двояковыпуклую линзу. Я удивился до крайности. Такая находка среди улицы! Как она могла сюда попасть? И как она могла здесь, на проезжей части улицы, сохраниться? Хотя и редко, но крестьяне на подводах здесь проезжают. А линза была совершенно целая, хотя и не совсем чистая. Может ее недавно кто-то потерял? Я оглянулся вокруг, но на улице не было ни души. Одна только собака Альма продолжала на меня лаять, как будто говорила: "Уйдешь ты, наконец, домой или нет?" На этот

раз я ее послушался. Я положил линзу за пазуху и тихо пошел домой, не проявляя никакой радости, хотя внутри я был страшно рад этой находке.

В то время редко у кого из мальчишек была линза, они вообще были величайшей редкостью. Даже за деньги не всегда ее купишь. Сначала я спрятал ее в коробку с фотографиями, которым не нашлось места в альбоме, потом перепрятал в шкаф, потом – под кровать. Мне все время казалось, что сейчас войдет хозяин линзы и потребует ее вернуть. А мне не хотелось с ней расставаться.

Целый день я сидел как на иголках и молил бога, чтобы никто не пришел за линзой. Я уже представлял себе, как я буду везде прожигать дырки этой линзой, как интересно будет выжигать буквы на дощечках. Я обязательно выжгу свои инициалы на винтовке и сабле. И тогда все будут знать, чьи они. Я уже видел воочию, как все мальчишки нашей улицы сбегутся ко мне и будут просить у меня линзу, чтобы попользоваться ее волшебными возможностями.

На следующий день, рано утром, я окончательно поверил, что линза – моя. Я выбежал с ней во двор и начал проверять ее силу под лучами солнца. Как только свожу лучи в точку на дощечке, так сразу поднимается дымок. Какая сила у меня в руках! Я был на седьмом небе. Но до огня не доводил. Зачем? Огонь мне не нужен. Я просто ходил вдоль забора и оставлял обугленные метки на досках забора. И за этим занятием меня застала тетя Сарра – наш неизменный страж по дому. Тетя Сарра – удивительный человек: она всегда все видит и все слышит.

– Ты это чем занимаешься? – спросила она ровным, но строгим голосом, – долго ли так устроить пожар? Разве тебе не говорили, что с огнем играть опасно?

Я вскочил и отбежал от нее подальше, а то еще, чего доброго, отберет у меня линзу. Я этого допустить никак не мог. Все-таки линза – ценное сокровище.

– Если уж тебе так хочется что-то зажигать, – продолжала тетя Сарра, – то пожалуйста, иди на берег реки и там зажигай, а здесь около дома и сарая этого делать нельзя ни в коем случае. Понял?

– Понял, – сказал я виновато. Я знал, что тетя Сарра женщина мудрая, и ее надо слушаться. Так о ней говорят и все соседи на нашей улице. "Хорошо еще, что она линзу не отобрала", – подумал я, уходя домой.

Пробовать силу линзы на солнце мне уже расхотелось. Дома у меня неожиданно возникла мысль, можно сказать, фантастическая: при помощи этой линзы сделать фотоаппарат. Я тут же загорелся этой идеей. Осуществить ее, как мне казалось, было не очень сложно. Я много раз наблюдал за работой фотографа на нашем базаре и приобрел некоторое представление о фотоаппарате. Я уже знал, что впереди у него – линза, сзади – кассета, а между ними – пространство, которое создают два выдвижных ящика. Вот что-то похожее я и решил сделать. Если я что-то задумываю, то сразу приступаю к делу. Правда, я не всегда довожу начатое дело до конца. Но главное, как говорится, лиха беда начало, а там может что и выйдет.

Фанерки нашлись дома, ножовку, молоток и гвозди попросил у дяди Симона и приступил к работе. Перво-наперво надо сделать два выдвижных ящика – основа фотоаппарата. Разметил я линейкой размеры стенок будущих ящиков с учетом того, чтобы один из них был чуть меньше другого, выпилил их и сбил гвоздиками. Получилось почти хорошо. Только меньший ящик слишком свободно проходил в больший. Но я не стал их переделывать. Побоялся, что если начну переделывать, то остынет мой энтузиазм, и я брошу это дело. Мне всегда хотелось все делать быстро, с первого захода. Тогда я еще не понимал, что быстрая работа не самая лучшая работа. Потом я отмерил и выпилил торцевые стенки. На торцевой стенке меньшего ящика я вырезал круглое отверстие для линзы, а на торцевой стенке большего ящика – проем для будущей кассеты. Причем таких стенок пришлось нарезать три. Образовав пазы, по которым бы свободно вставлялась и вынималась кассета, я сделал из тонкого картона соответствующих размеров кассету с выдвижной заслонкой. С этим делом я провозился целых два дня.

Когда все было уже готово, работа вдруг застопорилась. Я не знал, как прикрепить линзу к отверстию торцевой стенки ящика. Гвоздями я опасался. Случайное нажатие железом, и линза может треснуть. Наверно, я уже был утомлен, потому что ничего путного в голове не появлялось. На мое счастье ко мне зашел Миша Нафтолин. Он хоть и был всего на год старше меня, но из-за высокого роста и крепкого телосложения, а также из-за серьезного выражения лица казался рядом со мной взрослым парнем. Он осмотрел мои заготовки и сразу дал мне несколько советов. Он предложил оклеить ящики черной бумагой (вот когда пригодился свободный зазор между ними), а линзу прижать к стенке той же бумагой.

– Но где же я достану черную бумагу? – усомнился я в его совете.

– Я сейчас принесу ее, – сказал Миша и ушел к каким-то своим родственникам.

И правда, через полчаса он принес целый ворох черной бумаги. Потом я понял, что это была оберточная бумага от фотобумаги. Мы развели клей из муки, и Миша помог мне доделать фотоаппарат. Фотоаппарат получился отличный.

– Теперь, – говорит Миша, – нужно матовое стекло.

Про это стекло я вообще ничего не слышал. На базаре, наблюдая за действиями фотографа, я думал, что он направляет аппарат на человека, глядя в линзу. То, что он видит человека на матовом стекле, я не знал, потому что аппарат сзади всегда был накрыт черным платком.

– А где его купить? – спросил я у Миши.

– Это стекло можно сделать самим, – ответил Миша, – надо только стекло и наждачную бумагу.

Стеклышко нашлось, а наждачную бумагу дал нам отец Бориса Драпкина. Миша натер наждаком стеклышко, и оно превратилось в матовое. Затем Миша вставил его на место, где должна быть кассета, поставил аппарат на стол, навел, сдвигая ящики, на окно с цветами и дал мне посмотреть.

Через матовое стекло ясно были видны наши цветы, но горшками кверху. Но как это было красиво! Впервые в жизни я смотрел на изображение в фотоаппарате. На матовом стекле изображение было красивее, чем в действительности. Радость переполнила мое сердце. Потом Миша подсказал мне еще об одном: надо было сделать над линзой колпачок. И он сам же все и сделал. Теперь аппарат был по-настоящему готов к употреблению.

Фотоаппарату были рады все: мама, сестры, соседи по дому и соседи по улице. Мама, как всегда, удивилась моему фотоаппарату и сказала со вздохом и надеждой:

– Может он у нас будет изобретателем?

Я не стал ее разубеждать, и она без лишних разговоров дала мне деньги на фотобумагу, проявитель и закрепитель. И началось у меня очередное увлечение – фотографирование. «Лабораторию» я устроил в темной спальне. Электролампочку завязал красным платком, а двери занавесил одеялом. Дело в том, что пластинок у меня не было, да и все равно они бы не подошли к самодельной кассете, и я снимал прямо на бумагу. Фотобумагу я разрезал по размеру своей кассеты и после каждого фотографирования бежал в темную спальню заменять ее. Канители было много, но когда ты увлечен, то никакая канитель не мешает.

К моему удивлению, никто из взрослых не хотел позировать мне. Почему – я не знаю. Но огорчаться было некогда. Все мальчишки и младшая сестра Саша охотно сидели перед аппаратом. Всем хотелось посмотреть на матовое стекло. Их удивляло и веселило перевернутое изображение товарищей. Почему так получается, никто из нас не знал, и это всех интриговало. Одним словом, со своим фотоаппаратом я сразу стал знаменитым человеком на нашей улице.

Когда накопилось много карточек, мы стали их проявлять при красном свете. Веселья тут было еще больше. На карточках получались настоящие африканские негры. Я уже знал, что это негативы, но все равно это было смешно. Все шло очень интересно. Но когда дело дошло до позитивов, у меня все застопорилось. При красном свете в затемненной спальне я накладывал

на негатив чистую фотобумагу и вставлял их в кассету. Потом я залезал на стол и, держа кассету под электролампочкой, раскрывал ее и так держал минут десять. А затем, закрыв кассету, спешил в нашу «лабораторию» проявлять. На первой фотобумаге ничего не проявилось. На следующий раз я держал кассету под лампочкой двадцать минут, и опять ничего не проявилось. Тогда я поставил на стол табуретку и стопку книг до самой электролампочки, положил под лампочку раскрытую кассету и держал ее так более часа. И как же мы радовались, когда на карточке проявились едва заметные, бледные черты моей сестры Саши.

Итак, опыт доказал мне, что для того, чтобы получать хорошие карточки, необходимо каждую карточку держать под электролампочкой по несколько часов. А это значило, что за один вечер получится только одна карточка. Это был слишком медленный процесс. Я не устоял против таких трудностей и также, как вначале быстро увлекся фотографией, так же быстро и разочаровался в ней. Фотоаппарат с матовым стеклом еще долго служил нам, как игрушка, а фотографировать больше не хотелось.

Однажды, в конце весны, а может быть и в начале лета, ко мне прибежал Исаак Гольдберг с необыкновенной вестью. Оказывается, по нашей улице ходит комиссия: двое гражданских и один командир Красной Армии. Они заходят в каждый дом и договариваются о временном размещении красноармейцев. Мы с Исааком заранее уже почувствовали, что на нашу улицу надвигаются события необыкновенные. Исаак сообщил, что его мама разрешила им занять полдома. Конечно, дом у них большой, а с тех пор, как его братья и сестра стали жить самостоятельно, эта половина дома пустовала все равно. Когда-то и наша семья снимала у них квартиру. Я вышел с Исааком на улицу и стал поджидать эту комиссию. В это время они вышли из дома Рубинчиков и шли к дому Славиных.

Штатские были как все штатские, ничего особенного, а вот военный... Он был похож на настоящего командира: высокий, худощавый, в длинной шинели с широким ремнем, в новой фуражке. Точно таких рисуют на плакатах и показывают в кино. Он мне сразу понравился. Они зашли в дом Славиных, а я с нетерпением ждал, когда они придут к нам. Исаак Гольдберг убежал домой. И вот они выходят из дома кузнеца Славина и направляются к нам. Я врываюсь в дом и кричу маме:

- Мама, они идут!
- Кто они? – удивляется мама.
- Комиссия!
- Какая комиссия?

Но я не успеваю ответить. В дверь раздается стук, затем ее открывают, и все трое входят в наш дом.

- Здравствуйте, – говорит один из штатских.
- Здравствуйте, – отвечает мама, – заходите и садитесь, – приглашает она их к столу.
- Спасибо, – говорит штатский, – но нам некогда. Мы к вам вот по какому вопросу: около нашего города будут проходить военные учения, и нам надо разместить по домам красноармейцев. На время, конечно, – добавляет он, – сколько человек можно у вас разместить на постой?
- Я всегда пожалуйста, – говорит мама, – но сколько человек, я не знаю. Могу уступить вам вот эту кухню.
- Вот и отлично, – говорит командир, – тут целое отделение разместится. Только шкаф и топчан надо убрать.
- Хорошо, – говорит мама.
- Значит, договорились, – говорит штатский, – спасибо вам и до свиданья.

Они выходят, а я – за ними. Теперь все стало ясно: у нас будут проходить военные учения. Что это такое, я еще не знал, но наверняка, что-нибудь очень интересное. У наших соседей Драпкиных комиссия и минуты не задержалась. Следом за комиссией вышла на крыльцо тетя

Рая, мать моего друга Бориса Драпкина, полуслепая женщина, и как будто продолжая разговор, говорила, повышая голос:

– Нет, нет и не уговаривайте, у меня три взрослые дочери, и ночевать молодых мужчин не пушу.

Комиссия уже вошла к Клетецким, а тетя Рая все повторяла одну и ту же фразу, как будто кто-то ее слушал. Значит, тетя Рая к себе никого не пустила. Такой уж у нее вздорный характер. Конечно, у нее трое дочерей, но разве красноармейцы могут кого-нибудь обидеть? И думать об этом даже смешно. Моя сестра Соня тоже взрослая, но у моей мамы даже и мысли такой не было, чтобы опасаться красноармейцев. А у Гольдбергов или Рубинчиков – у них ведь тоже есть взрослые дочери, но красноармейцев на постой все равно пустили. У тети Раи всегда все не так. Такой уж у нее характер.

А вот к Аксинье Ламерсон, соседке напротив нашего дома, комиссия почему-то даже не ходила. Чем это объяснить? У нее на двух этажах можно было бы разместить не одно отделение красноармейцев, а целый взвод. Наверно, старший из комиссии хорошо знал, кто живет в этом красивом доме. Но в чем тут причина? Вот бы узнать!

Пока я провожал представителей власти, в доме у нас уже все переставили. Соседи помогли – дядя Симон и тетя Сарра. Кухня стала еще более просторной. Топчан, на котором я спал, вынесли в сарай.

– Теперь ты будешь спать на диване, – сказала мама.

Дядя Симон прикрепил к дверям в зал железный крючок. Оказывается, что при красноармейцах наружные двери не будут запираются, а спать ночью при открытых дверях никто у нас не решится. Теперь мы будем на ночь запирает двери в зал. На кухне мама оставила только стол и скамейки. Все суетятся и возбуждены. Заходят соседки по улице и смотрят, как мы приготовили место для красноармейцев. Бесконечные вопросы и догадки.

– А стрелять будут или нет?

– Если пушки стрелять будут, то прощайте наши окна.

– Потом вставят.

– А часовые будут у домов?

– Тебя что ли охранять?

Каждый день мы ждем появления красноармейцев, а они не идут. Мы, мальчишки с нашей улицы, с утра до вечера сторожили момент, когда придут красноармейцы. Каждому хотелось первому заметить их. Мы даже бегали на соседние улицы. Но красноармейцев все не было. И хотя мы все уже хорошо знали, что у нас будут маневры, но каждому хотелось еще и еще раз сказать о них, как о новости:

– Слыхали, у нас будут маневры.

А красноармейцы пришли, когда мы их совершенно не ждали. Поздно вечером, когда на улице уже было темно, к нам вошел высокий командир, поздоровался и сообщил, что сейчас к нам придут двенадцать человек, что опасаться их не надо, и что они все хорошие парни.

– Если у вас появятся какие-нибудь вопросы, то обращайтесь ко мне, – добавил он на прощанье.

Как только он вышел, я бросился на улицу, чтобы посмотреть, что там делается, но не успел. В дом один за другим уже входили красноармейцы, внося вместе с собой запахи пота, сапог и ремней. На кухне сразу стало тесно.

Они огляделись, убрали стол и скамьи к печке и стали располагаться вдоль стены на полу, аккуратно сложив шинели, ремни и гимнастерки. Один из них обратился ко мне:

– Малец, сказал он, – колодец далеко ли от вас?

– Близко, – ответил я, – напротив, во дворе.

– Тогда показывай, – сказал он и взял наши ведра.

Я повел его не через калитку тети Аксиньи, а через лаз напротив дома Клетецких. Здесь в два раза ближе, и я, да и соседи тоже, всегда шли к колодцу через этот лаз. Красноармеец, не долго думая, сказал:

– Временно сделаем здесь попросторней, а потом все восстановим. Он легко оторвал еще две доски и приставил их к стене сарая. Теперь проход стал гораздо свободней. У колодца было уже много красноармейцев. Один из них качал воду, а остальные, раздевшись до пояса, умывались, шумя, фыркая, смеясь и побряхтывая от удовольствия. Вода в колодце была холодная как лед. Наш красноармеец набрал два ведра воды и понес к нам. Поставив ведра, он сказал своим товарищам:

– Ребята, пошли к колодцу, он совсем рядом, там все умываются.

И все поднялись и гурьбой пошли к колодцу. Вскоре они вернулись посвежевшие, расстелили на полу шинели и легли спать. И я тоже ушел спать.

А проснувшись рано утром, я их уже не застал дома. И куда они ушли, я тоже не знал. Целый день их не было. Мы, мальчишки, сбежались во двор к кузнецу Славину. Там, у коновязи, стояли несколько военных лошадей, и Борис Славин с двумя красноармейцами занимались их подковкой. Конечно, я много раз видел эту работу кузнеца, но теперь интерес к ней возрос. Раньше кузнец подковывал низкорослых крестьянских лошадок, а теперь он подковывал стройных высоких лошадей. С одной такой лошастью они долго возились. Она все время отскакивала и не давала им взяться за ногу. Тут же около кузницы стояла военная кухня на колесах. Повар впрягал лошадь, собираясь куда-то ехать. Исаак Гольдберг утверждал, что маневры проходят около леса, но сколько мы ни смотрели с горы в сторону леса, мы так ничего и не заметили. Вернулись красноармейцы домой поздно вечером. Тот, которому я показывал, где у нас колодец (наверно, он у них был старшим), передал маме полный котелок горячей гречневой каши и целую буханку хлеба.

– Угощайтесь, – сказал он, – на кухне у повара осталось.

– Спасибо, – поблагодарила мама, – но что мы с ней будем делать?

– Дети поедят, – уверенно сказал старший красноармеец.

У меня слюнки текли во рту от одного запаха каши, а мама еще сомневалась. Соня почему-то отказалась от этой каши, а я и Саша ели ее с удовольствием. Однако, больше половины каши осталось. Не было сил всю ее поесть. И так уж повелось: каждый день старший красноармеец приносил нам гречневую кашу и хлеб. Скоро каша нам так надоела, что совершенно не лезла в рот. А мама жалела красноармейцев:

– Бедняжки, – говорила она со вздохом, – каждый день им дают одну и ту же кашу.

Даже самая вкусная еда может стать невкусной, если ею питаться каждый день. Теперь нам стало понятно, почему у повара остается гречневая каша.

Дней через пять в полдень, стоя на нашей горе и глядя на луг по ту сторону Днепра, я вдруг заметил, как на лугу красноармейцы делают перебежки и падают в траву. Я даже глазам своим не поверил. Так вот где они проводят маневры. Почему мы их раньше там не замечали? Я побежал рассказывать всем друзьям о том, что увидел. Все сбежались на нашу гору и убедились, что я был прав. Решение созрело моментально – мы едем на ту сторону. Один только Лева Рубинчик отказался ехать. Родители строго-настрого запретили ему ездить на лодках.

Я, Борис Драпкин, Исаак Гольдберг и Лева Смолкин переехали на лодке на ту сторону Днепра и через несколько минут оказались позади наступающей цепи красноармейцев. Они наступали короткими перебежками. Пока одни перебежали, другие стреляли лежа на траве. Иногда раздавалась пулеметная очередь. Слышны были команды командиров. Из леса раздавались отдельные пушечные выстрелы, и перед наступающими что-то взрывалось, пуская в небо белые облачка. Когда мы подошли слишком близко, кто-то крикнул нам, чтобы мы немедленно убрались домой. Но разве мы могли уйти от такого зрелища. Мы же впервые в своей жизни видели маневры!

Конечно, мы отбежали назад метров на тридцать и залегли за бугорком в траве. Отсюда тоже хорошо видно было, как действуют красноармейцы. Вот и два пулеметчика улеглись за станковым пулеметом. Но что это? То, что я увидел, привело меня в полное разочарование. Слышал я, что на учениях стреляют холостыми патронами, но никогда не подумал бы, что стрельбу из пулемета заменяют трещоткой. Именно такую трещотку я увидел в руке одного из пулеметчиков. Он крутил ею, когда хотел всем показать, что пулемет его стреляет. А я думал, что это стреляет сам пулемет. Не знаю почему, но интерес к маневрам у меня сразу же пропал.

– Смотри, – говорю я Исааку, – у них вместо пулемета стреляет трещотка.

– Где ты видишь? – говорит недоверчиво Исаак. Я показываю ему пальцем, где притаились в траве красноармейцы с пулеметом. В это время один из них приподнял трещотку и закрутил ею.

– Ага, вижу, а здорово похоже на стрельбу из пулемета!

Вот так маневры, подумал я, почти все так же условно, как и у нас во время игры в "красные и белые". Но почему красноармейцы с такой опаской делают перебежки, ползают попластунски, прячась за малейшими бугорками? Почему командир их ругает, когда они неосторожно поднимают головы выше, чем положено? И зачем вся эта беготня под палящими лучами солнца? Мы и то вспотели, хотя были в одних трусах и майках.

Когда красноармейцы продвинулись дальше от нас, мы пошли купаться. Лодки на берегу не было. Она почему-то стояла на другом берегу реки. Наверно, кто-то переехал на ней через Днепр. Но нас это особенно не смутило. И раньше бывали такие случаи. Мы быстро искупались и отправились домой пешком через днепровский мост. Благо, он совсем недалеко от нашей улицы. Вечером все наши двенадцать красноармейцев пришли домой целые и невредимые. Вот, если бы и на войне было так, как на маневрах!

На следующий день мы опять хотели посмотреть, как наступают красноармейцы, но сколько мы не смотрели на луг, так никого и не увидели. Очевидно, тактические занятия проходили в другом месте. И в последующие дни красноармейцев на лугу не было.

Мы подолгу вертелись возле кузницы Славиных. Туда каждый день приводили лошадей на перековку. Это зрелище тоже интересное. Кузница Славиных никогда прежде не работала так напряженно, как в дни прохождения у нас маневров. Один раз привезли сюда даже пулеметную тачанку с лопнувшей шиной на колесе.

Однажды, кто-то принес на нашу улицу необыкновенную весть, что в Рогачев приедет сам Буденный и будет принимать парад войск. Представляете нашу радость: сам Буденный будет у нас! Буденного знали все без исключения от мала до велика. Он же был первым героем среди героев гражданской войны. Мы, мальчишки, только и говорили о нем. Увидеть его стало нашей сокровенной мечтой. Каждый день по много раз мы бегали на центральную улицу смотреть, не едет ли он. По вечерам мы одолевали взрослых вопросами, когда же приедет Буденный. Но никто ничего не мог нам сказать.

Наконец-то, сами красноармейцы нас предупредили, что завтра в Рогачеве должен быть сам Буденный. Теперь-то мы увидим не на портрете или в кино, а воочию, одного из прославленных героев гражданской войны. Так я и уснул с этой радостной мечтой. Проснулся я поздно. Дома никого уже не было. Только Саша еще спала. Я очень испугался, что прозеваю встречу с Буденным, и, ничего не перекусив, бросился на улицу. Около кузницы я увидел Исаака Гольдберга.

– Нет, – ответил он, – на улице никого нет.

У меня отлегло от сердца. Значит все в порядке. Я еще увижу Буденного. Несколько раз мы бегали на Циммермановскую улицу, в городской сад. Взрослые говорили, что там будет парад. Но там, кроме мальчишек, никого еще не было.

После полудня я увидел там много взрослых и детей. Идти домой я уже опасался. Я прошелся вдоль забора стадиона напротив городского сада. В сущности это была городская

спортивная площадка. Вокруг футбольного поля была беговая дорожка, а вдоль забора стояли скамейки для болельщиков. Так вот, эту спортивную площадку все называли громким и внушительным словом «стадион». Он занимал почти целый квартал между улицами Циммермановской и Либкнехта, а также Садовой и Красноармейской. На углу улиц Красноармейской и Циммермановской находилось красивое здание кинотеатра – достопримечательность, гордость горожан. Рядом с кинотеатром стоял памятник двадцати красноармейцам, погибшим в бою с белополяками под Рогачевом.

На стадионе мы сдавали нормы БГТО: бегали стометровку, прыгали в высоту и длину. В хорошую погоду по вечерам здесь играли в волейбол, а по выходным дням стадион всегда занимали футболисты. На беговой дорожке почти всегда тренировались велосипедисты. Иногда они устраивали соревнования между собой, и тогда образовывался сплошной коридор из болельщиков. Обычно заезжали на десять и пятнадцать кругов. Пыль стояла кругом, но никто не уходил.

Но самое интересное на стадионе бывало тогда, когда туда на своем велосипеде приезжал Наум Шварцман. Он был инвалидом с детства: у него передергивались голова, плечи и руки. Но тем не менее, он увлекался техникой и велосипедом. Жил он на улице Урицкой, как раз на Базарной площади. В коридоре дома он устроил мастерскую по ремонту велосипедов и этим доказал, что при желании и инвалиды могут успешно заниматься делом. Кто видел его в работе, тот совершенно не замечал его физические недостатки. Он был настоящим знатоком своего дела.

Так вот, этот Наум Шварцман устраивал на стадионе настоящее цирковое представление на своем велосипеде. Велосипедист он был отличный. Когда он появлялся на дорожке стадиона, другие велосипедисты уступали ему всю дорожку, превращаясь тоже в зрителей. И все это делали добровольно, предвкушая интересное зрелище. Поначалу он показывал самые простые номера: езда на велосипеде без рук, затем без ног и без рук, затем управление ногами. После этого он делал круги по стадиону. Причем, после каждого круга к нему на велосипед вскакивали по одному человеку. При этом он на секунду замедлял ход велосипеда, а затем опять разгонялся. После девятого круга на велосипеде сидело, стояло и цеплялось сбоку девять человек. Ну, чисто цирк! Как только велосипед выдерживал такую тяжесть? После десятого круга все в обратном порядке прыгали с велосипеда, и на последнем круге на багажнике сидел уже только один человек. Высадив и его, Шварцман останавливался, чтобы отдохнуть. На этом первое отделение его представления заканчивалось.

После небольшого отдыха он начинал второе отделение, еще более занимательное. Не слезая с велосипеда, делая круг за кругом по стадиону, он полностью раздевался, а затем так же одевался. Просто уму непостижимо было, как он ухитрялся это делать. Велосипед послушно шел по кругу, а ботинки, рубашка, майка и брюки постепенно оказывались висящими на руле, а затем опять одетыми на нем. Таких номеров я ни разу не видел даже в цирке...

Итак, после полудня я прибежал к стадиону на встречу с Буденным. На заборе стадиона я увидел моего одноклассника Арона Шпица и присоединился к нему – вдвоем ждать веселее. Людей на улице становилось все больше и больше. Все прохаживались вдоль по улице, а Буденного все нет и нет. Наконец на улицу пришли военные подразделения и выстроились вдоль улицы со стороны городского сада лицом к стадиону, как раз там, где мы сидели на заборе. Мы обрадовались такому построению. Это значило, что Буденный будет проходить по тротуару рядом с нами. Но опять проходило долгое ожидание, а Буденного все нет и нет.

Вдруг прозвучали команды командиров, и все воинские подразделения стали перестраиваться на нашей стороне. Мы оказались позади кавалеристов и сразу поняли, что Буденный будет проходить вдоль городского сада и, о ужас, мы можем его не увидеть из-за кавалеристов. Мы немедленно соскочили с нашего места и побежали вокруг воинских частей на другую сторону улицы. Весь тротуар вдоль городского сада был освобожден от толпившихся там людей.

Все они теперь оказались позади штакетника в саду. Мы с Ароном, перескочив через штакетник со стороны Садовой улицы, бросились искать место у городского сада по улице Циммермановской. Но увы, к штакетнику нельзя было подступиться. Его облепили не только дети, но и взрослые. Нигде ни малейшей лазейки к забору.

Пробежав безрезультатно вдоль всего городского сада, чуть не плача от огорчения, мы выскочили на Красноармейскую улицу и увидели, как мальчишки забираются на досчатый забор следующего квартала. Там было еще много свободного места. И мы с Ароном, помогая друг другу, тоже залезли на этот забор. И только мы разместились на этом заборе, как с другого конца городского сада прокатилось мощное красноармейское «ура». Наверно, там, на Циммермановской улице, уже ехал на своем вороном коне Семен Михайлович Буденный – легендарный герой Гражданской войны.

У нас сердца затрепетали от близкой встречи с таким знаменитым человеком. Мы сидели на заборе и с нетерпением ждали его появления. Красноармейское «ура» перекатывалось все ближе и ближе к нам. И вдруг мы увидели маленького усатого человека с калмыцким лицом в сопровождении высоких представительных командиров. Волнистые усы этого человека свисали ниже подбородка. Одет он был в кожаную тужурку и широкие кожаные галифе, вправленные в блестящие сапожки. Ноги были полудугой, как у большинства людей, прошедших большую часть своей жизни на коне. Идущие рядом с ним рослые представительные командиры еще больше оттеняли его низкорослую фигуру.

Мы с Ароном разочарованно и с большим огорчением смотрели на этого одетого в кожу маленького, важного человека, который совсем не был похож на того Буденного, которого мы видели в кино и на портретах. Ведь к тому времени я уже посмотрел такие кинокартины, как "Первая Конная", «Укразия» в двух сериях и "Красные дьяволята". Там Буденный – настоящий казак. А этот маленький человек больше похож на калмыка, чем на казака.

И вдруг меня осенила догадка:

– Это же Городовиков, – крикнул я Арому и, довольный своей догадкой, стукнул его по плечу, – понимаешь, командир прославленной Чонгарской дивизии, ближайший помощник Буденного.

И как это я сразу не догадался? Сколько книг читал про Буденного, а Городовикова забыл. А ведь он командовал 6-ой дивизией в Первой Конной. Такой же герой гражданской войны, как и Котовский, Пархоменко и многие другие прославленные командиры Первой Конной армии. М. В. Фрунзе когда-то назвал его "железным начдивом". Никогда раньше я не думал о нем, а сейчас даже вижу своими глазами. И я уже с большим интересом смотрел на проходившего мимо нас Оку Ивановича Городовикова.

После его ухода ушли колонной и красноармейские части. Расходились по домам и зрители этой торжественной встречи. По случайным обрывкам разговоров я понял, что многие считают, что это был Буденный. Вот, что значит не смотреть кинокартин и не читать книг. При незнании можно кого угодно признать за кого угодно! Смешно, но незнание, бывает, и не такие шутки подбрасывает людям.

Когда я пришел домой, сестренка Саша еще на улице огорошила меня еще одним неприятным для меня известием. Она с радостью сообщила, что красноармейцы, стоявшие у нас на постое, уехали и больше не вернутся. Она почему-то радовалась, а мне было далеко не радостно. Я уже успел привыкнуть к ним, к их здоровому солдатскому духу. На нашей кухне уже опять все стояло на своих прежних местах: и буфет с посудой, и мой топчан, и стол, и скамейки. И все это говорило о том, что военные маневры окончились, и для меня опять начнутся обыкновенные будни, какие были до маневров. Но они оставили у меня большое желание побыстрее попасть на службу в Красную Армию и стать таким же здоровым и сильным парнем, какими были стоявшие у нас на постое красноармейцы.

Примерно в это же время на нашей улице стали строить новую баню. Мы, дети Рогачева, радовались каждой новой стройке в нашем городке. Старая баня вросла в землю до половины окон и внутри выглядела слишком мрачной. Поэтому строительство новой бани обрадовало все население города. Теперь куда бы я ни ходил, я всегда проходил мимо строящейся бани. Стены поднимались прямо у меня на глазах. Баня строилась большая. Она занимала целый квартал по улице Либкнехта и поворачивала на улицу Северо-Донецкую. Это была необыкновенно большая баня для нашего маленького городка. Только, когда строительство закончилось, стало ясно, что баня будет со всеми удобствами: с отделением для мужчин и отделением для женщин, с парилками, с отдельными ваннами и душевыми, а треть всего здания занимала прачечная. Это была невиданная роскошь для нашего города.

После открытия бани о ней пошли противоречивые суждения. Во-первых, баня заполнялась людьми только перед выходными и в выходные дни. Остальные дни недели она, можно сказать, пустовала. Во-вторых, в бане оказались очень низкие потолки, поэтому было душно купаться. По этому поводу говорили, что главный инженер сбывал кирпич налево и построил себе большой кирпичный дом и сарай из кирпича, а двор обнес высоким кирпичным забором. По-разному говорили только о месте постройки этого дома.

Мы с Ароном Шпицем ходили по всем указанным адресам в поисках этого дома, но его нигде не было. Оставалось предположить, что инженер построил себе дом где-то в другом городке, так как через некоторое время появились новые слухи на нашей улице, что инженера арестовали и осудили, а его дом со всеми пристройками конфисковали.

Баня продолжала работать, но вместо радости она приносила нашей улице одни огорчения. Дело в том, что использованную воду из бани спускали в Днепр. И вот, вместо прежней чистой, прозрачной, прохладной и вкусной днепровской воды у нашего берега вдруг появилась грязная, пенная, мыльная вода, совершенно непригодная к употреблению. Представьте состояние жителей близлежащих улиц, которые во все времена пользовались днепровской водой для домашних нужд? Все возмущались, ругали тех, кто решил построить баню в этом месте, предлагая другие места для нее. Но баню, конечно, никто переносить не собирался. Пришлось полностью переключиться на колодец. Наиболее упрямые жители ходили за днепровской водой на песчаную косу, выше этого грязного ручья из бани. Но путь их был не близок.

А для нашей семьи баня сыграла прямо-таки трагическую роль. Страшно не повезло моей маме. Однажды, она с Сашей пошла в эту новую баню. Помылись они и напоследок, как всегда, решили окатить себя чистой водой. Здесь-то маму и подстерегла беда. Она налила кипятком и забыла разбавить холодной водой. Сначала она хотела окатить Сашу, но в последний момент передумала и вылила всю воду из таза на себя. А дальше мама почти не помнила, что с ней было. Саша прибежала домой вся в слезах и рассказала, что мама обварилась кипятком, и ее увезли на "скорой помощи" в больницу...

Мы оказались в ужасном положении. Дом без мамы стал пустым и грустным. Дело было зимой. Все в доме приняло страшно запущенный вид. Ничего не мылось и не стиралось. Кухня не топилась, и в ней стало так же холодно, как и на улице. Целых три месяца мы при помощи соседки тети Сарры тянули кое-как свое существование. Без песен, без смеха, без веселья. Дом оказался насквозь холодным, а дни – унылыми и мрачными. Вот тогда-то я понял, как плохо жить без мамы. Тогда-то я по-настоящему почувствовал, что если у ребенка нет ни отца, ни матери, то он – трижды сирота. Ох, как права была моя мама.

Поэтому вы можете представить мое волнение, когда я однажды прибежал из школы и увидел вдруг чистую, светлую и, главное, теплую нашу кухню и услышал мамин смех в зале. В радостном возбуждении я влетел в наш зал и увидел маму: похорошевшую, красивую и радостную, как будто она вернулась не из больницы, а из самого лучшего курорта. Она рассказывала тете Сарре что-то веселое. Увидев меня, мама весело сказала:

– А вот и Левочка пришел! Рассказывай, как вы тут жили без меня?

А я стою и молча улыбаюсь. Не знаю, что и говорить. А что говорить? Говорить о прошлом – только портить настроение. Того, что было – уже нет, исчезло, как плохой сон, а настоящее – прекрасно: в доме опять все по-прежнему, опять в нем – мама. Зачем же говорить о прошлом? Не дождавшись моего ответа, мама спохватывается и говорит Сарре:

– И что я его мучаю? Он же, наверно, голодный, – и обращаясь ко мне, продолжает, – пойдём, Левочка, на кухню, я тебя покормлю.

Я снимаю пиджак и иду за мамой на кухню. Только теперь я почуял приятные запахи еды. Мама ставит на стол подсушенную в печи целую картошку с кислым молоком. Подсушенная целая картошка, сверху с корочкой, очень нравится мне. Затем мама приносит мои любимые картофельные оладьи. Мама знает, что я люблю больше всего.

– Кушай, сынок! – говорит она. – Вы, наверно, проголодались тут без меня?

Как хорошо, когда дома есть мама! С мамой жизнь в нашем доме опять наладилась и пошла лучше прежнего: уютно и весело...

На нашей улице почти в каждом доме росли мальчишки-погодки. Разница в возрасте была минимальная – один-два года. Это обстоятельство, как я уже объяснял, давало нам возможность организовывать любые игры. Конечно, не все мальчишки принимали активное участие в наших играх. К примеру взять Леву Рубинчика. У его родителей, отца Якова и матери Нехамы, было пятеро детей. Из них – четыре дочери и один сын. Именно то, что Лева у них был единственным сыном, и заставляло их беречь его, как зеницу ока. Он мог играть на улице только тогда, когда на крыльце сидела его мать или сестры. Поэтому он редко участвовал в наших играх. Ходить на берег Днепра ему строго-настрого запрещалось. О Марике Гульмане и говорить не приходится. Хотя он был рослым мальчиком, но от калитки своего дома он боялся сделать даже один шаг, ну прямо как я, когда мне было три-четыре года, и я был запуган выдумками взрослых. Борис Драпкин, мой сосед по двору, тоже был в семье единственным сыном, и над ним тоже дрожали, но играть на улице или на Днепре не запрещали. И совсем другое дело было в тех семьях, где сыновей было двое и больше. Это Исаак Гольдберг, я, братья Рынкины и братья Смолкины. Мы были, как говорится, вольными птицами и принимали активное участие во всех играх на нашей улице.

Когда собираются мальчишки, то хотите вы или не хотите, но обязательно кто-нибудь из них занимает главенствующую роль. Никаких выборов здесь быть не может. Просто в процессе игры становится ясно, кто ловчее, сильнее и храбрее. Именно такой становится признанным авторитетом во всех играх на улице. Но если у такого авторитета слишком твердое сердце, то остальным достается, как говорится, на орехи.

Вот таким главарем на нашей улице был Исаак Гольдберг. Его достоинства были известны не только мальчишкам нашей улицы, но и почти всему городку. Он ни перед кем и ни перед чем не испытывал страха. Он был среди нас самым отчаянным мальчиком. Уже с первых классов в школе он получил кличку Исаак-рвач, потому что в драке он использовал любые приемы: дозволенные и недозволенные. Иной дерется и боится ударить кулаком в лицо, а Исаак не боялся. Он мог рвануть пополам единственную рубашку, мог запустить камнем в голову, на что мы никогда не решались. Но улица есть улица. Как бы мы его ни побаивались, но стычки между нами бывали.

Больше всех попадало от Исаака Борису Драпкину. Дело в том, что хоть Борис и был старше нас всех на улице, но физически он был слабее и к тому же плохо видел. Когда во время спора Исаак бросал в нас камни, мы успевали увернуться от летящего камня, а Борис, не видя камня, оставался на месте, и в результате – разбитая голова. Сколько раз родители Бориса ходили ругаться с родителями Исаака, но унять его было невозможно. Исаак продолжал при случае бесстрашно драться. Не помогали увещевания всех его старших братьев и сестер, не считая отца. Отец лежал тяжело больной.

Семья у них была многодетной. Двенадцать детей. Но ко времени моего рассказа большинство из них уже жили самостоятельно. Теперь в доме их жило пятеро: Исаак, девушки Геня и Ася, мать и отец. Отец, когда-то могучий кузнец, на старости лет заболел туберкулезом или, как тогда говорили, чахоткой, слег и уже не вставал с постели. Его крепкий организм сопротивлялся болезни в течение многих лет. Мать у них была хоть и старая, но очень красивая женщина. Наследницей ее красоты стала Ася – высокая, стройная, черноволосая девушка с тонкими чертами лица. Когда она шла по улице, все засматривались на нее. Из братьев Исаака я знал троих: Давид был начальником горторга Рогачева, Лева был кузнецом, а Павел – капельмейстером военного оркестра в Ростове-на-Дону.

Вот в такой многочисленной и уважаемой семье жил Исаак, а вел себя не лучшим образом. Бывали дни, когда мы с ним дружили так, что водой не разольешь. И тогда мне приходилось попадать в очень опасные ситуации. Исааку хорошо, он сумел сам себя воспитать, а меня воспитали мама и соседка тетя Сарра. А это значило, что делать плохое я опасался. Но и отстаивать от мальчишек было еще опасней. Поэтому, когда у нас с Исааком случалась закадычная дружба, и мы везде ходили вместе, то я вынужден был лазить в чужие сады.

Исаак собирал целую ватагу мальчишек и вел нас на очистку церковного сада. Мы и раньше наведывались в этот сад, но рвали яблоки только с яблонь, которые стояли около ограды. А Исаак, руководя нашим забегом, заводил нас в центр сада к самым вкусным яблокам. Причем, его смелость доходила до высшей степени дерзости. Сад охранял старый-престарый дед по имени Ахрем. Мы, как увидим, что он нас заметил и, размахивая палкой, идет к нам, пускались наутек и, перемахнув через ограду, наблюдали за ним, а иногда даже дразнили, зная, что он нас не догонит. А Исаак, наоборот, никогда не убегал, а лез на дерево, на самую высокую ветку, и сидел там спокойно и ел яблоки. Старик ходил вокруг дерева, угрожая палкой, кричал и ругался, а Исааку, как с гуся вода. Сидит спокойно, как будто и нет внизу этого деда. Больше того, огрызки от съеденных яблок в деда бросает. А дед от злости прямо из себя выходит. Мальчишки все в восторге от Исаака, а мне деда жалко: говорили, что ему больше ста лет. Видя, что никакие угрозы не помогают, дед идет звать попа. Когда появляется поп, Исаак слезает с дерева и спокойно идет к нам. Вот какой был Исаак Гольдберг с нашей улицы.

Однажды, он рассказал нам, что его отец – лунатик. Когда ночью светит полная луна, он ходит по самому краю крыши и никогда не падает, потому что его притягивает луна. В это время нельзя его будить, иначе он сразу проснется, упадет и разобьется насмерть. Мы все верили его выдумке, а я ясно представлял его отца в белом нижнем белье, ступающего по самому краю крыши. Учился Исаак плохо, но не потому, что плохо соображал, а просто потому, что не хотел учиться. И учителя тоже не могли с ним сладить. С большим трудом его дотянули до четвертого класса. Характер его не терпел никакой власти над собой. И смелость свою он готов был показывать везде, при любых обстоятельствах.

Однажды, набегавшись, мы с Исааком решили вначале пойти к нему домой, а потом – ко мне. Еще с порога он закричал на весь дом:

– Кушать!

– Подожди минутку, – говорит ему мама тихим добрым голосом, – сейчас сварится обед, и будем кушать.

– Кушать! – кричит он еще громче, как будто не слышит мамину просьбу.

– Хоть бы Леву постеснялся, – говорит ему старшая сестра Ася, – мама ведь тебе сказала, что обед еще не готов.

– Кушать хочу! – кричит Исаак, как будто ему никто ничего не объяснял. Он был неукротим как на улице, так и дома.

– Исаак, перестань с ума сходить, – говорит ему другая сестра Геня, – отец лежит больной, а ты раскричался. Иди лучше крысу поймай в комод.

Услыхав про крысу, он сразу же забывает о еде.

– Опять залезла, – говорит он и спешит в соседнюю комнату, где лежит больной отец, – теперь она от меня не уйдет, – говорит он мне, – в прошлый раз она выскользнула у меня из рук.

Его отца без конца сотрясает тяжелый глухой кашель, и он откашливает мокроты в стоящий рядом с кроватью большой горшок. От одного вида этого горшка меня бросает в тошноту, и я стараюсь не смотреть на него. Небритый, очень худой, с большими глазами в красных жилках, отец производит страшное впечатление.

Я иду за Исааком к комоду, который стоит в глубине этой большой комнаты. Он осторожно, чуть-чуть выдвигает верхний ящик и внимательно смотрит в образовавшуюся щель.

– Здесь ее нет, – говорит он и выдвигает средний ящик. – Здесь ее тоже нет.

Выдвинув нижний ящик, он тут же задвигает его обратно.

– Вот где она сидит!

В это время в комнату входит небольшая кошка с вытекшим глазом.

– Это она с крысой боролась, – говорит Исаак, – крыса ей глаз выцарапала, сейчас мы эту крысу поймаем.

Он одевает на руку старую шапку, выдвигает ящик настолько, чтоб туда пролезла рука с шапкой, и, глядя в щель, начинает ловить крысу. Я слышу, как крыса мечется по ящику, уходя от руки Исаака, а он спокойно переводит руку то в один край ящика, то – в другой, приговаривая:

– Не уйдешь, все равно поймаю.

Я ужасаюсь его спокойствию, я бы так никогда не смог. Крыса вызывает у меня чувство омерзения. Говорят, что укус крысы может вызвать бешенство. Я потихоньку отодвигаюсь от комода. Как это Исаак их не боится? Наконец, он кричит торжествующе:

– Поймал!

Мама и сестры входят в комнату. Больной отец даже перестал кашлять. А Исаак накрыл крысу шапкой и крепко прижал ее к стенке. Держа ее, он полностью выдвигает ящик, находит хвост крысы и наматывает его на указательный палец, и отбросив шапку в сторону, поднимает крысу на всеобщее обозрение. Все ужасаются. Крыса действительно большая. Больше кошки. Поэтому кошка не сладила с ней. Крыса выгибается всем телом, норовя укусить Исаака за руку, но достать руку так и не может. Кошка стоит, выгнув спину и ощерив рот, издает воинственные звуки.

– О боже, какая мерзкая тварь, – говорит Ася, – вынеси ее поскорее на улицу, – просит она брата.

Но Исаак не спешит. Ему, наверно, нравится смотреть на тщетные попытки крысы ухватить его за руку зубами. Больной отец хотел что-то сказать, но сильно закашлялся и с досады махнул на Исаака рукой. Только тогда Исаак понес крысу во двор. Во дворе он подошел к столбу от повалившихся ворот и, размахнувшись, ударил крысу о столб. Но крыса продолжала извиваться. Тогда он ударил ее о столб еще сильнее. Крыса обмякла и повисла без движений. Исаак для верности ударил ее еще раз и, пройдя вглубь огорода, бросил ее на соседний двор.

Войдя в дом, где уже был накрыт стол к обеду, Исаак сразу сел за стол обедать.

– Ты что, – ужаснулась Ася, всплеснув руками, – иди руки помой с мылом! Исаак пошел мыть руки.

– Садись, Левочка, с нами обедать, – обращается ко мне тетя Маня, мама Исаака.

– Спасибо, я не хочу, – отказываюсь я, хотя есть очень хочу. Но все равно я бы не смог есть. Горшок с мокротами и мертвая крыса все еще торчат перед моими глазами. Я удивляюсь, как они могут после этого спокойно кушать?

– Я пошел, – говорю я Исааку.

– Подожди, – говорит он, – я сейчас поем, и пойдем вместе, как договорились.

– Мне надо домой, – говорю я и быстро убегаю на улицу.

И почему я такой впечатлительный? Как увижу что-то неприятное, так долго не могу освободиться от этой картины. С Исааком мы были часто в самых лучших отношениях. Наверно, это от того, что и сестры наши дружили, а мама Исаака считала нашу семью чуть ли не своей родней, так как моя мама одно время жила у них на квартире. Тогда же и родился в их доме мой брат Лазарь. Тетя Маня всегда радовалась, когда мы с Исааком были дружны. Зная неумный и буйный характер своего сына, она часто предупреждала Исаака:

– Смотри, Леву никогда не обижай, он сирота.

Слушаться старших было не в характере Исаака, но где-то глубоко в его сознании все-таки хранилось предупреждение мамы. Поэтому он обижал меня меньше, чем других, и после незначительных стычек мы мирились к обоюдному удовольствию. И как тут было не мириться, если нам некуда было деваться друг от друга. Все-таки живем на одной улице, да еще учимся в одной школе и в одном классе.

И тем не менее, нашей дружбе пришел неожиданный конец. А все произошло из-за пустяка. Однажды я пошел к колодцу за водой и, повесив ведро на крючок у трубы, вдруг увидел, как во двор вихрем вбежал с ведром в руке Исаак и еще издали закричал:

– Я – первый! Я – первый!

Это было настолько нелепо, что я не обратил на его крики никакого внимания и спокойно стал качать воду. Он подбежал, снял мое ведро, уже на треть наполненное водой, и повесил свое, приговаривая:

– Я первый накачаю воды!

– Какой же ты первый, – говорю я ему, – если я был уже у колодца, когда ты только появился у калитки за пятьдесят метров до колодца.

И я снял его ведро и повесил свое. Только я начал качать воду, как он опять снял мое ведро и повесил свое, повторяя упрямо:

– Я первый наберу воды!

Он стоит и смотрит на меня, улыбаясь, своими спокойными нахальными глазами, считая, что он должен быть первым на правах сильного. Я до крайности возмущен такой несправедливостью и опять хочу заменить его ведро своим, но он зажал рукой дужку своего ведра с крючком на трубе колодца и не дает мне повесить мое ведро. Вконец рассердившись на такое нахальство, я отталкиваю его от колодца и, сняв его ведро, хочу повесить свое, но он подскочил ко мне и оттолкнул меня вместе с ведром. Это вывело меня из себя. Я бросил свое ведро на землю и опять оттолкнул его от колодца. И тут он ударил меня кулаком в лицо.

Это был первый удар по лицу за всю мою маленькую жизнь. На удар я ответил ударом кулаком в грудь. В лицо бить я не решился. Второй его удар пришелся мне по носу. Так как нос у меня был поврежденным, то естественно, что из носа сразу же потекла кровь. Это возмутило меня до крайности, и я, потеряв контроль над собой, не обращая внимания на его удары, стал бить его куда попало без остановок. Мой напор был настолько неожидан для него, что он вдруг прекратил драться, приговаривая: "Ладно, ладно, ты первый!" Но я так разгорячился, что продолжал наносить удары в его широкую грудь.

– Перестань, – сказал он угрожающе, – а то я тоже могу рассердиться.

Эта угроза, наконец, подействовала на меня, и я перестал его колотить. Накачав в ведро воды, я ушел домой.

Все внутри меня ликовало и торжествовало от восторга. Наплевать на разбитое в кровь лицо. Все это заживет и исчезнет. Но зато я впервые на нашей улице дал отпор всесильному Исааку. Это чувство победы осталось у меня в памяти на всю жизнь. Я был безмерно рад этой случайной драке. Я вырос в собственных глазах. Я почувствовал, что тоже на что-то способен, что меня голыми руками не возьмешь. Я всем с гордостью рассказывал, как я подрался с Исааком и как Исаак, наверно, впервые в жизни отступился.

Но через некоторое время драка эта показалась мне очень неприятной, и победа моя – довольно сомнительной. Здравомысленно рассудив, я понял, что Исаак дрался со мной снисходительно, без особой злобы, иначе бы он разукрасил мое лицо более капитально. И именно эта мысль, что он меня все-таки пожалел, вызвала у меня еще большую обиду на него, так как победа моя была неполной, не настоящей. Я стал его сторониться. А если мы случайно встречались на улице, то проходили мимо, как чужие. Часто при встречах я ловил его виноватый взгляд. Я чувствовал, что он глубоко сожалеет о содеянном, но идти на примирение мне что-то мешало. В то время я не мог бы объяснить, в чем заключалось это что-то. Скорее всего, в моем сознании засела глубокая обида, что он нарушил неписанный в нашей жизни закон, что сирот обижать нельзя.

Так или иначе, но дружить больше нам уже не пришлось. Вскоре Исаака исключили из школы за постоянное нежелание учиться, и наши пути совсем разошлись. Встретились мы с ним только через десять лет, но об этом я расскажу в дальнейших своих воспоминаниях.

От нашего дома начиналась Первомайская улица. Это была коротенькая улица от улицы Либкнехта до улицы Урицкой, пересекавшая две улицы: Циммермановскую и Советскую. Но начало этой улицы было сильно заужено, очевидно, по вине богача Михеева, который прихватил часть улицы, чтобы шире был его двор, и поэтому взрослые называли этот переход от нашего дома до главной улицы города переулком. Его все считали глухим переулком, потому что в нем не было ни одного домашнего крыльца, только две дворовые калитки. По обеим сторонам переулочка росли могучие тополя, кроны которых переплетались высоко над домами, образуя как бы зеленый туннель. Солнце сюда почти не проникало, и в нем преобладали серые и темные тона, как в густом лесу. Переулок был самым страшным местом для мамы. Как она выражалась, душа у нее уходила в пятки, как только она входила ночью в наш темный переулочек. Страхи ее, конечно, были напрасными и чисто женскими. Не было там ни одного опасного случая, но, как я уже объяснил, переулочек все-таки имел довольно мрачный вид, а ночью – тем более.

На правом углу переулочка и улицы Циммермановской стоял двухэтажный деревянный дом, окрашенный зеленой краской. Наверно, богач Михеев обожал зеленый цвет, потому что все свои дома красил именно этой краской. Дом был большой, угловой, с главным выходом на Циммермановскую. Теперь это был многоквартирный коммунальный дом. В этом доме на втором этаже жила красивая и добрая девочка Тамара Медведева. Она жила вдвоем с отцом. Куда девалась ее мать, я так и не понял, но решил, что она ушла от них потому, что отец Тамары своим видом внушал только страх. Я удивлялся, как Тамара не боялась жить с ним в одной квартире.

Был он мужчина высокий, здоровый, с вечно угрюмым лицом. Волос черные, как крыло ворона, брови густые, усы растрепанные, какие-то дикие. Смотрел он исподлобья такими злыми глазами, что не дай бог встретиться с ним ночью. Работал он милиционером. Возможно, что он был недоволен своей судьбой, но злился он почему-то на всех окружающих, как будто все они были виноваты в том, что он не достиг своих желаний. Взрослые говорили про него, что он не человек, а зверь, и считали плохой приметой, если он встречался им на пути.

Тамара, его дочка, была полной противоположностью отцу. Ее милые и нежные черты лица привлекли мое и Бориса Драпкина внимание. Она всегда играла одна в нашем переулочке со своими куклами и разнообразными игрушками. Зная нрав ее отца, мы боялись к ней подходить. Но ее доброе личико и разнообразие игрушек сделали свое дело, и мы с Борисом стали все чаще составлять ей компанию в игре. Игрушек у нее было много, так как каждый раз она приносила другие. Она с большой радостью давала их нам для игры, а сама играла с куклами. Одна из них была похожа на Тамару. Нам было приятно с ней играть, и ей тоже было хорошо с нами, потому что каждый раз, когда мы расходились по домам, она неизменно спрашивала:

– А завтра вы придете со мной поиграть?

Мы с готовностью обещали прийти. Тамара была моложе меня, но своим ростом она не уступала мне, а мысли и рассуждения ее иногда казались нам взрослыми. Так, однажды она сказала мне, что я еще ребенок, а Борису, что он почти мужчина.

Конечно, Борис старше меня, но зато он намного слабее меня, но Тамара о моей силе и не думала. Она сделала такой вывод потому, что у Бориса уже пробивались усики, а у меня их еще не было. Борису ее замечание очень польстило. Он и вправду решил, что он уже мужчина и, как положено мужчине, тут же влюбился в Тамару. Я же влюбляться не собирался, но быть мужчиной тоже хотел. Как же это сделать? Я думал об этом целый день. С этой мыслью я и уснул.

А утром мне пришла в голову счастливая идея. Я часто видел, как мама чернит свои брови угольком из печи, и тоже решил таким угольком нарисовать себе усы. Так я и сделал. Перед зеркалом я нарисовал тоненькие усики и вышел на улицу, поджидая Тамару. "Теперь-то она не скажет, что я еще ребенок", – думал я.

Подошел Борис. Он тоже вышел на встречу с Тамарой. Увидев мои усики, он сказал:

– Усы тебе очень идут, но Тамару люблю я, а не ты.

Я рассмеялся.

– Влюбился, – говорю я, – разве ты взрослый? Сколько тебе лет? А сколько Тамаре лет, ты не помнишь? Ну и влюбленный.

Я опять рассмеялся. И как тут было не смеяться, если его нельзя было даже представить рядом с Тамарой. Это же день и ночь. Он – худенький, болезненный, полуслепой, с двойной нижней губой, и рядом Тамара – красивая девочка с кудрявой головкой, черными бровями, румяными щечками, красными маленькими губками и черными большими глазами, оттененными черными ресницами. Ну, сами скажите, как их представить рядом и не удержаться от смеха? Но Борис не обратил внимания на мои насмешки и серьезно сказал:

– Тамара мне очень нравится, и я ее очень люблю!

– Америку открыл, – ответил я ему с насмешкой, – губа у тебя не дура, хоть и толстая. Тамара – девочка красивая, в нее все могут влюбиться, не только ты один.

Тут я вспомнил взгляд ее отца и сразу же усомнился в такой возможности. А Борис серьезно сказал:

– Ты, Лева, мне не мешай. Я ее люблю больше всех, а ты ее не любишь совсем.

Я хотел его остудить, напомнив ему об ее отце, но в это время в переулок вышла Тамара без кукол и без игрушек. Мы пошли ей навстречу. Увидев мои усики, Тамара вдруг закатилась веселым смехом. Такая смеющаяся, она выглядела еще более привлекательной.

– Ой, не могу, – говорила она сквозь смех, – вот это настоящий мужчина, ха-ха, ха-ха.

Я и не думал обижаться, потому что такая она мне еще больше нравилась. И мама нам всегда говорила, что когда люди смеются, то это очень хорошо. Она тоже никогда не обращала внимания, когда знакомые смеялись над ее произношением. А Борис почему-то застеснялся и молча смотрел в землю.

Насмеявшись до слез, Тамара предложила нам идти к ним.

– Пойдем, мальчики, к нам домой, я вам покажу все мои игрушки.

– А дома у вас никого нет? – спросил я, думая об ее отце.

– Никого, – ответила она, – отец на работе, а я всегда одна. Мама куда-то уехала и долго не возвращается.

Если бы не Борис, я бы, наверно, не пошел к ним. Но Борис сразу согласился, и мне уже неудобно было отступать. Чтобы попасть к ним в квартиру, надо было подняться по наружной деревянной лестнице.

Квартира у них состояла из одной большой комнаты. Тут было все: и печь, и плита, и кровать, и шкаф, и стол с тремя стульями. Стены пустые – ни фотографий, ни картин. В комнате царил полумрак, потому что солнечные лучи не могли проникнуть сюда из-за густых вет-

вей тополей, которые росли в переулке. Одним словом, комната была не из веселых. Тамара подвела нас к темному углу, который был весь завален игрушками. Каких только игрушек здесь не было. Такого богатства игрушек я еще ни у кого не видел. Всевозможные машины, кубики, пирамидки, конструкторы, куклы. Если не считать кукол, то эти игрушки нужны были больше мальчику, чем девочке. Очевидно, что ее отец не задумывался о том, кому он их покупает, действуя по поговорке: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. У меня глаза разбежались, и я не знал, с какой игрушкой поиграть раньше.

Тамара, наверно, была очень довольна, что мы удивлены ее богатством и, естественно, нашим посещением. Одной ей играть давно уже надоело. Поначалу я играл с машинами, а когда они надоели, взял строительный конструктор и стал складывать домики. Борис смотрел, как Тамара одевает куклы, и хвалил то куклы, то одежду. Сколько времени мы у нее пробыли, я не знаю. Мы были так заняты игрой, что совершенно не слышали и не заметили, как в дверях появился ее отец в своей милицмейской форме.

– А, жиденята здесь, – сказал он тихим, но злобным голосом и, вдруг резко повысив голос, крикнул, – вон отсюда!

– Папа! – воскликнула жалобным голосом Тамара и умоляюще посмотрела на него своими большими глазами. Но отец даже бровью не повел.

– Вон! И чтоб духу вашего здесь никогда не было! – крикнул он опять, продолжая стоять у дверей.

У меня душа в пятки ушла, как только он появился, а теперь я стоял и не знал, что делать. Я бы с удовольствием сразу убежал, но он загородил всю дверь своей мощной фигурой. После второго его окрика мы с Борисом тихо пошли к дверям, ожидая от него всякой пакости. Я очень боялся, что он спустит нас кувырком с высокой лестницы, а то еще, чего доброго, двинет своим волосатым кулачищем и поминай, как звали. Но он посторонился и только грозно сказал:

– Чтоб я вас больше здесь не видел!

Когда мы вышли в переулок, я с облегчением вздохнул, как будто из темного царства попал в светлое. После пережитого страха пришло радостное настроение, что все благополучно закончилось. Освободившись от страха, я спрашиваю Бориса:

– Как ты, здорово испугался?

– Да, страшный отец у нее, – отвечает он.

– Теперь ты будешь любить Тамару?

Борис молчит. Он по-настоящему влюблен в Тамару, но что теперь будет с его любовью, он не знает. И разлюбить нельзя, и продолжать любить опасно. Любовь – сильная вещь. Если она проникает в сердце, то так просто ее обратно не вырвешь. У меня после этого случая сразу пропала всякая охота встречаться с Тамарой. А Борис продолжал каждый день дежурить в переулке, надеясь, что Тамара, как и прежде, выйдет поиграть, но она в переулке больше не появлялась.

Да и Борису скоро стало не до нее. После семи классов он поступил в Рогачевский двухгодичный учительский институт и уже не имел свободного времени, чтобы играть с Тамарой в куклы. Хоть и было ему только пятнадцать лет, но с детством пришлось распрощаться. Его ждало место учителя в одной из школ белорусской деревни...

Как-то в середине лета мама пришла с работы и сказала:

– Мне на работе предлагают путевку в детский санаторий. И если ты поедешь, то я ее возьму. Поедешь?

– А куда? – поинтересовался я.

Дело в том, что в пионерском лагере я уже был однажды, но он мне совсем не понравился. Коротко я расскажу вам об этом. Сначала все шло хорошо. Нас собрали на стадионе рядом с кинотеатром. Там играл духовой оркестр. Всех построили на беговой дорожке, потом выступили с речью мужчина и женщина. Нас было много, а родителей еще больше. Все было

торжественно и интересно. Потом во главе с оркестром мы пошли пешком в лагерь. Говорили, что пионерский лагерь будет в нашем лесу.

В кавалерийском полку был свой духовой оркестр, а в пожарной команде – свой. И как только раздавались по Циммермановской звуки духового оркестра, так все от мала до велика сбегались со всех улиц посмотреть, послушать и проводить его. Так случилось и тогда, когда духовой оркестр сопровождал нас по главной улице до днепровского моста. Со всех улиц и переулков прибежали взрослые и дети и, стоя на тротуарах, сопровождали взглядом нашу колонну пионеров, идущих в лагерь. Это было интересно. Раньше я бегал смотреть на других, а теперь все бежали смотреть на меня. Гордость и радость переполняли мою грудь.

Когда я поравнялся с нашим Первомайским переулком, то увидел всех наших мальчишек и своих сестреночек: Соню и Сашу. Они меня тоже увидели и помахали мне руками, но я почему-то постеснялся ответить им тем же. У моста оркестр встал в стороне от дороги, а мы под звуки марша пошли по мосту. Когда мы прошли мост, оркестр затих, и мы некоторое время шли молча. Затем вожатые организовали пение песен. Причем, разные отряды пели разные песни.

Мы шли по знакомой мне дороге к нашему лесу. Но идти в строю оказалось гораздо труднее, чем в одиночку. Когда мы шли в лес сами, то шли по обочине шоссе, по мягким тропинкам, а в строю пришлось идти по круглым камням, и это было неудобно и трудно. Многие пионеры натерли и побили себе ноги, и им пришлось снять сандалии и идти по обочине. Пионерский лагерь оказался близко, сразу же за домом лесника. Это километра четыре от города, а может быть чуть больше.

Лагерь состоял из двух длинных барачков с маленькими окошками, кухни и сарая для склада, а также одного длинного летнего навеса, под которым были намертво вкопаны длинные столы и скамейки. Под навесом была столовая. В стороне от построек была обширная площадка, в центре которой стоял высокий шест. На этой площадке проводились утренние и вечерние линейки. Весь лагерь был огорожен высоким штакетником. Нас распределили по барачкам, познакомили с вожатыми и строго-настроено предупредили, чтобы мы никуда не уходили за пределы лагеря. В барачке стояло множество железных кроватей с низкими спинками в четыре ряда, проходы были узенькие, тумбочек не было. Только у дверей стоял столик и два стула.

При распределении кроватей я оказался рядом с Ароном Шпицем. Мы вместе учились в третьем классе школы №6. Именно здесь, в пионерском лагере, мы подружились с ним на всю жизнь. Это была не такая дружба, которая была у меня с соседями по нашей улице. Там мы то дружили, то ссорились, то сходились, то расходились. С Ароном мы за всю жизнь ни разу не поссорились. У него было доброе сердце и уравновешенный характер. Он никогда не задавался и не доводил дело до конфликтов. С ним всегда было хорошо, и я иногда тоже шел на уступки, боясь потерять дружбу с ним. Если бы не было рядом Арона Шпица, я бы убежал из лагеря домой.

Целыми днями мы слонялись по лагерю без дела. Некоторые ребята собирались компаниями и без спроса уходили в лес. Девочки целыми днями прыгали на своих скакалках. По выходным дням к нам приходили родители и родственники. Это были наиболее интересные дни. Но они проходили быстро и незаметно. Иногда к нам приезжала кинопередвижка.

Пожалуй, интереснее всего было в столовой. Напротив меня и Арона сидела девочка, которая все время моргала глазом. Я понимал, что это у нее какой-то тик, но Арону я сказал, что эта девочка все время подмигивает ему. Оказалось, что эту девочку зовут Зиной Рабинович, и Арон давно знает ее, потому что ее мать работает с отцом Арона в одном магазине. Но делать было нечего, и я каждый раз подначивал его:

– И все-таки она тебе подмигивает как знакомому.

Арон не сердился.

Один раз нас построили и повели в поход. Отошли от лагеря на несколько километров, расположились на лесной лужайке и стали петь песни. А к обеду вернулись. Так и прошел месяц. Впечатление от лагеря осталось невеселое...

Вот почему я спросил у мамы, что это за путевка и где находится этот детский санаторий.

– Где-то за Могилевом, – ответила мама.

– Возьми эту путевку, – сказал я маме, – может быть там будет интересно.

И вот я еду в сторону Быхова опять, но уже в компании еще четырех мальчиков, одному из которых поручено быть старшим, так как он действительно старше остальных. Станция в Быхове напомнила мне давнишнюю поездку. Тот, кто здесь не был, никогда не подумает, что это длинное кирпичное здание со множеством окон, но без дверей, и есть станция. Он скорее всего подумает, что это какие-нибудь мастерские или, в лучшем случае, депо. Но я здесь уже был и точно знаю, что это станция, а вход на эту станцию находится с обратной стороны. Удивительно, но сам Быхов так же нелепо построен, как и его станция.

Хорошо ехать в компании: интересно, весело и беззаботно. Время бежит быстро. Вот и Могилев. Станция похожа на дворец: красивая, народу много. Но только мы вышли из вагона, как нас сразу же нашел немолодой, но интересный мужчина. Очевидно, что кто-то сообщил ему телеграммой, в каком вагоне мы находимся. Он быстро провел нас через привокзальную площадь и попросил залезть в кузов грузовой машины, где была широкая скамейка. Он сказал шоферу, куда нас отвезти, и тут же вернулся на вокзал. Мы поехали, подскакивая на ухабах.

Я очень жалел, что мне не пришлось побывать внутри станции «Могилев». Дело в том, что мне кто-то говорил, что крыша станции стеклянная, а я никогда не видел таких крыш, и очень хотел посмотреть, как она выглядит. Так получилось, что аккуратность встречавшего нас человека помешала нам увидеть стеклянную крышу.

Дома в Могилеве оказались почти такие же, как и в Рогачеве, только они стояли очень тесно с маленькими дворишками. Дома в основном деревянные, но встречались и каменные особняки и даже каменные двухэтажные дома. Меня особенно поразили улицы, круто спускавшиеся в глубокие овраги. По одной такой улице нам пришлось ехать. Мы скатывались по длинному крутому спуску. Даже страшно было. А вдруг тормоза у машины не сработают? Тогда прощай наши головы. Но вот мы благополучно спустились до самого дна оврага и оказались между двух высоких гор. И самое интересное то, что весь этот крутой спуск густо застроен домами. Как ходят здесь старики – не представляю. Подниматься в гору на машине гораздо спокойнее для души, хотя двигатель натужно гудел, и машина очень медленно, но неуклонно, ползла вверх.

Скоро нас привезли к дому заведующего этим детским домом отдыха. Это был большой частный дом. Просторные комнаты были со вкусом обставлены красивой мебелью. Везде бросалось в глаза множество дорогих сувениров. Хозяйка, очень милая, приятная женщина, угостила нас всех бутербродами с колбасой. Один только я отказался от угощения. Хозяйка объяснила мне, что придется еще долго ждать, пока не подъедут другие группы, и поэтому надо перекусить. Но я все равно отказался. А она очень удивилась моему отказу. Она не знала, что для меня день без еды – чистый пустяк. Так я и провел почти весь день без еды, но вот собрались все группы, и нас на автобусе повезли в дом отдыха.

Дорога в дом отдыха была довольно интересной. Сопровождавший нас мужчина показывал нам холмы и памятники, где были похоронены русские солдаты, сражавшиеся с полчищами Наполеона еще в 1812 году. Жаль было, что мы не могли остановиться и прочитать надгробные надписи. Дело шло к вечеру, и мы очень торопились. Когда мы приехали в дом отдыха, уже начались сумерки. Место здесь было очень красивое. Двухэтажный белый дом с колоннами тоже радовал глаз. Наверно, это – бывшая помещичья усадьба. Но больше всего мне понравились ели. Их здесь было много. В нашем лесу ель встретишь редко, сплошные сосны, а тут, наоборот – сплошные ели. Не знаю, как вам, а мне они всегда казались сказочными деревьями.

Во-первых, они похожи на китайские пагоды, а во-вторых, от них исходит какое-то спокойствие и уют. Можно сказать, что мне здесь понравилось с первого взгляда.

Я попал в комнату нижнего этажа. Нас здесь собралось двенадцать мальчиков, и каждому – своя кровать, своя тумбочка, свой табурет. Половина комнаты была свободна. У окна стоял столик с двумя стульями, а на столике стоял графин с водой, ваза с цветами. Около дверей у стены стояло пианино. Нас повели в столовую и накормили вкусным ужином, а затем предложили отдыхать.

В такую приятную обстановку я попал впервые. После ужина все сразу легли спать: утомились за целый день, проведенный в дороге.

Утром я проснулся поздно, но тем не менее, раньше других. Комната была залита солнечным светом. Теперь простор комнаты еще больше обозначился: потолки высокие, окна большие. Да, просторно жили здесь люди. Не то, что наши дома с низкими потолками и маленькими окошками. Была тишина. Я вышел в коридор и на улицу. Как хорошо было вокруг. Весь двор был окаймлен вместо забора могучими елями. Я решил обойти эти ели вокруг усадьбы. С двух сторон к дому отдыха примыкал лес. Позади дома был небольшой заросший пруд. На нем росли те же белые кувшинки и желтые кубышки, как у нас в Старике и в лесной Комаринке. С четвертой стороны было небольшое поле, на котором росла рожь. Рядом с полем уходила вдаль грунтовая дорога, вдоль которой росли молодые березки. Все было прекрасно. Все радовало глаз. Прямо не дом отдыха, а рай земной.

Когда я вернулся в комнату, все уже проснулись и бегали умываться. Умывальники висели во дворе в молодом ельнике. Настроение у всех было отличное. Но больше всех разговаривал высокий, широкоплечий юноша с удивительно редкими зубами. Ему было лет семнадцать, и он выглядел среди нас взрослым. Звали его Вадимом. Он-то и стал нашим постоянным затейником. И надо признаться, что в этом отношении нашей комнате очень повезло, так как все отдыхающие были здесь предоставлены самим себе. А этот Вадим оказался просто кладом для нас. Его редкозубый рот не закрывался ни на минуту. Откуда только брались бесконечные потоки шуток, анекдотов и всевозможных историй. Потом выяснилось, что он отлично играет на пианино. Я тоже хотел научиться играть на клавишах, но он и близко не подпускал меня к пианино. И всем наказал пианино не трогать. Он боялся, что мы расстроим инструмент, и тогда на нем невозможно будет играть.

Вадим часто давал нам концерты из классического репертуара. Тогда к нам в комнату несмело, по одному, входили мальчишки и девчонки из соседних комнат. Когда он завершал какую-нибудь сонату, все охотно хлопали ему и просили сыграть еще что-нибудь. Потом он рассказал нам, что окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Везет же людям! Сколько я просил маму, чтобы меня отдали в музыкальную школу, но мама неизменно отвечала со вздохом: "Я бы с удовольствием, но у нас денег не хватит". А Вадиму что! Он у родителей один, а отец у него – крупный инженер.

Вадим приглашал в нашу комнату девчонок из соседних комнат и играл им вальсы, а они танцевали. Вадим тоже умел танцевать, но некому было играть на пианино.

Некоторые его шутки граничили с хулиганством. Так он однажды напоил кошку валерианой, и она затем бегала по коридору с ужасным мяуканьем. Прибежали девочки и стали стыдить нас за издевательство над кошкой. Вадиму это не понравилось, он решил и им как-то насолить. Взяв остатки валерианы на окне, он облил ею ручки дверей комнаты девочек. И тогда девочки пожаловались на него директору. Вадима вызвали к директору и целый час наставляли его на путь истины. Вернулся он злой и раздраженный, повторяя одну и ту же фразу: "Что они, шуток не понимают, что ли?"

После этого он как-то присмирел, перестал нас забавлять и забросил игру на пианино. И девочки больше к нам не ходили. И стало у нас в комнате непривычно тихо. Пришлось мне уединяться на лоне природы, так как с мальчишками дружбы не получалось.

Долгие часы я проводил под самой большой елью, лежа на траве и наблюдая за белыми облаками в синем небе. Это – очень интересное занятие. Надо только уметь наблюдать и совсем немного воображать. Пока облака передвигаются по небу, с ними происходят удивительные превращения. По небу плывут не просто облака, а бесконечная вереница всевозможных зверей. И кого там только нет: и бурые и белые медведи, и лоси, и зубры, и бегущие волки, и лисицы, и маленькие ежи. Одним словом, все звериное царство. А захотите и увидите орлов с широкими крыльями или даже археоптерикса. Все зависит от вашего воображения. Очень интересное занятие. Один раз я из-за этого опоздал на обед, и разносчица сердилась на меня.

Хорошо, что подошли последние дни пребывания в этом доме отдыха, а то становилось скучновато. Вадим куда-то исчезал на целый день, и мы его видели только по вечерам перед сном. Жаль конечно, что он так отрицательно воспринял воспитательную беседу директора.

Обратный путь домой нам пришлось проделать ночью. Наш поезд прибыл в Могилев где-то за полночь, а в Рогачеве мы сошли в пять часов утра. Утро было уже в разгаре, но абсолютное большинство людей еще спало. Только хозяйки с коровами стояли у калиток в ожидании пастуха. Дома моему приезду очень обрадовались. Все говорили, что я очень хорошо поправился и здорово подрос. Наверно, они были правы. Хорошее питание при строгом режиме делают свое дело. К этому надо еще добавить, что я находился как раз в том возрасте, когда мальчишки стремительно обгоняют по росту девчонок. Это же закон природы.

В тот же день я неожиданно столкнулся с Дорой, старшей сестрой Бориса Драпкина. Я выходил из дома, а она заходила к нам в дом. Она мельком глянула и, как всегда, хотела пройти мимо, но вдруг остановилась и округлила на меня свои синие глаза:

– Ле-е-ва, – растянула она мое имя, – какой ты стал красивый парень!

Я только хмыкнул и вышел на улицу. Ее мнение меня мало интересовало, потому что она была уже взрослой девушкой, и вся наша улица знала, что она по уши была влюблена в Лешку Маслака. Но ее возглас и, особенно, взгляд лишний раз убедили меня, что я действительно стал лучше, чем был. Ведь раньше Дора проходила мимо меня, не обращая на мою внешность никакого внимания.

У наших соседей по двору Драпкиных было четверо детей: трое девочек и один мальчик. Отец, дядя Ефим, был сапожником и работал в артели «Прогресс». Мужчиной он был крупным, но тихим и добрым. Он редко сердился, но в гневе был страшен. Брился он очень редко, и поэтому у меня осталось такое впечатление, что он вечно ходил небритым. Именно ему я всегда читал свои сочинения. Другие плохо отзывались о моих первых пробах в литературе, а дядя Ефим всегда похваливал. По-моему, он всегда относился лучше ко мне, чем к собственному сыну. Мои единственные сапоги, которые я пронес от четвертого до десятого класса, он всегда ремонтировал бесплатно. Мама ему даст деньги за починку, а он отказывается, говоря:

– Грех брать деньги у сироты.

Хороший он был человек, но при этом – слабохарактерный. Командовала в семье его жена, тетя Рая, полная противоположность ему. Она хоть и была полуслепая, но зато очень сообразительная. Недаром трое из четырех ее детей были отличными математиками. Взрослые говорили, что они уродились в маму, хотя и мать, и отец были безграмотные.

Так вот тетя Рая занималась торговлей. Именно она приносила в семью тот необходимый доход, который обеспечивал им безбедную жизнь, так как дядя Ефим зарабатывал слишком мало для того, чтобы одевать и кормить четверых детей. Тетя Рая занималась в основном мелкой торговлей. Она пекла белые сладкие булочки и продавала их на базаре. Она сама часто говорила, что никакого дохода от этих булочек она не имеет. Единственно только то, что дети кушают эти булочки вволю. А булочки ее были действительно вкусные. Борис часто делился ими со мной. На базаре ее булочки быстро разбирали. Чтобы привлечь внимание к своему товару, все продавцы на базаре выкрикивали наименование своего товара. Тетя Рая тоже кричала, но плохо зная русские слова, мешала их с еврейскими словами:

– Кому булэлэ? Купите булэлэ!

Слово «булэлэ» по-еврейски обозначает булочки. Евреи смеялись над ней, но булочки все же разбирали. Однако, слово «булэлэ» прилепилось к ней, как кличка. Никто не говорил, что тетя Рая идет, а все говорили, что идет «булэлэ». Постепенно ее кличка перешла и на всю семью. Я знаю, что Борис очень переживал из-за этого, но на людской роток не накинешь платок. Приходилось терпеть. Удивительно, но по этой кличке их знал весь город. Если я говорил на другом конце города про Бориса Драпкина, то мне говорили, что не знают такого. Но стоило мне сказать, что это сын «булэлэ», как все его сразу вспоминали.

Конечно, не только продажей булочек мать Бориса кормила всю семью. Главный доход у нее шел от яблок. Она закупала у кого-нибудь сад на корню. Охраняла его до осени, а затем перевозила урожай в свой погреб. А погреб у них был большой, на весь дом. Там они укладывали яблоки в ящики с соломой и хранили их до зимы. Зимой тетя Рая продавала их втридорога и этим поддерживала благополучие своей большой семьи.

Соседи все время удивлялись ее изворотливости. Многие говорили: "И как только она не проторгуется, ведь почти слепая". Я сам много раз наблюдал на базаре, как она подносила монетку к самому глазу, чтобы удостовериться в ее стоимости. Иногда хулиганистые мальчишки обманывали ее, вручая устаревшую монету. Тогда она поднимала ужасный крик на весь базар, проклиная всех обманщиков на всем белом свете.

Часто ее выручала младшая дочь Хана, с которой я учился в одном классе. Учительница по математике Финкельштейн говорила про Хану, что это растет новая Ковалевская. Математические задачи Хана решала быстрее и лучше всех наших отличников.

Надо сказать, что Драпкиным почему-то страшно не везло. До сих пор я удивляюсь, как стойко они выдерживали все те беды, которые выпадали на их долю ежегодно. Никого на нашей улице не обворовывали так часто, как их. Уж очень беспечно они жили. Ночью спали с открытыми окнами. Забывали как следует запирать погреб. Кроме того, каждый год к ним приходили с обыском милиционеры и почему-то забирали какие-то новые вещи. Моя мама не выдержала бы всего этого. Один раз у нас случилась кража, и то мама чуть в обморок не упала. Тетя Рая во всех кражах обвиняла соседей, братьев Клетецких, но никаких доказательств у нее, конечно, не было. Больше того, Федя Клетецкий очень часто заходил к ним в гости и часами разговаривал с дядей Ефимом. Разве можно было о нем подумать плохое? Но такой уж характер у тети Раи. Она всегда, как на базаре, всех обвиняет, всех проклиняет и на всех кричит.

Двор Клетецких соседствовал с двором Драпкиных. Это была вторая после Гольдбергов многочисленная семья на нашей улице. Восемь детей было у тети Анели Клетецкой: четыре дочери и четыре сына, и все один к одному: высокие, здоровые и работающие. Муж Анели, Федор Клетецкий, умер в сорокалетнем возрасте в 1915 году, и тетя Анеля поднимала детей одна. Правда, к тому времени старшие дочери Женя и Людмила вышли замуж, а старшие сыновья Петр и Александр уже работали. Семья была дружной и трудолюбивой. У них был большой огород, который постоянно засеивался одной картошкой, корова и громадная свинья, приносящая им каждый год многочисленных поросят. У них во дворе была единственная на всей улице черная собака по кличке Альма.

Тетя Анель была маленькая, худенькая, но приятная на вид старушка, постоянно курившая махорку в толстых закрутках. И это меня всегда удивляло, ибо на нашей улице больше никто из женщин не курил. Она была полячка, душевная и доброжелательная. В доме у них всегда было чисто и опрятно. К этому времени у тети Анели было уже много внуков и внучек, и все звали ее бабушкой.

Старшая дочь Женя, по мужу Бичкунова, жила на нашей улице в доме Смолкина. У нее было четверо детей, в том числе один сын от первого мужа Костя Стальченко. Еще в детстве во время игры в городки ему разбили ногу, и он всю жизнь ходил хромым. Вторая дочь Людмила вышла замуж и уехала жить в Рязанскую область. Третья дочь Оля вышла замуж за Полупан-

кова. У нее было трое сыновей. Жили они в Рогачеве. Самая младшая дочь Маруся вышла замуж за лихого казака Северо-Донецкого полка и уехала жить в Сталинград. Зато все четверо сыновей: Петр, Александр, Федор и Семен, – жили с матерью. Вот какая семья была у Клетецких. Три брата работали в горторге, а Саша охранял днепровский мост.

Следующий дом за Клетецкими был дом Дорощихи. Их было три сестры: Оля, Маруся, Катя и брат Миша. Они жили уединенной жизнью и не общались с соседями. За ними жил Маслак – мастер по швейным машинам. Угрюмый на вид человек с черными усами и острой бородкой. У него был сын Алексей и три дочки: Шура, Галя и Александра. Они жили в самом начале улицы Либкнехта, близко от казармы охранников моста, и если бы не исключительный случай, я бы о них ничего и не знал. Дело в том, что старшая дочь Драпкиных Дора влюбилась в сына Маслака Лешку. Лешке Дора тоже нравилась, и так как они оба обладали самостоятельными характерами, то не допускали, чтобы эта юношеская первая любовь превратилась в любовь безнадежную.

Но попробую рассказать обо всем по порядку, с самого начала и почти до конца. Для меня история любви Доры и Лешки началась с того момента, когда я случайно подслушал интимный разговор Доры с моей старшей сестрой Соней, в котором Дора призналась, что ей очень нравится Леша Маслак. Для меня это было открытие необычайной важности. Я был еще слишком мал и глуп, чтобы бережно хранить их разговор в тайне. Я сразу же сообщил об этом Борису, младшему брату Доры, а он рассказал об этом родителям. Родители только отмахнулись от этого сообщения. Дора еще училась в школе, и эта блажь, как они думали, может еще сто раз выветриться из ее головы, пока она подрастет. Ни у кого из них не укладывалась мысль, чтобы еврейская девушка могла влюбиться в какого-то русского парня. Это было немыслимо и не вязалось с еврейским укладом жизни.

Но они плохо знали свою дочь. Дети для родителей всегда остаются детьми, даже если у этих детей взрослые намерения. А потом только удивляются и руками разводят: "Когда это наши дети стали взрослыми?" Мы, мол, даже не заметили. Так случилось и в этом случае. Дора и Леша полюбили друг друга не на шутку, и это было видно по многим признакам, хотя они ни разу не встречались и даже не разговаривали между собой. Теперь мне и Борису было уже хорошо понятно, почему Леша по много раз в день проходит мимо их дома и бросает странные взгляды на окна дома, как будто надеясь там кого-то увидеть.

Лешка – парень представительный: высокий, чернобровый и краснощекий. Посмотришь на него и зависть берет. Но и Дора тоже хороша: среднего роста, полная, крепко сбитая, брови тонкие, глаза синие, две толстые косы свисают за плечами, – она производила впечатление уже взрослой девушки, гордой и независимой. Именно поэтому, наверно, Лешка и увлекся ею, хотя сам уже ждал призыва в армию, то есть был намного старше Доры. Я почему-то считал, что я обязан предупреждать Дору, когда Лешка появляется на нашей улице. Я полагал, что помогаю Доре, а в действительности был просто бестактным человеком. Как только Лешка появлялся в начале улицы, я вбегал в дом соседей и кричал: "Дора, Лешка идет!" Дора не ругала меня. Наоборот, она радовалась этому сообщению и, бросив все дела, выбегала за калитку на улицу, провожая Лешу своими широко раскрытыми синими глазами. А Лешка проходил мимо, чуть-чуть кося своими черными глазами в ее сторону, и глупо улыбался. Мать Доры, тетя Рая, каждый день ругала ее:

– Сумасшедшая, нашла на кого смотреть! Он же русский!

Но Дора делала вид, как будто ничего не слышит. Все интересно и занимательно, пока оно ново и свежо. Когда же новость стареет, к ней постепенно пропадает интерес. Так случилось и со мной. Пришло время, когда Лешка шел по улице, а я уже не бросался звать Дору, и он, проходя мимо, напрасно смотрел в окна дома Драпкиных. Красивое лицо его было строгим и скучным. Мне почему-то было немножко жаль его.

А вскоре я почти забыл про Лешку, ибо он не показывался на нашей улице. Говорили, что он служит в морском флоте на Балтийском море. Я ему очень завидовал, потому что сам мечтал стать моряком. О Лешке мне иногда напоминал его отец, когда он проходил мимо нашего дома. Видя его, я всегда удивлялся, как у такого маленького папы вырос такой высокий сын.

Отец Лешки всегда ходил в больших сапогах, смазанных какой-то пахучей жидкостью. Лицо его из-за маленьких усов и аккуратно подстриженной клинообразной бородки, казалось маленьким и искусственным. А из-под кустистых бровей смотрели колючие злые глазки, от которых мне становилось не по себе. Я его побаивался и, когда он проходил мимо, старался не смотреть на него или убежал во двор. Поселились они на нашей улице недавно, ибо я еще помнил, что до них на этом участке стоял покосившийся дом, и валялись на земле остатки разбитого забора. Очевидно, что раньше там жили не столько бедняки, сколько лодыри, потому что большой участок для огорода никогда не засевался. Моя мама все сетовала:

– Если бы у нас был такой двор, я бы там посадила сад и огород. Фрукты и овощи у нас были бы в избытке.

Маслак был хороший хозяин и денежный человек. С его приходом этот участок земли преобразился. За одно лето вырос новый большой дом. Причем, дом Маслак построил не на улице, как у всех, а в глубине двора. А вдоль улицы вырос высокий плотный забор с воротами и калиткой. Как будто он отгородился ото всех соседей на нашей улице. Какой-то враждой веяло от этих действий нового хозяина. Мне казалось, что за забором происходит что-то тайное, и это влекло меня к забору. Я нашел в заборе маленькую щель и смотрел, как плотники пристраивали к дому веранду и крыльцо. Вскоре во дворе у них появилась большая, черная, лохматая собака с глухим угрожающим лаем, и мне пришлось прекратить свое наблюдение: собака сразу обнаруживала мое присутствие.

Людская молва разносила о Маслаке невероятные слухи. Кто говорил, что он разбогател на перепродаже краденных лошадей, а кто – на грабежах. Чего только не наговаривают на человека, когда он прячется от людей. Я больше всего верил в версию, которая говорила, что он был в деревне кулаком, а когда началась коллективизация, бежал в город.

Лешка Маслак служил во флоте пять лет. За это время Дора окончила школу и бухгалтерские курсы. А я уже заканчивал седьмой класс. Время пролетело незаметно. Я встретил Лешку самым неожиданным образом. Выскочив из калитки на улицу, я чуть не налетел на громадного матроса, а когда поднял глаза вверх, то чуть не присел от удивления. Мимо нас шел Лешка, да еще какой Лешка! Таких моряков я раньше видел только на плакатах. Морская форма шла ему, как нельзя лучше. Я так растерялся, глядя ему вслед, что забыл побежать к соседям и сообщить Доре о его приезде. Когда же я вбежал к ним в дом, то увидел улыбающуюся Дору. Она гладила белье на столе и сразу поняла, зачем я прибежал.

– Я уже видела его в окне, – сказала она, продолжая улыбаться.

Я был разочарован: опоздал с таким важным сообщением – это никуда не годиться. В зал вошла мать Доры, тетя Рая, и говорит:

– И думать не смей о Лешке.

Дора ничего не ответила ей, а тетя Рая говорит, обращаясь ко мне:

– А ты, Лева, больше не ходи к нам с такими новостями.

Я вышел от них пристыженный. "Действительно, – думал я, – зачем я встречаю в чужую любовь? Все равно ей нельзя будет выходить замуж за Лешку – он же русский!"

Но через день я понял, что я здесь ни при чем совершенно. Выяснилось, что в судьбе Лешкиной и Дориной любви принимают активное участие наши соседи Клетецкие. Через день после моей встречи с Лешкой, я зачем-то зашел в дом Клетецких. Они собирались обедать.

– А, Лева, садись с нами обедать, – пригласила меня бабушка Анель.

Я подсел к столу, но от еды отказался. У них еда была не такая, как у нас. Они ели картошку, но почему-то варили ее неочищенной. У нас никогда не варили так картошку. На столе

лежали хлеб, сало и соль. Бабушка принесла большой чугунок с картошкой, и все стали брать ее из чугуна и чистить. Потом солили ее и ели с хлебом и салом. Не успели они поесть, как на кухню зашел Леша Маслак во всей своей великолепной морской форме. Для меня это было неожиданностью. Раньше я ни разу не замечал, чтобы он заходил к Клетецким. Поздоровавшись, он позвал Сеньку и прошел с ним в зал. Через минуту Сенька куда-то убежал, а еще через пару минут он вернулся и сел за стол, как будто никуда не бегал.

Вдруг, к моему удивлению, на кухню, как на крыльях, влетела Дора и, ни на кого не глядя и не поздоровавшись, пробежала прямо в зал. Сразу было видно, что дорога ей уже знакома. Так вот почему Дора так спокойно принимала мои сообщения. Выходит она встречается с Лешкой у Клетецких. Это была для меня тоже новость высшей степени. И Анель, и Сенька, и Федя продолжали кушать, многозначительно переглядываясь между собой. Бабушка Анель даже улыбнулась, показав ровные ряды удивительно белых зубов. Обычно у курильщиков зубы имеют желтоватый оттенок, а у бабушки они все были белые, хоть и курит она чуть ли не круглые сутки. Она встала и заперла двери зала на крючок. Они все загадочно улыбались, а мне уже не сиделось на месте. Я встал, собираясь бежать домой, но бабушка задержала меня.

– Ты уже уходишь? – спросила она.

– Да, – ответил я.

– Смотри, – сказала она, подняв палец, – о том, что Дора здесь была, никому ни гу-гу. Понял?

Я утвердительно кивнул головой и вышел на улицу. Собака Альма несколько раз гавкнула мне вслед, как будто попрощалась со мной. Я тут же забыл про свое обещание молчать и влетел в наш дом, чтобы сообщить эту невероятную новость, но в доме у нас, кроме соседки тети Сарры, никого не было. А рассказывать об этом ей мне не хотелось. Эту новость мне хотелось сообщить только старшей сестре Соне, потому что она дружила с Дорой. Я чувствовал, что для Сони эта новость будет интересней, чем для кого бы то ни было.

Весь остаток дня я с нетерпением ждал прихода сестры с работы. Выбегал смотреть на улицу. И как только она показалась в конце улицы, я побежал ей навстречу и сразу выпалил:

– А Дора встретила в доме Клетецких с Лешкой в зале, а бабушка Анель заперла дверь зала на крючок.

Глаза у Сони округлились от неожиданности.

– Не может быть! – то ли утверждая, то ли спрашивая, воскликнула она.

Я был доволен, что удивил ее и заодно тем, что освободился от тайны, которая не давала мне покоя. А вечером, услышав надрывные крики нашей соседки, тети Раи, мы все вышли во двор. Отец и мать Доры грозились ее убить, если она хоть раз посмеет встретиться с этим Лешкой. Голоса Доры не было слышно. Она, наверно, как и всегда, отмалчивалась. Целый час родители ругали ее, обзывая нехорошими словами. Перед сном у меня мелькнула мысль, что я в чем-то виноват перед Дорой, но я отмахнулся от нее и уснул сном праведника.

А утром Борис рассказал мне, что его сестра обещала больше не встречаться с Лешкой. Мне было немножко жаль Дору. Еще бы, разве она сумеет еще раз найти такого парня, как Лешка Маслак? Несколько дней я следил за Дорой, когда она возвращалась с работы. Мне это было удобно, так как наши дворы не были отгорожены забором.

Дора к Клетецким не заходила. Но и уныния у нее на лице я тоже не замечал. Она, как и прежде, была приветлива, спокойна, аккуратна и гордо несла свою красивую головку с длинными толстыми косами. Удивительное спокойствие. Я, немного разочарованный ее быстрым охлаждением к Лешке, успокоился и перестал за ней наблюдать, Тем более, что у мальчишек на нашей улице началось очередное увлечение игрой в «Пикер», которая затягивалась до темноты. Про Дору и думать было некогда.

Но как-то вечером я услышал, как мама сказала Соне:

– А Дора все равно встречается с Лешкой. Только не надо об этом распространяться.

– Вот это любовь! – позавидовала сестра.

– Как бы у них беды не стряслось, – сказала задумчиво мама, – Дора – девушка самостоятельная и, если что задумала, то не отступит от своего, но и родители ей этого не простят.

Соня тут же оделась и побежала к подругам...

Дора продолжала тайно встречаться с Лешей. Об этом уже знали все, кроме ее родителей. Однако никто ее не выдавал. Все на нашей улице почувствовали, что это настоящая, большая любовь, а не мимолетное увлечение. А настоящая любовь всегда вызывает у людей глубокое и бережное отношение и уважение. Однако, эти тайные встречи не могли продолжаться без конца. Молодые люди договорились пожениться против воли родителей. О своем решении они открыто заявили своим родителям. Слышал я, что родители Алексея были категорически против такой невесты, но так как Лешка – парень с внушительным видом, они ему не смели перечить. А вот что получилось у Доры, когда она заявила родителям о своем желании выйти замуж за Лешку, я сам видел и слышал.

Сидел я как-то на нашей скамейке во дворе и читал поэму Твардовского "Страна муравья" и вдруг услышал надрывные крики нашей соседки тети Раи:

– Не пущу! Не разрешу! Из дома выгоню! Прокляну!

Опять в доме у соседей шла какая-то перебранка. Опять мать обзывала Дору всякими непристойными словами. Вдруг дверь распахнулась и из дома выбежала вся растрепанная Дора с окровавленным лицом. Как выяснилось позже, это отец в порыве гнева запустил в нее сапожный молоток. Дора убежала в сарай, в ту половину, где у них хранилось сено. А из дома неслись душераздирающие крики тети Раи:

– Сумасшедший! Что ты натворил? Родную дочь убил!

Я сидел совершенно ошеломленный. "Неужели дядя Ефим убил Дору?" – думал я, содрогаясь от этой мысли. Всегда тихий, спокойный и уравновешенный дядя Ефим – и вдруг такое несчастье. До чего может довести человека безумный гнев. Тетя Рая продолжала стонать во весь голос, а в это время из сарая вышла Дора с размазанной кровью на лице, подошла к смежному забору между их двором и двором Клетецких, отодвинула две давно известные ей доски и ушла к Клетецким. Мне стало легче на душе: Дора осталась жива. Я тоже хотел побежать к Клетецким, чтобы послушать, что Дора им расскажет, но вспомнив, как я нарушил свое обещание, остался сидеть на скамейке.

Днем тетя Сарра, наша соседка по дому, рассказывала маме, что Леша забрал Дору к себе, и они теперь живут в его комнате. Домой Дора больше не вернулась. Через два дня она вошла к нам в дом и попросила меня вызвать ее младшую сестру Хану. Когда я ее привел, Дора попросила сестру вынести ей ее личные вещи. Дора рассказала, что родители Лешки приняли ее очень плохо. Не хотят с ней даже разговаривать. Одна только радость, когда приходит с работы Леша. В общем, Дора осталась такой же, только лицо стало каким-то строгим, и не было уже прежней приветливой улыбки.

Мнения женщин на улице разделились. Одни осуждали Дору за ее поступок и сулили ей адскую жизнь, другие жалели ее и во всем обвиняли родителей. Кое-кто распространял сплетни, что Лешка каждый день избивает Дору. Но что только досужие кумушки не придумают – язык-то без костей! Ясно было одно, что Дору окружили в доме Лешки молчаливым забором. Трудно жить в такой обстановке. Но Дора ради Лешки терпела.

А время шло. Дни шли за днями, месяцы за месяцами, и однажды мама принесла в дом радостную новость: Дора родила мальчика. И вся напряженная обстановка, созданная вокруг нее, растаяла, как снег весной. Совсем другие разговоры пошли по нашей улице. Говорили, что Лешкины родители стали лучше относиться к Доре, а ее родители разрешили ей бывать дома. Борис сам рассказывал мне, что мать и отец послали к Доре сестру Хану, которая передала ей родительское прощение.

Как-никак все люди – братья, и все народы должны жить в дружбе. Национальная рознь – одна из вывихов в жизни человеческого общества. Одним словом, жизнь Доры и Леша наладилась, и вся наша улица радовалась этому. А сплетницы приумолкли. Опять я стал часто видеть Дору и Лешу в нашем дворе. Дора немного похудела, а на лицо легла тень озабоченности, но осанка ее стала еще более гордая, чем была. Как будто она всем доказывала, что готова на любые трудности ради своей любви. Она нарушила извечные традиции на нашей улице и, к ее чести, вышла победительницей.

Более того, ее пример не остался без последователей. Сначала вышла замуж за белоруса моя старшая сестра Соня, о чем я уже рассказывал, а затем, что было полнейшей неожиданностью для нашей улицы, Федя Клетецкий женился на еврейке Сарре Плоткиной. Старые традиции трещали по всем швам. Все смешалось на нашей улице: никто уже не мог точно определить, в каких домах живут русские, а в каких – евреи. Ясно было только одно, что на нашей улице начинается жизнь советских людей, не признающих никакой национальной розни. Когда Феде понравилась Сарра Плоткина, дочь ломового извозчика, и он женился на ней, то бабушка Анель, мать Феди, не находила себе места от такой любви сына. Дело дошло до того, что она не разрешила Феде жить с молодой женой в ее доме. Феде пришлось срочно строить новый дом на огороде, где они всегда сажали картошку.

Однако, сенсации на нашей улице на этом не кончились. Еще одну неожиданную неприятность пришлось испытать бабушке Анели Клетецкой. Самый младший ее сын, красавец Сенька, молодой и стройный парень, влюбился в женщину с двумя детьми. Она была старше его более, чем на десять лет. Случай необыкновенный. Все его старшие братья и сестры во главе с бабушкой Анель не смогли отговорить Сеньку от его любви к взрослой женщине. Так и ушел Сенька из дома, осужденный всей родней. Ему даже наказали не появляться на пороге родного дома. Больше года я его не видел на нашей улице. Но затем все помирились с ним, и он стал часто бывать в гостях у бабушки Анели...

В конце нашей улицы в трех домах жили семьи, которые почти не общались с соседями. В маленьком домике жили старики Раскины. Два их сына жили уже самостоятельной жизнью в других городах. Старик Яков занимался сбором тряпок и макулатуры, разъезжая на повозке по селам Рогачевского района. За домиком Раскиных жили в большом доме Городецкие. Сам Городецкий делал в нашем городе колодцы. Двор у них был вечно завален длинными трубами, а в мастерской был всегда слышен стук молотка по железу. Напротив домика Раскиных жили в большом коммунальном доме, покрашенном в желтый цвет, две семьи: часовщика Половицкого и председателя горисполкома Гульмана. Из жизни этих двух семей в моей памяти остались два курьезных случая, но об этом я расскажу в последующих главах моих воспоминаний.

## **Глава пятая**

### **Школа**

И эту главу, как и все предыдущие, я начинаю издалека, но обещаю вам, что повторяться почти не буду. Говорю «почти» потому, что в некоторых местах это будет все-таки неизбежно, так как я пишу уже пятую главу об одних и тех же годах моей жизни.

Итак, когда мне было годика четыре, в хлебопекарне, где работала моя мама, выделили одно место для ребенка в детском саду. Дети были у всех рабочих хлебопекарни, но сироты были только у моей мамы. Вполне естественно, что это место в детском саду отдали ей. Так я попал в детский сад. Он находился довольно далеко от дома. Первые дни, пока я привыкал к этой дороге, меня водили в детский садик то старший брат, то старшая сестра, а затем я стал ходить самостоятельно. Дорога была простая: сначала я шел по нашей улице, затем поворачивал налево по Бобруйской улице и около кузнечной артели делал поворот направо на Песчаную улицу, проходил мимо Банного переулочка, и первый большой дом был наш детский сад. Это

был длинный одноэтажный деревянный дом, покрытый красной железной крышей, расположенный на Песчаной улице около старой бани.

В садике было интересно и хорошо. Там было много игрушек и вкусно кормили. День начинался с физзарядки в большом зале под аккомпанемент рояля, который стоял в темном углу зала. Мне нравилось бегать по кругу под музыку и делать разные движения руками. После зарядки был завтрак, а затем мы занимались рисованием или лепкой. Я всегда рисовал только зеленые деревья. Один раз я нарисовал великолепный дуб, который я видел с нашей горы каждый день на краю далекого леса. Воспитательница меня похвалила и тут же повесила мой рисунок на стенку. Я был очень доволен.

Утром, прибегая в детский садик, я сразу же шел смотреть, висит ли мой дуб на стене, а потом уже снимал кепку и вешал ее на вешалку. Часто мы ходили на экскурсии на пойменный луг, благо он находился совсем рядом. Там росли красивые мелкие цветочки и паслись коровы. Больше всего мне нравилось в садике что-нибудь строить, используя как строительный материал игрушки. И почему-то меня привлекали стройки больших размеров. Если дом, то обязательно многоэтажный, если корабль, то на половину зала.

Один раз я составил из игрушечных машин, колясок-вагончиков длинный-предлинный поезд через весь зал и даже с поворотом. У меня даже дух перехватило от переполнявшей меня гордости. Таких длинных поездов никто никогда не делал. На маленьких платформах и на машинах ехали десятки разных кукол и зверей, а я изображал машиниста и, дуя изо всех сил в перепонку между большим и указательным пальцами, издавал настоящие паровозные гудки, которые разносились по всему садiku. Все дети сбежались в зал и с интересом смотрели на мой длинный поезд.

Вдруг какая-то красивая девочка с двумя красными бантами в толстых косичках подошла к моему поезду и ударила ножкой по вагончику, где сидел зайчик. Вагон с зайчиком отлетели в сторону.

– Не ломай мой поезд! – закричал я ей.

Но она презрительно посмотрела на меня своими большими красивыми глазами и стукнула ножкой по другому вагончику, где сидела маленькая кукла. Оскорбленный до глубины души ее хулиганскими действиями и желая защитить свое сооружение, я подскочил к ней и изо всех сил оттолкнул ее от моего поезда. Она упала на спину, а из носа почему-то потекла кровь. Девочка даже не пыталась встать. Она забарабанила ногами по полу и запищала так сильно, что сбежались все воспитательницы. Они бросились ее поднимать, но она им не давалась и завизжала еще сильнее. Тогда воспитательница позвала заведующую. Та прибежала и, увидев лежащую в крови девочку, испуганно закричала:

– Ирочка, что с тобой? – она быстро подняла ее и унесла в свой кабинет. Я был настолько ошеломлен этой сценой, что стоял ни жив ни мертв. Моя воспитательница, которая повесила мой рисунок с зеленым дубом на стену, спросила меня:

– Почему ты разбил ей нос?

– Я не трогал ее нос, – ответил я дрожащим и перепуганным голосом, – я только оттолкнул ее, чтобы она не разбивала мой поезд.

В это время быстро зашла заведующая и, схватив меня за ворот рубашки, с силой потащила меня к выходу.

– Больше в детский садик не приходи, – злобно прошипела она мне прямо в ухо, а на крыльце так турнула меня в шею, что я полетел кубарем по ступенькам вниз. Я разбил в кровь колено и ушиб голову, но от испуга не чувствовал боли. Меня в тот момент беспокоил совсем другой вопрос: что я скажу маме? Мне почему-то казалось, что я не имею права раньше, чем садик кончает работу, приходить домой. Удрученный случившимся, я вышел на улицу и увидел девочку, которая сидела посередине улицы и играла в песке.

– Тебя выгнали из садика? – спросила она таким тоном, как будто это самое обыкновенное дело. Ее вопрос меня озадачил. Откуда она знает, что меня выгнали из садика? Ведь кроме меня и заведующей никто об этом еще не знает. Ведь заведующая прошипела мне об этом прямо в ухо перед дверью на улицу. А девочка, не дождавшись ответа, сказала:

– Садись, поиграем вместе. Я сел на теплый песок, но играть мне совсем не хотелось. Я вспомнил, что в садике осталась моя кепка, а идти за ней опасался.

– Ты не думай, – сказала девочка, перебирая желто-серый песок. И я понял, что она советует мне не переживать. Удивительно спокойная девочка, такая же маленькая, как и я, а рассуждает, как взрослая. Мне стало стыдно перед этой необыкновенно рассудительной девочкой и, чтобы как-то оправдать свои переживания, я сказал:

– Тебе хорошо, у тебя ничего не осталось в садике, а у меня там кепка осталась. Получалось, как будто я переживаю не столько из-за того, что меня выгнали, сколько за оставленную кепку.

– А ты иди и забери ее, – сказала она обыденно, будто речь идет о пустяковом деле.

– Да, попробуй! – сказал я. – А она мне и второе колено разобьет, – и я показал ей разбитое колено.

– Не бойся, – сказала она, – она уже, наверно не сердится. Моя мама тоже такая: когда злится, бьет меня, а как злость у нее проходит, так обнимает и целует меня.

Я на минутку представил себе, как заведующая детским садом обнимает и целует меня, и мне вдруг стало смешно. Я рассмеялся, и все мои страхи улетучились.

Дело в том, что у нас дома как-то не принято было обниматься и целоваться. У нас и так были хорошие взаимоотношения с мамой. Она никогда меня не била и никогда не обижала. Ведь я был сирота.

– Ну, я пошел за кепкой, – сказал я девочке.

– Иди, иди, не бойся, – сказала она, – она уже не сердится.

Вошел я во двор садика, завернул за угол дома, а на крыльце стоит во всей своей красе заведующая. Она была действительно красивая женщина. Высокая, стройная, с приятными чертами лица. И не верилось, что внутри у нее все кипит и негодует на всех и на все. Увидев меня, она вознегодовала и покраснела от ярости.

– Ты зачем вернулся? – проговорила она злобно. – Я же тебе ясно сказала, чтобы ты больше в садик не приходил!

Но я, стоя в отдалении, уже не боялся ее, как бы она не сердилась. В случае чего я мог убежать на улицу. Не станет же такая красивая и гордая дама гоняться за мной на улице.

– У меня там кепка осталась, – сказал я, глядя прямо в ее сердитые глаза. Она вошла в дом, вынесла мне кепку и бросила ее мне в ноги.

– Больше не приходи! – крикнула она мне в спину.

Когда я дома сказал маме, что меня выгнали из детского садика, она от неожиданности присела на стул, глядя на меня тревожными глазами.

– Что там случилось? – спросила мама.

– Я толкнул девочку за то, что она нарочно разбила мой поезд, а она упала, и при этом у нее пошла кровь из носа, – рассказал я виноватым голосом.

Из своей половины дома вышла к нам соседка тетя Сарра.

– Вы слышали? – говорит мама ей. – Его выгнали из садика.

– Наверно, у них очень строгая заведующая, – говорит тетя Сарра.

– Какая там строгая, – говорит мама, – она просто злая фурия. Это же Капустинская. Если ей дать власть, она разгонит весь мир. Она считает, что все виноваты в том, что у нее не получилось нормальной жизни. Подумаешь, осталась с одним ребенком. Я осталась с четырьмя и то ни на кого не имею зла!

Мама посидела несколько минут, подумала и говорит:

– Наверно, детские садики не про нас придуманы, раз с самого начала не получилось. Я предчувствовала такой исход, поэтому не хотела отдавать тебя туда, но председатель профкома уговорил. Ну что ж, может это и к лучшему. Играй дома.

Так по-доброму был решен этот вопрос. Мама только на словах полагалась на судьбу, а на самом деле держала свою и нашу жизнь в своих крепких рабочих руках. Так закончилось мое кратковременное пребывание в детском садике. И трех недель не прошло.

Через несколько дней мама принесла домой ошеломляющую для меня весть. Оказывается, что девочка, которую я толкнул, была дочерью заведующей. Если бы я знал об этом раньше, я не посмел бы, конечно, ее толкнуть. Но стало также яснее ясного и нахальное поведение Ирочки и злое поведение ее мамы. Понял я это позже и не хранил зла на заведующую. Встретился я с ней ровно через двадцать лет, но об этом я напишу в моей третьей книге...

Когда мне исполнилось шесть лет, наша соседка тетя Сарра сказала маме:

– Пора мальчика отвезти к ребе в хейдер, его там научат писать, читать и считать.

Но мама к тому времени уже была членом ВКП(б) и ко всем нашим старым традициям относилась скептически: если они подходили к новому советскому образу жизни, она их принимала, если же нет – отвергала. Так было и на этот раз. Мама ответила тете Сарре:

– Нет, теперь мне отдавать его в хейдер нельзя. Зачем ему там зубрить молитвы? Жизнь теперь совсем другая пошла. Теперь ему дорога в советскую школу.

– Как знаешь, – сказала спокойно тетя Сарра, – мое дело предупредить тебя, а там поступай, как хочешь.

Тетя Сарра никогда не обижалась. Она была мудрая женщина. Так, благодаря маме, я был спасен от плетки и линейки ребе – так звали еврейского учителя, который давал мальчикам у себя на дому первые навыки чтения, письма и арифметики, девочки вообще не учились.

В хейдер ходил два года мой старший брат Лазарь. Он-то мне и рассказал, как ребе бил его плеткой за каждую провинность, за каждый невыученный урок. Они там не только учились, но и помогали по указанию ребе его жене по хозяйству: таскали дрова, воду, мыли полы, нянчили их детей. Правда, после хейдера брата сразу приняли во второй класс.

Когда мне исполнилось семь лет, мама записала меня в еврейскую школу №6. Она находилась в двух шагах от нашего дома по улице Циммермановской, дом 28. Это был длинный деревянный дом с частыми высокими окнами, обитый поверх бревен дощечками, как и наш дом. Вот в этом доме и находилась начальная четырехклассная школа. После окончания этой школы всех учеников переводили в пятый класс еврейской школы №3. Она находилась довольно далеко от нас, на углу улиц Ленина (ныне Циммермановская) и Садовой. Рядом со школой №6 на углу Циммермановской и Бобруйской улиц находилась белорусская школа №2. Это было двухэтажное кирпичное здание, отштукатуренное известкой, с решетчатыми окнами. Говорили, что до революции в этом здании было главное казначейство Рогачева.

Двор у обеих школ был общий, и в обеих школах вход был со двора. В белорусской школе был парадный вход со стороны Бобруйской улицы, но он был наглухо забит, и им не пользовались. В нашей шестой школе классы были большие и просторные. В нашем классе стояли три ряда парт по восемь-девять парт в ряду. А на каждой парте сидели по два и даже по три ученика. Представляете, какие были классы? Они вмещали до шестидесяти учеников и более.

Об учебе я мечтал задолго до школы. И я, и мама просили старшего брата, чтобы он научил меня хотя бы читать. Но он ссылался на свою занятость и говорил:

– Пойдет в школу, там всему научат.

И вот я шел в первый класс в радужном настроении, но сразу же после первого урока был страшно огорчен. А произошло вот что. После школьного звонка вошла в наш класс учительница, поздоровалась и спросила:

– Дети, кто из вас знает все буквы и умеет читать, поднимите руки.

В эту минуту я пожалел, что брат не захотел научить меня читать. Руки подняли больше половины класса. Я остался с меньшинством, хоть и знал буквы.

– Дети, – продолжила учительница, – кто не умеет читать, тот садится за парты, стоящие у окон, а умеющие читать занимают два других ряда.

Я сел на первую парту у окна. Отсюда был виден весь двор. Ох, как он будет меня постоянно отвлекать!

– Теперь запомните, дети, – сказала учительница, – первые два ряда будут учиться в первом классе, а третий ряд у окон – в нулевом.

Таким образом я попал в «нулевку» – подготовительную группу. Только после этого распределения учительница представилась нам.

– Запомните, дети, меня зовут Эсфирь Абрамовна, а фамилия моя – Гинзбург.

Это была моя первая учительница. Она помогла нам сделать первый шаг к грамоте, первый шаг к своим будущим профессиям. В течение двух десятков лет она была для всех первоклашек первой учительницей. И у всех у них осталась добрая память о ней, потому что у нее была добрая душа, приветливая улыбка и горячее сердце. Эсфирь Абрамовна учила нас довольно своеобразно. Класс был большой, да еще две группы. Чтобы все успевали, она постоянно прикрепляла лучших учеников к неуспевающим. В классе стоял легкий шум, но шум этот был деловым. Тем не менее, я весь год смотрел на ряды первоклассников и завидовал им. «Нулевка» как-то оскорбляла мои человеческие достоинства. Не хотелось быть нулем без палочки, ничего не значащей величиной. И только на следующий год, когда я стал первоклассником, я почувствовал себя настоящим учеником.

В школу я приходил всегда очень рано, самым первым. Дело в том, что дома я выполнял много обязанностей по хозяйству. Приходилось кормить и доить корову, приносить воду, подметать пол, варить картошку или супы, а зимой топить голландку – комнатную печь. Кроме того, к нам постоянно кто-нибудь заходил: то мои друзья, то соседи. И надо было уделять им много внимания, иногда несколько часов. Не спрячешься же от них в другой комнате. Не всегда удавалось приготовить вовремя домашние уроки. Поэтому я приходил в школу задолго до занятий и в абсолютной тишине успевал сделать все.

Весной уборщица тетя Маня всегда недовольно ворчала на мои ранние приходы, зато зимой она была рада им, так как могла свободно оставить на мое попечение горящую печь и в это время убирать другой класс и топить там другую печь. Эти утренние часы выручали меня на протяжении всей учебы в школе. Потом эта привычка учить по утрам останется у меня на всю жизнь.

В нашем классе оказались ученики разных возрастов: от восьми лет до четырнадцати. Интересно было то, что самые маленькие учились гораздо лучше больших. Зато на переменах тон задавали большие. Тут уж нам нечего было равняться с ними. Чтобы они нам особенно не досаждали, мы договаривали их бороться между собой. Надо же было выяснить, кто из них сильнее. Они выжимали вверх венский стул, схватив его у пола за переднюю ножку. Нам это было не под силу. Усевшись по обе стороны учительского стола, они ставили локоть к локтю, потом схватывали друг друга ладонями и давили со всей силой. Кому удастся придавить кисть к столу, у того рука сильнее. На больших переменах мы сдвигали парты, образовав свободный круг, и начиналась борьба, кто кого прижмет лопатками к полу.

Это были захватывающие поединки. Иногда и перемены не хватало, чтобы выявить победителя. Тогда схватка продолжалась на следующий день. И вот в результате этих соревнований мы выяснили, что физически самый сильный в нашем классе – Миша Нафтолин.

Это был рослый, красивый паренек, наделенный от природы необыкновенной силой. Мышцы на его руках были почти такие же крупные, как у взрослых мужчин. Иногда мы договаривали Мишу на очень интересное для нас испытание. Миша ложился животом на пол, а мы чуть ли не всей мужской половиной класса наваливались на него по принципу "куча мала",

обхватывали его за руки, за ноги, за голову, за шею и за тело. Наша задача была: прижать его к полу так, чтобы он не мог подняться. Сколько тут было шума, веселья и энтузиазма, и передать трудно. Миша спокойно лежал на полу и ждал, пока все хорошо схватятся за него. Потом он спрашивал: "Все держитесь?" Мы хором отвечали: "Все!" И тут он подтягивал свои ноги и руки вместе со всеми уцепившимися за них и, выжимаясь, поднимал нас всех, а это человек пятнадцать. Встанет на ноги и как крутанет нас всех, так мы и летим в разные стороны. Ну как тут было не удивляться и не восторгаться такой силе? А ведь он был всего на год старше меня.

Другой силач в нашем классе был Моисей Фельдман. Он был выше и крупнее Миши Нафтолина, лет на шесть старше его, выглядел настоящим мужчиной, но сладить с Мишей Нафтолиным никогда не мог, потому что был просто большим увальнем, неловким, добродушным и абсолютно мирным человеком. С большим трудом мы уговаривали Моисея побороться с Мишей. Иногда Моисей, чувствуя силу и ловкость Миши и не желая продолжать борьбу, сдавался со смехом еще на середине перемены к большому неудовольствию всех мальчишек нашего класса. Но чаще всего он боролся до конца перемены. Мише тоже трудно было с ним сладить, не всегда удавалось положить его на пол, но факт остается фактом – Моисей всегда только защищался.

Мы смотрели на Мишу Нафтолина как на героя. Я ему страшно завидовал. Еще бы, быть сильным и ловким – это мечта каждого слабенького паренька. Я очень хотел быть рядом с Мишей, и он, чувствуя мое желание, однажды после уроков пригласил меня к себе домой. Я сразу же согласился.

Жили они на улице Урицкой в доме №38, недалеко от школы. Попав в их дом, я сразу понял, почему Миша такой сильный. Его отец, дядя Эля, работал кузнецом. Отец был невысокий, но широкие плечи и грудь говорили о недюжинной силе человека. Мать Миши, тетя Фрада, была высокой, крупной женщиной с большим добрым лицом. Миша был похож на мать, а его старший брат Иосиф – на отца.

Иосиф тоже, как и отец, был низкорослым, но ловким и крепким парнем. Он учился в нашей же школе, но на два или три класса впереди нас. За темную кожу лица, за черный кудрявый чуб и, особенно, за буйный характер, друзья наградили Иосифа кличкой «Цыган», и она подошла к нему как нельзя лучше. Его проделки в школе и на улице часто граничили с хулиганством, и бывало, что дело доходило до вмешательства милиции. Иосиф был смелый и отчаянный драчун и не каждый смел с ним препираться. Он был всегда весел и активен, и никакая милиция не могла изменить его агрессивный характер.

Миша же был полной противоположностью Иосифу. Он был не по годам серьезен, добр и никогда не вступал в драки. Побороться – пожалуйста, а драться – никогда. Правда, зная его брата, парни не лезли к нему, но я всегда был уверен, что при случае Миша дал бы им отпор не хуже брата. Однако, с нервами у Миши было не все в порядке. Обычно сильные люди снисходительны и добродушны к слабым товарищам и многое им прощают, как это делал в нашем классе Моисей Фельдман. Миша же этим свойством не обладал. Он мог обидеться и вспылить от малейшего пустяка. Все знали про эту черту у Миши и обычно не решались с ним шутить.

Но мальчишки – это всегда мальчишки. Иногда им очень хочется испытать острые ощущения, и тогда, забывая об опасности, они лезут на рожон. Стоило кому-то разозлить Мишу, как ему тут же приходилось спасаться бегством. Доброе лицо Миши сразу преображалось. Оно моментально краснело и становилось жестоким и злым. Он немедленно пускался в погоню за обидчиком. Никакие преграды его не останавливали. Стул на пути – стул летит в сторону, стол – и он тоже падает набок, парта на пути – и парта грохочет в сторону. Эта погоня была страшна и одновременно интересна. Конечно, убежавший делал все, чтобы увернуться от его рук, но в конце концов, все равно попадался. Настигнув обидчика, Миша, похоже, полностью этим удовлетворялся. Злость его так же быстро уходила, как и приходила. Обидчика он не бил, но

пригибал его шею к полу, заставляя просить прощение. За злые вспышки Мише дали кличку «злюка», а за летящую мебель – «баррикада». Так его за глаза и называли: "Мишка-злюка-баррикада". Старший брат Иосиф тоже знал о больном месте младшего брата и иногда нарочно дразнил Мишу, вызывая его на борьбу.

Однажды я оказался свидетелем такой потасовки между братьями, когда был у них в гостях. Мы с Мишей сидели на кухне за столом и решали задачи по математике, когда брат вышел из зала, и, желая размять свои мускулы, стал дразнить Мишу какой-то Маней, в которую Миша вроде бы влюбился. Некоторое время Миша не обращал внимания на насмешки брата, но потом все-таки не вытерпел, вскочил со стула и бросился на брата, обхватив его своими сильными руками. И пошла у них отчаянная борьба. Дом у них небольшой, комнаты миниатюрные, а они крутятся по полу из одной комнаты в другую и обратно. Стулья полетели, стол отодвинулся в угол, цветок полетел на пол и разбился, а они и внимания не обращают. То Иосиф жмет на Мишу сверху, то Миша прижимает к полу Иосифа. Причем Иосиф нет-нет, да и бросает с насмешкой обидные слова, чтоб Мишу еще больше подзадорить. Борясь, они оказались в спальне родителей и начисто перемяли там постели. Оба уже с трудом дышат, но борьбу не прекращают. Ни один не хочет поддаваться. Смотрю, Иосифу уже не до шуток. Зажал его Миша кроватью и повернуться не дает. И вдруг слышу: "Сдаюсь!" Это Иосиф сдался. Вылезли они из-под кровати потные, тяжело дышащие, но довольные. Они быстро восстановили порядок в комнатах, а Иосиф говорит, обращаясь ко мне:

– Хорош у меня брат, никто из моих друзей не может меня побороть, а он гнет меня по всем статьям. Вот это брат! Всем братьям брат! Молодец! – говорит он Мише и хлопает его по спине. – Знай наших!

Мише не нравятся такие дифирамбы. Он зовет меня на улицу, и мы выбегаем к ним во двор. Во дворе у них хозяйство, как у рачительного крестьянина. Вдоль забора валяются дышла, перевернутые сани, колеса, деревянные обода, спицы. По двору снуют куры, утки, в сарае хрюкает свинья и мекает коза. Конечно, мать у Миши домохозяйка. Она успевает всем заниматься. Моя мама только мечтает о таком хозяйстве, но у нее нет времени на это. Поэтому у нас двор совершенно чистый, одна только зеленая травка: ложись и отдыхай, где хочешь. У Миши во дворе нигде не приляжешь и зеленой травки нет. Утки и гуси всю выщипали. А коза у Миши – суший дьявол. Одну только тетю Фраду признает, а на остальных бросается, хуже собаки. Голову наклонит, выставит свои острые рога и летит, как шальная, на всех, кто во двор заходит. Они привязывают ее к забору, а она веревку всегда обрывает, и поэтому приходится ее держать в сарае. Когда я прихожу к Мише, то сначала смотрю в щелку забора, нет ли во дворе козы. Если она там, то стучу в окно, чтоб кто-нибудь вышел и подержал ее, пока я войду в дом.

Однажды коза сорвалась с веревки и забежала прямо на кухню. Тетя Фрада заправляла кровать в спальне. Коза из кухни шмыгнула в зал. А в зале у них между окнами стояло зеркало до потолка. Коза увидела в зеркале еще одну козу, наставила рога и бросилась на нее в безумном прыжке. Зеркало разлетелось на мелкие кусочки. Как раз в это время и я прибежал к Мише. Козу заперли в сарае, а тетя Фрада стояла над осколками и тяжело вздыхала: "Разбитое зеркало – это не к добру!" В конце концов им пришлось расстаться с козой, и я мог без опасения уже с ходу влетать к ним во двор.

Во дворе у входа в дом у них постоянно лежала двухпудовая гирия. Сколько бы раз Миша не проходил мимо, он ни разу не пропустил случая, чтобы побаловаться с этой гирей. Вот и сейчас Миша поднимает гирию и несколько раз выжимает ее над головой, а затем ставит на место.

– Попробуй, – говорит он мне. Я подхожу к гире и хочу ее слегка приподнять, как ведро с водой, а она ни с места. Вот так штука! Даже стыдно стало. Я упираюсь с обеих сторон гири ногами в землю и, напрягая все силы, с трудом отрываю ее от земли и тут же опускаю, не в силах удержать ее на весу. А Миша легко ее поднимает, делает между ног разгон и подбрасывает гирию

вверх, ловит ее на лету и с разгона опять бросает вверх. Меня осеняет блестящая мысль. "Вот что мне надо, – думаю я, – чтобы стать таким же сильным, как Миша". Конечно, до двухпудовки я еще не дорос, но с пудовкой вполне смогу тренироваться.

– А пудовка у вас есть? – спрашиваю я у Миши.

– Дома нет, – отвечает Миша, – но можно поискать у отца в кузнице.

Когда я чем-нибудь загораюсь, то остановиться уже не могу.

– Пойдем поищем? – предлагаю я Мише.

– Пошли, – отвечает он с готовностью.

Миша вообще из тех людей, которые никогда не отказывают в помощи. Я каждый раз радуюсь, что подружился с ним. Лучшего друга, чем он, мне бы на всем белом свете не найти. Мы идем вверх по улице Урицкой и Бобруйскому шоссе. Почему-то на этой улице ни у одного дома нет крыльца. У всех домов вход через калитку во двор. На нашей улице тоже есть калитки во дворы, но у большинства домов есть и парадные входы в дом с улицы по ступенькам крыльца. Чем это объяснить? Да и дома на этих улицах расположены далеко друг от друга.

Мама мне рассказывала, что когда она была еще молодая, на этих улицах случился страшный пожар. Это был, наверно, самый большой пожар за всю многовековую историю Рогачева. Дома на этих улицах были построены, как говорится, один на один, без каких-либо промежутков. В тот год было жаркое лето, и дули сухие горячие ветры. От искр из нечищенной трубы загорелась крыша. Через несколько минут горели уже десятки домов. К приезду пожарной команды дома горели уже на трех улицах: от Нижегородской до Северо-Донецкой. Люди метались вокруг своих горящих домов, как очумелые, взывая о помощи, и уповали на бога, не предпринимая никаких оградительных мер против распространения огня. А он втягивал в свою сферу все новые и новые дома. Никакая пожарная команда не смогла бы с ним справиться. Срочно были вызваны пожарные команды из крупных сел и местечек Рогачевского уезда: Довска, Тихиничей, Журавичей, Дворца. А огонь с каждым новым днем продолжал расширять свои границы. Приехали пожарные команды из Быхова, Жлобина и даже из Бобруйска. Но и они с трудом удерживали дальнейшее распространение пожара. На шестой день спас положение неожиданно крупный ливень. Почти треть города превратилась в обугленные руины. Тысячи людей остались без крова...

Вот после этой трагедии и становится понятным, почему дома по этим улицам расположены так далеко друг от друга.

Мы с Мишей спускаемся по Бобруйской улице в направлении к кузнечной артели. За углом большого дома по левой стороне как раз того дома, где в каменном полуподвале когда-то жила наша семья, и где, между прочим, я и родился, открывается вид на несколько кузниц. Сейчас в этом доме живет некий Левин, однофамилец нашего знаменитого бессменного директора детдома. Четыре кузницы объединились в одну артель «Молот». Здесь я увидел наших соседей: Якова Рубинчика, отца Левы Рубинчика, и Леву Гольдберга, одного из старших братьев Исаака Гольдберга. В самой крайней кузнице работал отец Миши дядя Эля. С ним на пару работал брат дяди Эли Григорий.

Пудовой гири в кузнице не оказалось. Дядя Эля сказал, что все гири они отдали на склад. Мы вышли из кузницы и постояли у пруда, где женщины полоскали белье. Этот пруд был знаменит в нашем городе своей печальной историей. В этом пруду утонуло больше мальчишек, чем в Днепре. Пруд небольшой, но очень глубокий. Вода в нем темная и холодная, как лед. Очевидно, бьют ключи. Стоя на его берегу и охватывая все его берега одним взглядом, чувствуешь, что он уютный и приятный, особенно в жаркие дни. Работающие рядом кузнецы придают смелость мальчишкам, только-только научившимся плавать. Они бросаются в этот маленький пруд и, показывая товарищам свое умение плавать, заплывают на середину пруда. И там с перепуганными криками неожиданно тонут. А у кузнецов вечный грохот, и они не слышат, что творится на улице, а когда их позовут на помощь, мальчика на воде уже не видно.

И начинаются поиски, но уже длинными баграми, чтобы хоть похоронить утонувшего. Говорили, что холодная вода сводит страшной судорогой и ноги, и руки, и последующий за этим испуг отнимает у ребенка силу и волю к сопротивлению. Много детей угробил этот приятный на вид маленький пруд...

Отсутствие гири в кузнице не остановило мое желание укрепить свои мускулы путем поднятия тяжестей. Дома я связал вместе несколько камней и стал их выжимать над головой. Получалось неплохо, но веса этих камней я не знал, и это снижало мой энтузиазм. Прошло несколько дней, и я почувствовал, что одному этим заниматься довольно скучно. Я позвал соседа Бориса Драпкина. Он попробовал поднять эти камни и сразу же бросил их, сказав, что не собирается надрываться. Из-за него и у меня пропало желание поднимать тяжести, и вскоре я забросил это дело. В любой игре нужен хотя бы один напарник, а иначе пропадает интерес. Мише Нафтолину показывать свое приспособление я постеснялся.

С Мишей я дружил крепко. Бывало целыми днями не расходились. Мне это очень нравилось. Во-первых, он очень много знал и каждый раз рассказывал мне что-нибудь интересное, во-вторых, и это очень важный момент, все теперь знали о нашей дружбе, и любители подражаться перестали ко мне приставать. Иметь дело с Мишей Нафтолиным никому не хотелось. Теперь я без всякой опаски ходил по всем улицам. Даже там, где жили драчуны, никто мне больше не перегораживал дорогу, угрожая кулаками.

О том, что я встаю очень рано и дою корову, я никогда никому не говорил. Боялся, что засмеют. Но женщинам рот не завяжешь. Наверно, мама или тетя Сарра не смогли удержаться, чтобы не похвастаться мной перед другими женщинами. И вполне естественно, что это известие дошло до мамы Миши Нафтолина.

И вот к моему величайшему удивлению, Миша пришел ко мне в половине шестого утра, когда я только что выпустил корову в стадо. Оказывается, он – страстный любитель кино, чего я никак не мог предположить. Мама на кино денег не давала, и думать о нем было ни к чему. А Миша прибежал ко мне с утра пораньше, горя желанием рассказать увиденный фильм «Нибелунги» в двух сериях. Этот фильм был создан по сюжету немецкого средневекового героического эпоса. И по мере того, как Миша рассказывал об испытаниях героев, я удивлялся коварному и лживому образу жизни немецких рыцарей. До чего же люди усложняли себе и другим жизнь из-за злой зависти и ложной обиды. И конечно же, исход у всех был один и тот же – преждевременная смерть.

Прибегая по утрам, Миша рассказывал мне все кинокартины, которые он накануне смотрел. От него я узнал о фильмах «Зелимхан», "Абрек Заур", "Джек Сидней в джунглях Африки" в четырех сериях, "Остров тайн" в трех сериях и много других. Я восторгался главными героями: Филем Грантом, Гарри Пилем, Мерри Пикфордом. Я страшно завидовал Мише за эту возможность смотреть приключенческие фильмы. Ему было хорошо. Его даже на вечерние сеансы пропускали. Миша был рослый, и из-за своего серьезного лица казался взрослым парнем. Билетерши ни разу его не остановили. У меня же не было ни денег, ни нужного роста, ни серьезного лица.

Однажды Миша пришел ко мне с двумя билетами на балкон. Оказывается, его мама дала ему денег на билет для меня.

Если бы вы видели наше здание кинотеатра, то сразу бы согласились со мной, что красивее нашего кинотеатра вы ничего не найдете во всей нашей Белоруссии, а может быть и во всей России. Это было не здание, а красивый игрушечный дом в натуральную величину. Архитектор потратил на его чертежи, наверно, намного больше времени, чем на другие дома, но зато создал шедевр архитектурного зодчества под стать древнегреческим дворцам, а может и еще лучше.

Наш кинотеатр отличался от древних дворцов легкими и разнообразными формами. Все длинное здание театра, протянувшееся от улицы Циммермановской до улицы Либкнехта вдоль

правой стороны Красноармейской улицы, было как бы составлено равновеликими секциями, но с соблюдением законов симметрии, и неизменно вызывало у нас радостное и приятное чувство гордости.

Вся его внутренняя планировка была рассчитана именно на небольшой городок. Все помещения, кроме зрительного зала, были миниатюрны и уютны. С улицы зритель попадал в небольшой вестибюль. Слева и справа окошки касс. От обеих касс поднимались лестницы на балкон. А в центре вестибюля находились широкие двери в фойе, которое окружало зрительный зал с трех сторон, имея три входа в него. В фойе стояли мягкие кресла и длинные диваны. В правом крыле фойе всегда работал буфет. Кинобудка находилась как раз над входом в фойе между входами на балкон. Через фойе входили те, у кого были билеты в партер. Они были дороже, чем билеты на балкон. Зрительный зал вмещал более семисот человек, при этом в партере было около пятисот мест.

Артисты театров других городов редко посещали наш городок и поэтому в здании, изначально предназначенном для театра, в основном крутили кино. Кино было немое и сопровождалось музыкальным оформлением на рояле, который стоял перед сценой. Когда шли особенно интересные фильмы, зрительный зал не вмещал всех желающих. Десятки зрителей на балконе смотрели фильм стоя. Наверно, поэтому билеты на балкон продавали без указания мест. И поэтому при входе на балкон всегда была давка – каждый стремился занять сидячее место.

Так случилось и на этот раз. Когда мы с Мишей вошли в вестибюль, вся левая лестница на балкон была полностью заполнена людьми. Мы пристроились в самом низу лестницы и стали ждать, когда начнут впускать в зрительный зал. А у дверей в партер никого нет: туда спешить незачем, ведь места в зале забронированы.

Как только начали впускать, образовалась ужасная давка. Меня от сильного напора людей ограждал Миша, упираясь руками в перила лестницы, а ногами в ступени. Когда мы протолкнулись на балкон, все скамейки напротив экрана были уже заняты. Пришлось занять место сбоку у самого борта. Отсюда тоже был хорошо виден весь экран, только сидеть приходилось вполоборота. Но это, конечно, лучше, чем весь сеанс простоять на ногах. А таких набралось немало. Прямо над боковыми балконами, на высоте двух с половиной метров, находились маленькие окошки. Летом их держали полуоткрытыми, чтобы проветрить зрительный зал.

Как только свет потушили, несколько мальчишек спрыгнули на балкон из этих окошек. Это они забрались туда по крыше. Контролер подошла, искала их, но так и не нашла. Разве найдешь их в темноте, да еще при таком скоплении народа.

А кино было очень интересное. Шел фильм с участием прославленного артиста кино Гарри Пилы. Стройный красавчик с тонкими черными усиками побеждал своих противников не силой, а ловкостью и умом. Он всегда выходил победителем из самых сложных ситуаций. Динамика и сюжет фильма держали нас в постоянном напряжении, не отпуская ни на секунду. Опасные трюки сменяются один за другим. Погоня, поединки и опять погоня. Мы смотрим, не в силах оторвать взгляд от экрана. И наконец, после долгих приключений Гарри Пиль встречается со своей любимой девушкой, и нежный поцелуй – награда за все его испытания.

Когда в зале вспыхивает свет, то у меня такое ощущение, как будто я видел кошмарный сон, но очень интересный. Мы идем домой по Циммермановской, а наши сердца никак не могут освободиться от того напряжения, в котором мы пребывали, пока шел фильм. Никогда не думал, что кино может быть таким увлекательным и захватывающим. Помните, в Быхове я чуть не уснул в кино. А еще раньше, когда мне было года три, старшая сестра Соня повела меня однажды в кино на какой-то фильм про зверей. Когда я увидел огромную, оскаленную пасть тигра, я очень испугался и закричал на весь зал так, что сестре пришлось увести меня домой.

Но теперь после просмотра фильма я превратился в заядлого киношника. И благодаря моим стараниям появились и деньги на кино. Я выпрашивал эти пятнадцать копеек у мамы, у соседки, у маминых братьев. Мы стали ходить с Мишей в кино чуть ли не на каждую кар-

тину, если на афише было написано слово «боевик». В крайнем случае проделывали путь тех мальчишек, которые прыгали на балкон через окно. Только один раз меня за воротник вывели на улицу, а все остальные прыжки завершились благополучно. Зато сколько картин я пересмотрел! Сколько приключенческих историй! Сколько приобрел знаний! Жизнь стала намного интересней.

Случались, конечно, и скучные фильмы. Но они нас учили правильно выбирать. Самыми интересными фильмами были те, которые были основаны на реальных событиях. Это, в первую очередь, фильмы о гражданской войне, о Первой Конной армии, о героях гражданской войны. На фильм «Чапаев» мы ходили много раз. Нам очень хотелось, чтобы Чапаев переплыл на ту сторону реки Урал. Мы очень переживали, что он утонул. Через много лет я все-таки увидел, как Чапаев переплыл реку Урал, но об этом я расскажу в другой книге.

Летом, когда на пойменном лугу поспела трава, и вот-вот должен был начаться сенокос, мы с Мишей решили пойти на ту сторону Днепра через мост. Пройдя мост и спустившись с насыпи, мы повернули налево по прошлогодней колее и мимо дома бакенщика вышли к Комаринке, где всегда был мостик, по которому перевозили сено. Но мостика на месте не было, торчали только «быки» из воды. Наверно, мостик снесло во время половодья, а новый еще не построили: пока нет сенокоса и необходимости в мостике нет. Ширина Комаринки здесь метров пятнадцать. Другой берег кажется совсем близким – рукой подать. Миша решил, что мы должны переплыть. Он хорошо плавает. Я плаваю, но довольно слабо. Однако, пятнадцать метров это же триста метров на Днепре! И все же мне не хотелось плавать в незнакомом месте.

– Да тут и плавать – то нечего, – видя мою нерешительность, говорит Миша.

Он стал раздеваться. Делать было нечего, пришлось и мне раздеться. Он взял свою и мою одежду в одну руку и, лежа на спине, переплыл на другой берег буквально за одну минуту. "И чего я такого пустяка опасуюсь?" – подумал я и вошел в воду. На нашей дамбе я точно знал, что берег уходит сразу в глубину, и после первого шага бросался вплавь. Так я поступил и здесь. Сделал шаг от берега и поплыл. Плыл я медленно и, проплыв метров пять, вдруг усомнился в своих силах. И сразу мне показалось, что другой берег еще далеко, и сердце сжала тревога, а руки стали плохо слушаться. Но показывать перед Мишей свой испуг я не хотел, и как можно спокойнее попросил его:

– Я, наверно, не доплыву, помоги!

Миша стоит на берегу и смеется, что совсем на него не похоже. Его нежелание помочь мне еще больше меня страшит. Мне уже кажется, что я не плыву, а барахтаюсь на одном месте. Миша, увидев, что я испугался, крикнул:

– Встань на ноги!

– Тут глубоко! – крикнул я с тоской.

– А ты не бойся и встань, – сказал Миша.

Я опустил ноги и почувствовал дно. Вода мне была только до пояса. Мне было и стыдно, и обидно, а он стоит на берегу и хохочет. Никогда мне не было так неприятно, как в ту минуту. Я чувствовал себя совершенно опозоренным. И Миша показался мне неприятным. И на луг расхотелось идти. Я перешел Комаринку вброд, взял у Миши свою одежду, вернулся вброд, оделся и пошел домой.

Миша догнал меня и стал успокаивать, мол, не стоит из-за этого обижаться. С ним точно так же поступил его двоюродный брат, когда он ездил в Тихиничи. Было это в прошлом году. Двоюродный брат повел его купаться на речку Добрицу, приток реки Друти, и он поплыл на другой берег там, где брат прошел почти вброд. Вода была мутная и Миша не мог знать, что приток Друти такой мелкий.

Конечно, обида моя после его рассказа сразу прошла, и мы уже вместе смеялись, вспоминая мой испуг и мою жалобную просьбу об оказании помощи. Потом выяснилось, что Миша и

сам не знал, что Комаринка мелкая, пока случайно не стукнулся ногой о дно речки, но смолчал об этом, вспомнив случай в Тихиничах, чтобы подшутить надо мной.

Через несколько дней я очутился в пионерском лагере, о котором уже рассказывал, где подружился с одноклассником Ароном Шпицем. Арон мне очень понравился, поэтому после пионерского лагеря мы с ним не разлучались ни на день. По несколько раз в день мы ходили то к нему, то ко мне, хотя он и жил довольно далеко от меня. Они снимали квартиру на улице Луначарского недалеко от речной пристани. Дом у хозяина был невзрачный, низкий, длинный, ветхий. Несколько квартиросъемщиков, обеспечивая хозяину безбедную жизнь, жили в тесноте и полутьме.

Квартира Шпица состояла из маленького зала с маленьким окошком на улицу, темной спальни и крохотной кухни со слепым окошком в летнюю пристройку, которая служила им и как коридор, и как чулан. Отец Арона, дядя Исаак, работал директором магазина «Одежда», который находился на складской площади по Циммермановской улице. Мать, тетя Клара, была домохозяйкой. У Арона были две младшие сестры: темноволосая, кудрявая Дора и рыжекудрая Рая. Причем, Рае было годика два, и она меня всегда удивляла своим веселым характером. Арон с ней довольно опасно играл, делая акробатические номера на диване, а она, даже если неудачно падала, все равно смеялась. Арону нравилось так играть с Раей, а я смотрел на его игру с большим опасением.

Арон был худенький, стройный мальчик, ростом выше меня, с рыжей копной волос. Он увлекался и техникой, и музыкой, и лепкой, и рисованием. И все у него получалось удачно. Фигурки из пластилина всегда были веселые и забавные, а рисунки – легкие, светлые и просторные. Это рос богатый и щедрый талант с добрым сердцем и широкой душой. Только благодаря нашей дружбе я продолжил свое увлечение рисованием и научился играть на мандолине и балалайке. Каждый раз, когда я приходил к нему, тетя Клара, встречала меня радостной улыбкой и неизменными словами:

– О, Левочка, проходи, проходи, гостем будешь!

Меня немножко смущал такой теплый прием, но одновременно и радовал. Тетя Клара вообще всех детей называла только уменьшительными именами. Арона она всегда называла Арончиком. Меня это забавляло. Это звучало, как щелчок, не правда ли? У Арона был один маленький физический недостаток: он слегка заикался. И чем больше он волновался, тем сильнее заикался. Этот недостаток часто мешал ему получать хорошие отметки в школе, но зато нашей дружбе он совершенно не мешал.

Вскоре с Ароном познакомился поближе и Миша Нафтолин. Это произошло на нашем дворе. Мы сидели с Ароном на нашей горе и смотрели на Днепр, на переполненный людьми пляж – между прочим, Арону тоже понравился наш двор с его удивительно красивым обзором, – когда к нам прибежал Миша, и мы все вместе побежали к Мише во двор поднимать двухпудовку. Я уже мог поднимать ее сантиметров на двадцать от земли и держать минуты две на весу. А с Ароном произошло то же самое, что и со мной в первый раз: он не мог оторвать двухпудовку от земли. С удивлением он смотрел, как Миша легко с ней играет и выжимает над головой.

С этого дня мы стали дружить уже втроем и часто проводили свое свободное время вместе. Мы так друг другу понравились, что никакие размолвки не смогли нарушить наш тройственный союз. Миша, правда, не всегда мог быть с нами. Когда у его отца была срочная работа, он призывал на помощь обоих сыновей: и Мишу, и Иосифа. А мы с Ароном стали неразлучными с утра до позднего вечера. Даже в школе мы всегда садились за одну парту. И так каждый год до окончания школы.

Как-то, когда Арон зачем-то открыл их маленький сарайчик, я заметил в углу сарайчика велосипед. Это было для меня радостным открытием. Дело в том, что научиться кататься на велосипеде была моя давнишняя сокровенная мечта. Скрывать ее приходилось, так сказать,

поневоле. Ни у кого на нашей улице не было велосипеда. Я с тайной завистью смотрел на всех обладателей велосипедов, провожая их восхищенным взглядом. Поэтому можете себе представить, как я обрадовался, увидев у друга велосипед. Я сразу же загорелся желанием научиться кататься на нем. Арон не возражал. Он вошел в дом и спросил у отца:

– Папа, можно взять велосипед, чтобы научить Леву ездить на нем?

– Пожалуйста, – ответил дядя Исаак, – только сначала разбери его, почисти и смажь маслом.

Родители Арона мне очень нравились. Они никогда не противостояли желаниям сына, но постоянно в спокойном тоне приобщали его к знаменитой поговорке: "Любишь кататься – люби и саночки возить". Как только отец дал разрешение, Арон, не откладывая это дело в долгий ящик, тут же вытащил велосипед из сарайчика, положил его в узком дворике, заняв проход, принес газету, тряпку, масло, достал ключи и стал отвинчивать детали велосипеда. Я смотрел и только удивлялся ему: у меня к технике не было ни малейшего тяготения. Часа через два все было готово.

Мы вышли с велосипедом на улицу. Улица Луначарского, начиная от улицы Ленина, полого спускается к Днепру, к месту, где находится Рогачевская пристань. В этом месте вся улица была вымощена булыжником, как и на Циммермановской и на шоссе Москва-Варшава. По этой части улицы вывозили на лошадях грузы, привозимые на баржах и пароходах.

По этому спуску мы и решили испробовать велосипед. Арон сел и доехал до пристани и, повернув, с трудом вернулся вверх по улице. Затем он держал велосипед, а я залез на него, но, увы, мои ноги не доставали до педалей.

– Слезай, – говорит Арон, – сейчас подгоним седло для твоих ног. Пришлось сойти. Он достал ключ, ослабил зажим седла, опустил его и опять закрепил. Я сел на велосипед, и мои ноги с трудом, но достали до педалей.

– Ноги держи на педалях, но педали не крути, – наставлял Арон, – сначала надо научиться владеть рулем. Запоминай: если тебя клонит влево, то поворачивай руль влево, если клонит вправо, то руль поворачивай соответственно вправо.

Мы тихо спустились вниз к реке. Арон придерживал велосипед, а я рулил, как советовал Арон: то влево, то вправо, в зависимости от того, куда меня клонило. Один раз я так круто повернул руль влево, что мы заехали в песок. У пристани я слез, и мы пешком поднялись до улицы Либкнехта. Оттуда мы снова повторили урок управления рулем. На этот раз все обошлось хорошо. Перед тем, как спуститься в третий раз, Арон мне объяснил:

– Сейчас поедешь самостоятельно. Педали не крути. Следи только за рулем. Около пристани наклонись чуть-чуть влево и руль поверни влево. Тебя вынесет на песок, и велосипед остановится сам. Упадешь в песок – ничего страшного. В крайнем случае жми педаль назад, и велосипед остановится.

Он держал велосипед, пока я садился, прошел со мной несколько шагов и, убедившись, что я еду нормально, отпустил меня. Не знаю, помните ли вы первую самостоятельную езду на велосипеде. У меня все внутри пело. Мне казалось, что я не еду, а лечу. "Как быстро я научился ездить на велосипеде!" – подумал я с гордостью. От избытка чувств и самоуверенности я нарушил наказ Арона и нажал на педаль, чтобы велосипед поехал еще быстрее. От этого усилия меня наклонило влево, и я, естественно, повернул руль влево. Но что это? Меня несет прямо на электрический столб, а я, как ни верчусь, никак не могу свернуть в сторону. И совершенно улетучились из головы слова Арона о тормозе при крайнем случае. Удар в столб был неотвратим. Я не успел толком испугаться, когда колесо велосипеда ударилось точно в столб, как будто его тянули к столбу неведомые силы. Я полетел влево в песок, а велосипед упал справа от столба.

Прибежал Арон и с огорчением сказал только одно слово: «Восьмерка». Я не понимал этого слова, но почувствовал, что оно относится к разбитому велосипеду. У меня, наверно, был очень виноватый вид, потому что Арон, посмотрев на меня, сказал:

– Ты не переживай, ничего страшного не случилось. Сам я поправить колесо не смогу, но с отцом мы его исправим. У нас бывали уже такие случаи.

У меня отлегло на душе. Значит они тоже попадали в такие «аварии». На следующий день я прибежал к Арону с надеждой, что велосипед уже отремонтировали, но колесо каким было вчера, таким и осталось. Арон, увидев мое разочарование, сказал, что отцу пока некогда чинить велосипед.

– А он ругал тебя? – спросил я.

– Нет, – ответил Арон, – только сказал, что надо было идти учиться на стадионе, а не с горы. Отец у Арона – справедливый человек. Он понимает, что у мальчишек всякое может случиться.

Велосипед починили только в выходной день. А на следующий день Арон с утра прибежал ко мне и позвал продолжать велосипедную учебу. Теперь мы пошли на наш стадион, благо, он находился близко от их дома, на углу улиц Либкнехта и Садовой. Я почему-то был уверен, что на этот раз обязательно научусь ездить на велосипеде.

Так оно и случилось. Первый круг Арон бежал рядом со мной, поправляя мои ошибки. На втором круге он несколько раз отпускал меня одного и, срезая углы, догонял меня опять. А третий круг я проехал самостоятельно, хоть и с большим трудом удерживая равновесие на поворотах. Еще через несколько кругов я уже катался без особого напряжения. Вот так неожиданно осуществилась моя давнишняя мечта. Я хоть и был мокрый от пота, но мог бы еще кататься до самого вечера, но Арон сказал:

– Хватит на сегодня, лучше завтра еще раз придем сюда.

Я был так рад, что уже умею ездить на велосипеде, что охотно согласился с его предложением. Тем более, что майка у Арона была такая же мокрая от пота, как и у меня. Я был очень доволен собой и шел домой в приподнятом настроении.

На углу улиц Либкнехта и Северо-Донецкой около моего дома сидел, как когда-то я, на середине улицы знакомый мальчишка из нашей школы и кушал яблоко, наверно, из церковного сада. Лицо его было такое грязное, что у меня невольно вырвалось:

– Ты почему не моешься?

– Мамка не хочет мыть меня, – был ответ.

– А сам что?

– Вот и мамка говорит: "Сам умывайся", – а сам я не хочу.

– У тебя что, рук нет, что ли? – спросил я у него со смехом. – Эх ты, трубочист!

Кто бы мог подумать, что я его больше никогда не увижу. Недели через две я узнал, что он заболел дизентерией и умер в больнице. Это известие меня очень насторожило. Жизнь – так интересно! Природа вокруг нас просто удивительная и даже волшебная. Каждый день узнаешь все новые и новые факты из жизни на нашей планете: об интересных людях, о новых открытиях в науке, технике и многое другое. Умирать, когда вся жизнь еще впереди – это страшная несправедливость. Одним словом, смерть этого мальчика меня напугала. Дело в том, что я тоже не придавал особого значения утренним умываниям. Сполосну лицо холодной водой, и в этом все мое умывание, а с мылом вообще не дружил. Никогда им не пользовался при умывании. Но после этого случая я стал умываться втрое дольше прежнего. И даже по два раза в день.

Баню я тоже не любил. О бане у меня осталось неприятное воспоминание еще с четырехлетнего возраста. Я еще тогда в детский садик ходил, который находился около бани. Я хоть и был тогда малюткой, но уже чувствовал, что я все-таки мужчина, и не хотел идти с мамой в баню, но мама меня уговорила, сказав, что я такой маленький, что на меня никто и смотреть не будет. И мы пошли к банному переулку.

Баня была у нас тогда очень невзрачная. Каменный дом с небольшими, никогда не мытыми окнами. Пол в бане был намного ниже уровня грунта на улице. Со стороны двора окна были как будто наполовину опущены ниже земли. Получалось что-то непонятное: с улицы, вроде, нормальный низко построенный дом, а со двора – обыкновенный полуподвал.

С этой баней было связано одно немаловажное событие в истории нашего города. Взрослые рассказывали, что в марте 1919 года при подстрекательстве эсеров и кулацких сынков взбунтовался десятый пограничный полк, дислоцировавшийся в рогачевских казармах на Быховской улице. Мятежники зверски расправились с комиссаром полка, участником Великой Октябрьской революции, 22-летним латышом Виллисом Циммерманом, захватили все государственные учреждения города и устраивали самосуды над советскими работниками. Вот тогда-то уцелевшие коммунисты и чоновцы забаррикадировались в этой самой бане и отбивались от мятежников до тех пор, пока не пришла помощь из Могилева.

Так что наша баня была в некотором роде исторической достопримечательностью, но для своего прямого назначения она была слишком мрачновата...

Пришли мы с мамой в баню, разделись в пустой раздевалке и вошли в помещение, где все моются. Здесь был полумрак, окутанный клубами пара. Одна 25-свечовая электрическая лампочка почти не участвовала в освещении большого зала с низким потолком. Единственное окно почти полностью находилось под землей, и только верхний краешек окна говорил о том, что на улице сейчас день. Волны пара перемещались по помещению, как грозовые облака по небу. Мама нашла таз, принесла теплой воды и стала меня мыть мылом и мочалкой. Потом облила чистой водой и решила второй раз намылить меня.

– Помою тебя, а потом сама буду мыться, а ты подождешь меня на улице, – сказала она.

В это время мимо нас проходила какая-то женщина. Она, наверно, подумала, что мама ей знакома. Остановившись, она согнулась, чтобы рассмотреть мамино лицо, и, конечно, взглянула на меня.

– Женщины! – закричала она тонким, писклявым голосом. – Среди нас – мужчина!

– Ой!

– Ай!

– Где?

– Кто? – неслись испуганные голоса из облаков пара.

– Здесь! Сюда идите! – опять пропищала женщина, стоявшая около нас. Из полумрака бани на нас надвинулась целая толпа голых женщин: толстых и тонких, низких и высоких, красных и белых, с длинными и короткими волосами, со страшными лицами из-под мокрых волос. Никогда я не видел так много голых женщин. Некоторые были безобразны своими большими животами и грудями.

– Ты зачем привела его сюда? – закричала толстая женщина на мою маму.

– Так он ведь совсем маленький, – ответила мама, – почему вы все всполошились?

И вдруг женщины стали кричать наперебой все сразу, как на базаре в воскресный день:

– Маленький?

– Видали, какой маленький!

– Может он у тебя грудной?

– Выгнать ее отсюда!

– В женский день мужчин приводит!

Я очень перепугался этих кричащих женщин и не заплакал только потому, что рядом со мной была мама. Я был уверен, что она не даст меня в обиду.

– Что вы раскричались? – подняла голос и мама. – Как вам только не стыдно? Ребенка перепугались! Что я его в мыле понесу! Сейчас смою мыло и вынесу его, если он вам так страшен.

– Действительно, набросились, как сумасшедшие, на ребенка, – громко поддержала мою маму какая-то женщина.

Женщины притихли и стали расходиться. Мама смыла с меня мыло и вынесла меня в раздевалку. Там она меня насухо вытерла, одела и выпустила на улицу, наказав подождать ее.

На улице я у самых дверей замер от неожиданности: около бани играли мальчики и девочки из нашего детского садика. Мое появление из дверей бани их тоже удивило, но оправившись, они стали все дразнить меня:

– Э-э-э, – пели они, указывая на меня указательными пальчиками, – в женскую баню ходит! С женщинами моется! Как тебе не стыдно?

Я бросился на них с кулаками. Но они отбежали и опять стали дразнить меня. Я бы за ними погнался, если бы не наказ мамы ждать ее у дверей бани. Пришлось отвернуться и терпеть их насмешки. Когда дети подходили слишком близко, я делал вид, что хочу за ними погнаться, и они отбегали от меня. Как нарочно, мама что-то очень долго мылась. Но вот, наконец, она вышла из дверей бани, и мы пошли домой.

Вот почему я потом долго отказывался ходить в баню. Мылся дома. Но смерть мальчика резко изменила мое отношение к бане. Я сам стал напрашиваться ходить в баню с моим дядей или с соседом дядей Симоном. А вскоре мы стали ходить в баню с Ароном Шпицем, и я совсем успокоился насчет чистоты. Нет, умирать мне не хотелось. Слишком много у меня было неисполненных желаний, и в первую очередь такие, как стать писателем, затем художником, потом музыкантом. Мне почему-то больше нравились эти виды искусства. Наверно, на меня действовали определенные влияния: то старшего брата, который писал стихи, то рассказы мамы об отце-музыканте, то красивые виды природы, которые я наблюдал на нашем дворе и даже из окна нашей спальни. Это были ближайшие мечты, а в отдаленных мечтах я всегда видел себя то моряком, то летчиком. Вот почему мне обязательно надо было жить.

После того, как я научился ездить на велосипеде, я Арону покоя не давал. Каждый день я бегал к нему с одним желанием – покататься на велосипеде. Арон всегда шел мне навстречу: брал велосипед и ходил со мной на стадион. Ему самому велосипед, наверно, уже надоел, и он ради меня просиживал часы в ожидании, пока я не накатаюсь. Я убедился, насколько он был добр и деликатен. Я был ему очень признателен. Недели через две к нам присоединился Миша Нафтолин. Он уже хорошо владел велосипедом, но все же прокатиться тоже хотел. И мы с ним стали ездить по очереди. Но мои нервы не были такими крепкими, как у Арона. Сидеть на скамейке в ожидании, пока Миша сделает несколько кругов по стадиону, мне не нравилось, и через несколько дней я охладел к велосипеду. И можно сказать, как раз вовремя: отец Арона сказал, что велосипеду надо тоже отдыхать.

Тогда-то и появилось у меня еще одно увлечение. У Арона была дома мандолина. Он на ней уже прилично играл. Мне тоже захотелось научиться играть на мандолине. Тем более, что мой отец, как рассказывала мама, хорошо на ней играл. Арон охотно согласился научить меня играть на этом инструменте. Ноты я не знал, и он пронумеровал лады и стал меня учить по цифровой системе.

Дней через десять я уже довольно сносно играл песню "Среди долины ровныя". А затем дело пошло быстрее, но все же отсутствие инструмента у нас дома не позволило мне достичь в этом деле большего совершенства. Таким же образом он научил меня играть на балалайке, одолжив ее у каких-то родственников...

В самом начале учебы в четвертом классе я решил по примеру соседа на нашей улице заняться закаливанием своего организма. На нашей улице в доме номер 18 жили Гульманы и Половицкие. Так вот, сын часовщика Половицкого Наум всю прошлую зиму ходил купаться на Днепр. Теперь таких зимних купальщиков называют «моржами», а тогда их почему-то считали сумасшедшими. Наша соседка, вездесущая и всевидящая тетя Сарра, заходила к нам через смежную дверь и говорила:

– Идите смотреть, опять этот сумасшедший сын Половицкого пошел купаться.

Это было невиданное и неслыханное явление. Никто не мог себе представить, чтобы нормальный человек купался в Днепре, когда на улице мороз в двадцать пять градусов. Одно только объяснение было у всех на уме: этот человек сошел с ума, только сумасшедшие не чувствуют боли, а тем более холода. А так как сумасшедших у нас в городе было раз-два и обчелся, то как было не бежать, чтобы посмотреть на них. Мы одевались потеплей и все выходили на наш двор.

С нашей горы хорошо видно, что делается на замерзшей реке. Каждый день крестьяне режут там лед. Они приезжают на санях, пилят лед квадратами, а затем длинными вилами вытаскивают эти кубики на лед, грузят на сани и увозят в ледники: идет заготовка льда на лето. Вот к этой полынье и шел по замерзшему Днепру Наум Половицкий. Смотрели не только мы. Люди стояли и во дворе у Славиных, и у Драпкиных, и на горе у спуска к Днепру. Всем интересно, как человек в такой мороз будет купаться в полынье.

Половицкий подходит к краю полыньи, раздевается до трусов и, разбив палкой тонкий налет льда, который образуется после отъезда крестьян, осторожно опускается в воду. У нас у всех, глядя на него, невольно мороз по коже пробежал.

– И как ему не холодно? – удивляется мама.

– Собачья шкура у него, – говорит дядя Симон.

– Одним словом, сумасшедший, – делает вывод тетя Сарра.

Из полыньи поднимается легкий парок. А между тем, Наум Половицкий плавает, поласкается в полынье, и брызги воды разлетаются во все стороны. Потом он быстро выскакивает на лед, обтирается полотенцем, одевается и идет домой. А все «наблюдатели», провожая его взглядом, только диву даются: как это ему не холодно?

Поначалу я тоже думал, что он сумасшедший. Взрослые знают, что говорят. Встречая его на нашей улице, я внимательно вглядывался в его лицо, но ничего сумасшедшего не находил. В городе у нас был один ненормальный парень Степа. Он прислуживал попу в деревянной церкви. На Степу посмотришь, и сразу видно, что он сумасшедший: лицо какое-то застывшее, глаза пустые. Близко подходить к нему мы боялись и только на расстоянии кричали: "Степка – дурак!" Он поворачивался к нам, ощеривался как зверь, и непонятно было, то ли он улыбался, то ли сердился. А Наум Половицкий мне нравился. Высокий, стройный парень с красивыми чертами лица. Летом он каждое утро ровно в семь часов ходил купаться на дамбу.

И вот я решил, также как и он, стать «сумасшедшим». Каждый день в шесть часов утра я спускался с горы и купался в Днепре. Утром вода теплее, чем воздух. Купаться приятно, но после купания – довольно прохладно, кожа покрывается пупырышками, как у обципанного гуся. Я пробегал из конца в конец дамбы, забирался на свой НП в ожидании Наума Половицкого. Он появлялся точно в семь часов. Проходил на дамбу, раздевался и прыгал в воду головой вперед. Потом минут пятнадцать он плавал на середине Днепра. К концу лета он куда-то исчез, перестал ходить по утрам на дамбу. Наверно, он где-то учился и приезжал к отцу только на каникулы. Но я все равно продолжал купанье по утрам.

В школе начались занятия, дни становились короче, погода стала ненастнее, но я все равно продолжал купаться по утрам. Правда, время приходилось менять – в темноте я почему-то опасался лезть в воду. Вскоре появились легкие заморозки. У берега образовалась тонкая корка льда. Я приходил, разбивал ледок камнем и плавал около берега. Вода была очень холодная, но я терпел.

– Собачья кровь! – услышал я однажды реплику от женщины, которая полоскала белье в реке и часто согревала руки своим дыханием.

С каждым днем корка льда у берега становилась все крепче и крепче. Все трудней и трудней было ее разбивать, чтобы освободить место для купания. По середине реки уже плавали льдины. И я решил бросить свою затею, все равно мне не под силу разбивать лед.

Через несколько дней после того, как я бросил ходить купаться, я в школе при разговоре во время перемены случайно обмолвился, что я каждый день купаюсь в Днепре. Но никто не поверил.

– Рассказывай сказки! – кричит Аба Нехамкин. – Я сам видел, как там льдины плывут.

– А ведь берег уже льдом покрыт, – говорит Аврам Гольдин.

А мои друзья Миша Нафтолин и Арон Шпиц смотрят на меня так, что я сразу понял, что и они мне не верят. Я даже рассердился от такого неверия.

– Если не верите, – кричу я им, – то пойдем на речку, и я вам докажу, что я не сказки рассказываю.

И все согласились идти на речку. После уроков почти все мальчишки нашего класса пошли смотреть, как я купаюсь в ледяной воде. Я гордо шел впереди всей компании по нашему Первомайскому переулку, заранее уверенный в своей победе. "Пусть раз и навсегда убедятся в моей правдивости!" – думал я.

Сойти вниз к Днепру почему-то никто не захотел. Они остались стоять на днепровской горе. Я один спустился к берегу. Сначала я натаскал дюжину тяжелых камней и, разбив ими прибрежный лед, приготовил себе место для купания. На горе все мальчишки стояли, одетые в зимние пальто и шапки, и смотрели на мои действия. Я разделся, сделал два шага по воде и, как всегда, бросился в воду. Но со мной на этот раз случилось что-то непредвиденное. В глазах у меня потемнело, и в темноте заплескали какие-то искрометные точки, которые завертелись в какие-то круги. "Неужели я умираю?" – мелькнула у меня страшная догадка, и желая во что бы то ни стало уйти от этой смерти, я стал изо всех сил двигать руками и ногами по воде. Двигаться, двигаться, чтобы не застыть. И черная пелена ушла из глаз, и я увидел стоявших на горе товарищей. Я еще сильнее стал бить ногами и руками, радуясь что черная смерть отступила от меня. Вот что значит пропустить несколько дней купания! Когда я ходил купаться каждый день, ничего подобного не случалось. Когда я еще раз глянул на нашу гору, там уже никого не было. Они, конечно, убедились в моей правдивости и разбежались по домам. Но для меня этот эксперимент мог закончиться очень плачевно.

На следующий день в школе я был героем дня. Все удивлялись и восторгались моей закалкой, даже завидовали. И никто не подумал обозвать меня сумасшедшим, как это делали взрослые.

Как-то Миша Нафтолин прибежал ко мне сильно возбужденный.

– Хочешь почитать хорошую книгу? – спросил он.

– Хочу, – ответил я, – а как она называется?

– "Как закалялась сталь", – ответил Миша.

Я улыбнулся, решив, что Миша принес мне очередную хитроумную шутку. Я его уже хорошо изучил.

– А зачем мне знать про сталь? – говорю я ему с улыбкой, уверенный, что на этот раз ему не удастся меня разыграть. – Я ведь не собираюсь стать сталеваром.

– А в книге про сталь нет ни единого слова, – говорит он мне, тоже улыбаясь.

Его ответ меня озадачил. Как же так, книга называется "Как закалялась сталь", и в ней нет ни слова о стали. Что же это за книга? Миша говорил серьезно, и не верить ему я не мог.

– Принеси, – сказал я ему, – посмотрим, что это за книга.

Я все же был осторожен. А вдруг он задумал шутку с двойным дном? Миша без лишних слов побежал домой и через несколько минут книга лежала передо мной на столе. Сам Миша куда-то заторопился и ушел.

Книга называлась точно так, как говорил Миша, но по оформлению не была похожа ни на техническую, ни на научную. Я тут же стал ее читать, чтобы убедиться, что в ней действительно нет ничего о стали. Но с первой же страницы я был настолько захвачен событиями, происходящими в какой-то далекой Шепетовке, что забыл о том, что ищу слово «сталь». Больше того,

я вообще забыл обо всем на свете: и о солнечном дне, и о еде, и обо всех своих обязанностях по дому. Ведь в такой день сидеть дома просто грешно. А я просидел целый день дома, не вставая из-за стола. Книга была очень интересная, и я ее прочитал в один присест, чего прежде со мной еще ни разу не было. А закончив читать, я очень пожалел, что нет второй части.

Я сидел и заново переживал всю жизнь Павки Корчагина, когда вернулась с работы старшая сестра Соня. Она-то и вернула меня из книги в домашнюю обстановку.

– Чего же ты целый день делал? – стала она меня выговаривать. – Воды не принес, картошки не начистил, пол не подмел, корова стоит не кормленная и не доенная. Такого еще с тобой не бывало. Не заболел ли ты?

– Нет, – отвечаю я ей, – я весь день читал книгу.

– Это еще что за новость? – кричит на меня сестра, – книгу можно было бы и потом почитать, после всех дел по дому.

– И я так думал, – отвечаю я ей миролюбиво, – почитаю пару страниц и займусь домашними делами, а как начал читать, так обо всем и забыл. Знаешь, какая интересная книга? Почитай и сама убедишься.

Соня в это время подметала пол. Она подошла к столу, взяла книгу, прочла название и тут же отложила ее.

– Еще не хватало мне читать про сталь, – сказала она, – я же не мужчина!

– Вот и я так сразу подумал, – говорю я ей, – а в книге совсем про другое. В книге рассказывается про людей, которые в сто раз крепче стали. Представляешь?

Но сестра уже не хотела меня слушать. Она подмела пол и ушла на кухню. А мне надо было покормить и подоить корову, ибо никто за меня эту обязанность не сделает. Соня боится даже близко подойти к корове, а мама на работе.

На следующее утро я с книгой побежал к Мише Нафтолину.

– А второй части книги у тебя нет? – был мой первый вопрос.

– Что, понравилась? – ответил он вопросом на вопрос.

– Еще как! – сказал я восторженно.

– А ты же не хотел читать про сталь! – сказал он с хитринкой в глазах.

– Я думал, что в книге идет речь про настоящую сталь, – говорю я ему виновато.

– Ладно, сегодня отнесу эту книгу в библиотеку и попрошу вторую часть.

Я опять позавидовал Мише. По росту и виду его везде принимали за взрослого. Его и в библиотеку записали, его и в кино на вечерние сеансы пропускали. А мне нигде нет прохода – и ростом не вышел, и лицо ребячье. Как мне хотелось быстрее стать большим и пользоваться всеми правами взрослых!

Вечером он принес вторую часть книги и сказал:

– Сначала ты прочти, а потом я буду читать.

Он уступал мне первенство, наверно, потому, что чувствовал, что моя заинтересованность книгой больше, чем его. И я был ему за это весьма благодарен. С радостным чувством предстоящей встречи с Павкой Корчагиным я уселся за стол читать вторую часть книги "Как закалялась сталь". Но радость моя быстро улетучилась. Громадные трудности, которые испытывала наша страна после гражданской войны, меня не увлекли.

Я читал вторую часть с перерывами в течение нескольких дней. Для меня тогда были интересны во второй части только некоторые моменты борьбы наших чекистов с недобитыми врагами Советской власти. Я отмечаю это потому, что через много лет я опять прочел эту книгу, и вот тогда вторая ее часть понравилась мне гораздо больше первой. Вполне понятно, что четверокласснику она могла показаться скучной из-за непонимания тех целей, к которым вела народ партия большевиков в двадцатые годы.

В последующие годы я стал сильно увлекаться чтением книг и прочитал их не одну тысячу, но впечатление от книги Николая Островского "Как закалялась сталь" осталось у меня самое сильное. Эта книга – школа воспитания, школа мужества для молодых сердец.

Примерно в это время на нашу семью обрушился неожиданный удар. Одежда, которой мы пользовались, всегда была вся на нас. Это значит, что никакой смены одежды у нас не было. Чтобы как-то поддерживать одежду в чистоте, мама стирала ее вечером, а утром мы одевались во все чистое. Так же мама поступила и в тот роковой день. Вечером она постирала наши рубашки, брюки, юбки и платья и, как всегда, повесила их сушиться в чулане, а сама ушла в ночную смену. Она работала в пекарне и по ночам.

Утром я встал, как обычно, раньше всех и побежал за своей одеждой, но там ее не было. "Наверно, мама уже все сняла", – подумал я. Искать одежду было некогда, так как надо было готовить корову в стадо. Я быстро вытащил ей во двор пойло, заготовленное накануне, и, пока корова ела, подоил ее. Минут через десять на улице появился пастух со стадом, и я вручил ему и нашу корову. Как всегда, вышла проверить меня наша соседка тетя Сарра. Ей-то я и сказал, что мама вечером повесила сушить нашу одежду, а на веревке ничего нет. Тетя Сарра разбудила Соню и Сашу, но они ничего не знали.

– Беги к маме на работу и спроси ее, куда она девала вашу одежду?

Мы еще надеялись на то, что мама ее куда-нибудь положила, а мы просто не можем найти. Нам даже в голову не приходила мысль, что кто-то мог нас обворовать. Ведь у нас ничего лишнего не было. Я по наивности думал, что воруют только у тех, у кого много лишнего. В одних трусах я прибежал к маме на работу и сказал, что мы не можем найти постиранную одежду.

– На веревке она висит, – сказала она испуганно.

– Веревка пустая, – ответил я. От моего ответа у мамы вдруг полетела на пол длинная узкая лопата с кренделями. Схватившись за голову, она простонала:

– Во что же я буду вас одевать?

Пришлось одной из маминых напарниц подменить маму у печи, а мама пошла со мной домой, где окончательно выяснилось, что нашу сотню раз перемытую одежду кто-то украл. Мама горевала и удивлялась одновременно. Она никак не могла понять, кто это мог обворовать ее бедных сиротинушек. И не было у мамы другого выхода, как расстаться с коровой. Корову продали, и я неожиданно освободился от самой главной моей заботы. Как говорится в поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Дом номер восемь на нашей улице принадлежал Кусе Смолкину, инвалиду войны. Дом был большой и большую часть его он сдавал квартирантам: Бичкуновым и Фельшиным. Фельшина воспитывала двух детей. Чтобы прокормить их, она занималась перепродажей старых вещей. Она ходила по домам и брала на продажу вещи, которые стали ненужными людям. Она была вроде комиссионного магазина на дому. Ее-то мама и позвала к нам, чтобы заказать нам одежду по дешевке. И эта Гинда Фельшина принесла нам одежду в тот же день, наверно, из своих запасов. Я был одет в «новый» костюм, а «новые» платья одели Соня и Саша. Старший брат учился в это время в Минске.

После продажи коровы я мог спать по утрам столько, сколько захочу, но я все равно вставал рано и радовался подъему солнца над дальним лесом. Греясь на утреннем солнце, я читал книги или заучивал стихи русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, но больше всего – Александра Твардовского из книги "Страна Муравия". Некоторые места из поэмы я выучил наизусть и при случае декламировал соседям. Твардовского у нас тогда почти не знали, и когда я читал его четко рифмованные стихи, все почему-то думали, что их сочинил я. А мне не хотелось их разубеждать. Я ведь мечтал стать писателем.

Однако, нам недолго пришлось пожить в относительном спокойствии. Не очень-то благосклонна была судьба по отношению к моей маме. К середине тридцатых годов обстановка

в нашей стране стала тревожная. Фашизм в Германии с молчаливого попустительства западных стран и, особенно, Англии и Франции, быстро набирал силу. Чувствуя свою безнаказанность, немецкие нацисты задумали подчинить себе весь мир. Они стали верховодить и в Италии, и в Японии. Против фашизма восстала республиканская Испания, и уже истекла кровью в неравной борьбе абиссинский народ. Тревожно стало по всей западной границе нашей страны. Враги тайно засылали к нам шпионов и диверсантов, чтобы мешать нам строить новую жизнь. Недруги Советской власти, бывшие богачи, кулаки и их отпрыски, притворяясь лояльными, проникали во все учреждения, даже в партию, и вредили, где только удавалось.

В такой обстановке партия большевиков, вполне естественно, время от времени проводила чистку своих рядов. Но и этим тоже пользовались враги нашего народа, создавая обстановку недоверия, клеветы на настоящих, преданных партии коммунистов. Враждебные элементы доносами и клеветой отстраняли от руководства командиров Красной Армии, работников партийных и советских органов. Анонимным письмам почему-то придавалось больше доверия, чем открытым заявлениям честных людей. Нарушались законы советской Конституции под лозунгами борьбы с врагами. Людей арестовывали и ссылали в отдаленные места без суда и следствия.

Мы, школьники, не могли, конечно, все это знать. По сообщениям радио и газет мы снимали в школе и дома портреты ранее всеми уважаемых людей. Мы верили, что они действительно стали предателями дела коммунизма. Взрослые втихомолку удивлялись такому количеству предателей среди руководящих работников, но говорить об этом вслух не решались.

Вот в такой обстановке началась очередная чистка партийных рядов. На одном из партийных собраний в хлебопекарне кто-то предложил исключить из рядов ВКП(б) мою маму, объясняя причину тем, что она малограмотная и бесполезная в рядах партии. Мама рассказывала потом, что в первое мгновение у нее от удивления отнялся дар речи. Самое непонятное было в том, что многие были согласны с этим предложением, забыв о ее работе в профсоюзе, в обществе Красного Креста, об ее активности на собраниях. Мама только сумела крикнуть: "Как вы можете на такое решиться?" Почувствовав, что вот-вот может лишиться главного смысла своей жизни, ей стало так жаль себя, что слезы сами собой полились из глаз.

Не знаю, как она там плакала, но я до сих пор не могу представить себе плачущую маму. Старые рабочие выступили в ее защиту и в некотором роде сумели отстоять ее. Маму не исключили из партии, а только перевели в кандидаты. Но и это ее страшно угнетало. Это было для нее величайшей несправедливостью. По ночам она плохо спала, без конца вздыхала. Она стала худеть прямо на глазах. Каждый свободный день она ходила в райком партии изливать свою обиду, благо там было много знакомых. В эти месяцы наш дом забыл, что такое радость, забыл смех и веселье, забыл песни.

Мы все переживали вместе с мамой, были возмущены таким решением. Как потом выяснилось, предложение об исключении мамы из рядов партии внесли работники хлебопекарни, которых мама часто критиковала на собраниях за халатность и пьянство. Мама выводила их на чистую воду, и они решили ей отомстить. Очевидно, в райком партии мама ходила не зря. Там разобрались и решение парторганизации пекарни было отменено. Маму восстановили в рядах ВКП(б). Но какой ущерб нанес ей этот прискорбный случай, знает только она и мы, ее дети.

Наконец-то у нас опять стало весело в доме, опять стал раздаваться веселый мамин смех, опять она стала петь свои наспех придуманные песни. Опять мама стала прежней мамой...

По окончании четырехклассной школы номер шесть нас автоматически перевели в семиклассную школу номер три, которая через два года стала десятилеткой. Школа находилась на углу улиц Циммермановской и Садовой, в бывшем особняке Спиридонова. Во время Октябрьской революции этот дом был изъят у богача, и именно в этом здании было впервые объявлено об установлении Советской власти в Рогачевском уезде. Это было красивое двухэтажное здание из красного кирпича с аккуратными черными швами. В школе было два входа: слева – на

второй этаж, где с обеих сторон длинного коридора расположились классы, справа – в актовЫй зал, который одновременно служил и спортивным залом. Слева от школы, через небольшой дворик, стоял сарай из такого же красного кирпича, расположенный параллельно торцу школы. А за сараем и позади школы рос большой фруктовый сад.

Эта школа была далеко от нашего дома. Но я, как и прежде, ходил в школу очень рано и до начала занятий успевал приготовить все заданные уроки. Книги и тетради я всегда засовывал за пояс: мне нравилось ходить со свободными руками. Вначале я ходил в школу по самому простому пути. Выходил по нашему переулку на Циммермановскую и шел по ней до городского сада, затем поворачивал направо и доходил до Садовой улицы, где и была школа. Эта дорога в школу была хоть и длинной, но зато интересной.

Если идти по левой стороне, то можно увидеть еврейскую школу номер шесть, белорусскую школу номер два, склады напротив белой церкви, магазин «одежда», где работал отец Арона Шпица, «Торгсин», милиция, вход в библиотеку на втором этаже, хлебопекарня, в которой работала моя мама, аптека, колбасная, огороженное забором пепелище недавно сгоревшей хлебопекарни, где мы с мамой теперь засеивали огород, магазин канцтоваров и швейная артель напротив деревянной церкви, затем стояли три частных дома до Красноармейской улицы, а напротив этих частных домов стояли каменные дома: двухэтажный "Дом политпросвещения" и два продовольственных магазина. А на углу Красноармейской и Циммермановской улиц находился наш прекрасный кинотеатр.

Но потом я стал сокращать дорогу в школу, пересекая по диагонали Складскую площадь и Базарную площадь. По этой дороге ничего, кроме частных домов, не встречалось, а рано утром и людей не было видно. Когда ночи становились длинные, и приходилось ходить в школу в темноте, я чаще выбирал первоначальный путь. Пока погода была теплой, дорога в школу была приятной, но как только наступали холода, ходить в школу становилось невесело. Зимнего пальто у меня не было. В одном пиджаке в мороз спокойно не походишь. Приходилось бежать в школу, и прибегал я всегда в поту. Это было неприятно, но другого выхода не было. Так я поневоле закалялся и холодом, и бегом, что мне очень пригодилось в армейской жизни, а затем и на фронтах Отечественной войны.

Учиться в школе номер три было и веселей и интересней. Во-первых, школа была большая с длинным коридором, по которому можно было во всю силу разбежаться. Особенно интересно было мчаться по каменной лестнице: вверх через ступеньку, вниз – по перилам. Это была первая подобная лестница в моей жизни. Нравился мне и спортивный зал с конями, козлами, перекладинами, брусками и матами. Раньше я этого никогда не видел. Во-вторых, в этой школе училось много больших и здоровых парней, и мы среди них тоже чувствовали себя будто бы взрослей. Правда, у этих старшеклассников были разные характеры. Многим из них нравилось показывать перед нами свою силу и мимоходом раздавать подзатыльники, но были и другие, которые относились к нам с теплотой и вниманием.

Больше всех нас забавлял Самуил Гинзбург, крупный, здоровый парень со светлым лицом и дежурной полуулыбкой. Сразу было видно, что этот парень добряк из добряков. Он вносил в наш класс веселье и удивление. Войдет в класс и громко объявляет:

– Кто хочет посмотреть фокус?

Подойдет к нескольким ученикам и персонально спрашивает:

– Ты хочешь увидеть фокус?

– Да, – говорит Гена Плаксин.

– Раз хочешь, – значит увидишь.

Потом подходит к Давиду Гуревич и повторяет вопрос. Давид тоже хочет увидеть фокус. Фокус захотели увидеть и Нехамкин Аба, и Ефим Фрумин, и Яша Дубровенский.

– Внимание, внимание, – объявляет Самуил, – смотрите внимательно! Фокус начинается!

Мы все ждем какие-то необыкновенные фокусы, какие показывают в театре приезжие иллюзионисты. А Самуил подзывает Гену Плаксина и говорит:

– Ты ничего у меня не взял?

– Ничего, – говорит Гена.

– Только говори честно, – говорит, улыбаясь, Самуил, – не бойся, я тебя и пальцем не трону.

– Ничего я не брал, – подтверждает Гена.

– А что у тебя лежит в нижнем кармане пиджака?

Гена опускает руку в свой карман и неожиданно для себя вытаскивает оттуда черный эбонитовый шарик.

– Это твой шарик? – спрашивает, улыбаясь, Самуил.

– Нет, – смущенно отвечает Гена.

– Значит – мой, а ты говорил, что ничего не брал у меня, нехорошо, нехорошо прятать чужие вещи в свой карман.

То же самое произошло с теми мальчиками, к которым он подходил. У них у всех в карманах оказывался какой-нибудь предмет. Ребята, не «пострадавшие» от фокуса, в восторге. Здорово получается у веселого Самуила!

В другой раз Самуил вошел в наш класс во время большой перемены и похвалился новеньким блестящим перочинным ножиком. Показать – показал, а руками потрогать его никому не дал.

– А теперь смотрите, – обращается он ко всем, – сейчас я этим ножиком проткну себе щеку.

Мы все заулыбались, уверенные в том, что уж этого он никак не сделает. А он изобразил строго-отрешенное лицо и воткнул острие ножа в щеку, и лезвие действительно стало постепенно, очень медленно входить в щеку. Мы от удивления рты раскрыли. Когда же лезвие ножика полностью вошло в щеку, он так же медленно стал его вытаскивать. Все выглядело естественно и правдиво, и никто не подумал усомниться. Вынув лезвие из щеки, Самуил с улыбкой показал нам, что щека осталась невредима, и ушел, оставив нас в недоумении.

– Обман зрения, обман зрения, – веско констатировал Ефим Фрумин.

Но никто не мог объяснить, почему происходит этот обман зрения. Даже не было никаких предположений. Только на следующий день Самуил пришел и показал, в чем секрет его фокуса. Оказалось, что ножик был с секретом. Он выдвигался из ручки при помощи кнопки и специального паза в ручке. И сразу все стало ясно и понятно. Ефим Фрумин действительно оказался прав, когда сказал, что этот фокус построен на обмане зрения. Мы думали, что лезвие ножа входит в щеку, а оно входило в ручку ножика. Да, Самуил Гинзбург родился, чтобы приносить людям радость.

Один из старшеклассников с момента моего появления в этой школе проявлял ко мне что-то похожее на отеческое внимание. Первая наша встреча меня очень удивила, и я чуть не рассердился на него, приняв его фамильярность за очередной розыгрыш. Я бежал по коридору школы, когда неожиданно передо мной появился высокий, широкоплечий, здоровый парень с черным густым чубом. Черты лица у него были крупные, подбородок широкий, раздвоенный, брови густые. Он развел свои большие руки, и я не успел увернуться от них. Схватив меня под мышки, он поднял и подбросил меня над своей кудлатой головой, а затем аккуратно поставил на пол. Я был до глубины души оскорблен в своем мужском самолюбии. Ведь я его совсем не знаю, а он подбрасывает меня, как маленького ребенка. Хорошо еще, что поблизости никого не было из моего класса. Наверно, он почувствовал мое недовольство и поэтому, ставя меня на пол, сказал миролюбиво:

– Не сердись, Левочка, – и погладил мои кудри своей широкой ладонью.

И злость моя сразу пропала. Он ушел, а я остался в недоумении. "Откуда, – думал я, – он знает, как меня зовут? Ведь я его совсем не знаю".

Через несколько дней, когда я, Миша и Арон стояли в коридоре школы и о чем-то разговаривали, мимо нас проходил этот же парень и поздоровался со мной:

– Добрый день, Левочка, как твои дела?

И, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Теперь я его лучше рассмотрел: красивый, крепкий, лицо мужественное, спокойное. Такого никто не посмеет обидеть. Будучи сам маленьким и слабым, я всегда завидовал всем сильным. "Везет же людям, – думал я, имея в виду Мишу Нафтолина, его брата Иосифа, Самуила Гинзбурга, Бориса Славина, – растут рослые, здоровые, ходят по жизни без малейшего страха, уверенно и смело". Ну, как тут им не позавидовать! Вот и этот новый знакомый такой же. Когда он достаточно отошел от нас и не мог меня слышать, я спросил у Миши:

– Ты не знаешь этого парня?

– Знаю.

– Кто он? А то он здороваётся со мной, а я его совсем не знаю.

– Исаак Борухович, – ответил Миша и вдруг шепотом добавил, – вот его сестра идет.

К нам приближалась удивительно похожая на Исаака Боруховича девушка с круглым лицом, густыми черными бровями и двумя толстыми косами на груди. Такая же высокая, широкоплечая, похожая на крепкого парня. Когда она прошла, Миша продолжил:

– Они – двойняшки. Отец их – раввин с длинной черной бородой. Живут они позади сада, который находится напротив учительского института, по улице Володарского. Я их знаю потому, что они учатся в седьмом классе вместе с моим братом Иосифом. Наверно, брат и рассказал Исааку про тебя.

Теперь мне стало ясно, почему он знает меня.

– Говорят, что он пишет стихи, – продолжает Миша рассказывать, – даже поэт Самуил Галкин его похвалил.

Эта новость меня особенно заинтересовала. Ведь стихи писал и мой брат. Я тоже пытался ему подражать, но у меня пока ничего не получалось. А теперь мне не у кого было учиться, так как брат после окончания техникума работал зоотехником в Минской области. А без брата у меня и интерес к стихам пропал. Недавно, после прочтения повести Александра Фадеева «Разгром», я тоже решил написать повесть про партизан. Мне казалось, что это очень просто. Только из этой затеи у меня ничего не вышло. Много времени уходило на придумывание новых фамилий для героев, вроде как Лодкин, Веслов или Мостов. Сходу написал несколько страниц, а слушать их никто не хотел. Ни мама, ни сестры. Один только сосед, сапожник Драпкин, прослушал начало моей повести. Но то, что мои родные не принимают всерьез мои сочинения, сильно охладило мое стремление к написанию повести, и я так и не закончил свою повесть.

Теперь вы сами можете понять, почему меня так заинтересовал Исаак Борухович. Встречи с ним были не только приятны для меня, но и желательны. Хотелось с ним подружиться, но я был настолько застенчив, что это желание так и осталось только желанием. Я только гордился тем, что он со мной приветливо здоровается.

Где-то в середине тридцатых годов детскому дому, который находится по соседству с нашей улицей, дали новое здание, а здесь, в бывшем особняке богача Михеева, организовали пионерский клуб. Я был рад этому, как никто другой. И нет, наверно, мальчишек, которые бы не радовались, когда у них под боком открывают клуб для детей. Во дворе Дома пионеров установили большую, из толстых бревен, перекладину, а к ней подвесили канаты, прикрепили шесты и наклонную лестницу. Рядом установили турник. Это было как раз то, чего нам не хватало для нашего физического совершенства. И главное – все это было рядом с нашим домом.

Все свободное время теперь мы проводили во дворе Дома пионеров. Жизнь наша стала интересней. Теперь мои друзья Арон Шпиц и Миша Нафтолин приходили ко мне чуть ли не

каждый день, и мы вместе шли во двор Дома пионеров и целыми часами тренировались лазить по канату и по шесту, подниматься на лестницу на одних руках. Конечно, поначалу это удавалось только одному Мише. Он легко взбирался на канат и шест, легко перебирая руками, без особых усилий поднимался по лестнице под самую верхнюю перекладину. Подтягиваясь и перебирая руками, мы с Ароном тоже научились достигать верхнюю ступеньку лестницы. И хотя сразу мы научились подниматься только ступенек на пять, мы и этим были довольны. А в остальном мы гордились нашими достижениями и снисходительно смотрели на новеньких, которые с трудом одолевали каждую ступеньку лестницы.

Как только мы научились одолевать эти спортивные снаряды, мы потеряли к ним интерес. Нас ждали новые интересные дела. Но прежде, чем о них рассказать, я бы хотел остановиться на одном досадном случае, который оставил след в моей памяти.

Как я уже писал, мы с Ароном Шпицем стали неразлучными друзьями и поэтому не оставляли друг друга, как говорится, ни на минуту. Дорога у нас была одна – прямая и до предела изученная. Это улица Либкнехта, начиная от Первомайской и до Луначарской. Однажды, шагая с Ароном по нашей улице, Арон увидел на углу, образованному с улицей Бобруйской, оторванную доску в заборе дома родственников Миши Нафтолина, которые жили рядом с церковным садом. В саду, наверно, кто-то побывал. Заглянув в дыру, Арон увидел молодой зеленый сад. Но его пленила совсем рядом с забором молодая груша с крупными плодами. Он разволновался и стал заметней заикаться:

– Посмотри ка-кие груши там? – сказал он мне, предлагая заглянуть в дыру. Я посмотрел и действительно убедился, что груши большие и очень аппетитные. Они были спелые, и красный румянец на щеках груш кричал нам об этом.

– По-полезем, – просит меня Арон.

– Нет, – отвечаю я ему, – к ним не полезу, они хорошие наши знакомые. Моя сестра Соня дружит с Фридой и Ривой. У них взрослые братья Моисей и Руве. Если поймают – накостылят. Да еще стыда не оберешься. Но Арон неожиданно настаивает на своем. Уж очень ему груши приглянулись. Не может от них глаз оторвать.

– Не могу я сюда лезть, – сопротивляюсь я, – они ведь родственники Мише Нафтолину, – даю я ему еще один веский довод. А Арон стоит на своем:

– Ни-кто не у-у-видит, Дом-то вон как да-да-да-ле-ко.

Ему-то хорошо рассуждать, он их не знает, и они его не знают. А меня они сразу заметят и пожалуются маме.

– Смо-о-три какая вы-со-кая трава, – Арон все больше волнуется, недовольный моим отказом, – ни-ни-кто нас не-не-не заметит.

И я решил поддержать его. Груши висели совсем рядом – рукой подать. Надо и нас понять: ни у Арона, ни у меня не было фруктового сада. И денег на покупку таких груш тоже не было. Соблазн был слишком велик. Мы пошире отодвинули доску, которая держалась на верхнем гвозде, и, согнувшись, полезли в сад. До груши было три шага. Мы торопливо стали срывать груши и бросать их за пазуху. Вдруг я увидел, как из дома бросился в сад старший сын Нафтолиных Исаак, работавший парикмахером и, наверно, гостивший у них.

– Бежим, Арон! – громким шепотом сказал я и бросился к лазу – Арон за мной.

Очувтившись на улице, я не знал, куда бежать. Наш дом близко, но бежать к нам я не решился. Я еще не забыл, как мама наказывала брата за то, что он посмел сорвать грушу у Клетецких. Тогда бабушка Анель пришла к нам и пожаловалась на брата. Мама очень рассердилась, схватила Лазаря за руку, потащила во двор, положила его животом на землю, вытащила палку из метлы и била его этой палкой по мягкому месту. Я тогда был совсем маленьким, но хорошо помню, как брат терпел, а я стоял рядом и горько плакал. И все это из-за груши, которая висела на стороне двора Драпкиных, а брат, проходя к Днепру, мимоходом сорвал ее. Никогда больше я не видел маму такой рассерженной...

Эта давняя картина промелькнула в моем мозгу за считанные доли секунды. И я побежал по улице Либкнехта к далекому дому Арона. Я надеялся, что этот Исаак меня не узнает, и если мы убежим, в чем я не сомневался, то дома никто не узнает о моем проступке. Мы бежали по улице, а Исаак догонял нас по церковному саду. Когда мы пересекли Северо-Донецкую улицу, Исаак только перелазал через церковный забор. Когда мы выбежали на перекресток с Базарной улицей, Исаака сзади не оказалось.

Арон задыхался и бежать больше не мог. У него было слабое здоровье. Он болел малярией и во время приступов она отнимала у него все силы. Он всегда чувствовал, когда подходит приступ, и спешил домой. Бывало, сидит на уроке и вдруг встает и идет из класса. Это значило, что скоро будет приступ, и он спешит домой под двойное одеяло. Учителя знали об этом и никогда его не ругали за самовольный уход с урока. И сейчас он задыхался от каких-то двухсот метров бега. Мы подошли к церковной ограде деревянной церкви и высыпали все груши в траву. На углу церковного забора был колодец с воротом. Арон сел позади колодца, чтобы отдышаться.

В это время я увидел, что Исаак бежит к нам со стороны Циммермановской. Он, оказывается, побежал вокруг квартала, чтобы усыпить наше внимание.

– Бежим! – кричу я Арону, – Исаак сюда бежит!

– Бе-бе-ги о-о-дин, я тут ос-станусь!

Я подумал, что Исаак погонится за мной и не заметит Арона, и побежал дальше. Отбежав метров пятьдесят, я оглянулся. Исаак за мной не побежал. Он, наверно, тоже утомился. Все-таки парикмахер, бегать ему не приходится. Он стоял на углу и показывал мне кулак. Я сделал несколько шагов к нему, думая, что он погонится за мной, но он повернулся, чтобы уйти, и вдруг заметил ярко-рыжие кудри Арона за колодцем. Исаак осторожно подошел к колодцу и, рывком схватив Арона за воротник рубашки, потащил его на Циммермановскую. Эх, как я жалел, что Арон не согласился пробежать еще немножко. Мы были бы в безопасности. А теперь придется идти следом за ними – не оставлять же Арона одного. Я пошел за Исааком и Ароном и, когда увидел, что Исаак завел Арона в милицию, пошел туда же.

Вход в милицию находился между магазином «Торгсин» и входом в библиотеку. Перед входом в милицию я встретил сестру Соню. Она шла под руку с Ривой Нафтолиной, хозяйкой сада, в который мы залезли.

– Куда ты идешь? – удивилась Соня.

– В милицию, – ответил я бодро.

– Зачем? – Арона туда забрали, – сказал я.

– Иди домой, сумасшедший! – сказала она и пошла с Ривой дальше, наверно, гулять в городской сад или в кино.

Но я, конечно, не послушался ее. "Вместе польстились на эти груши, вместе и отвечать", – подумал я и решительно толкнул дверь в милицию. Маленькая полутемная комната была разделена перегородкой. За ней стоял стол, а за ним стоял милиционер, очевидно, дежурный.

Арон сидел на деревянной скамейке притихший и бледный. Бегать ему, наверно, нельзя было. Исаак Нафтолин стоял у перегородки напротив милиционера и держал в руках пару груш.

– Вот и второй, – сказал он милиционеру, когда я вошел.

– Сам явился, – сказал милиционер, – это хорошо.

Острые предметы, ножи у вас есть? – спросил он.

– Нет, – ответили мы хором.

– Зачем залезли в чужой сад? – спросил он строго.

– Да мы ничего не успели взять, – пролепетал я, опустив глаза.

– Вот посмотрите, товарищ милиционер, – показал груши Исаак, – после них подобрал.

Я хотел сказать, что его груши еще до нас кто-то там бросил, но, вспомнив выброшенные груши у церковной ограды, промолчал.

– Ладно, – сказал милиционер, – сейчас составим протокол.

Он достал бумагу, взял ручку и стал спрашивать у нас наши фамилии, имена, сведения о родителях, о их месте работы. Потом он спросил:

– На рояле играть умеете?

– Нет, – ответили мы, удивляясь такому вопросу.

– Пошли тогда со мной, а вы, товарищ Нафтолин, подождите нас здесь. Мы поднялись на второй этаж по ступенькам и вошли в довольно просторную комнату. Рояля здесь не было, только шкаф да два письменных стола и по стулу около них. На стене висели портреты Сталина и Дзержинского.

– Подойдите к столу, – сказал милиционер, – сейчас поиграем на рояле.

И опять мы удивились, почему он говорит о рояле, когда ничего похожего в комнате нет. Он положил заполненные бланки на стол, достал из шкафа штемпельную подушку, налил и размазал немного туши и позвал меня на другой край стола.

– Ну-ка, давай левую руку.

Взяв мою руку одной рукой, он второй рукой брал по отдельности каждый мой палец и прижимал его сначала к штемпельной подушке, а затем – к заполненному протоколу. На отпечатках моих пальцев были ясно видны круговые линии. Такую же процедуру он проделал и с Ароном.

– Вот мы и поиграли на рояле, – сказал он с улыбкой, – а теперь пошли вниз.

Внизу он попросил Нафтолина расписаться в какой-то книге. Нафтолин хотел оставить ему груши на столе, но милиционер попросил его забрать груши с собой. Потом он вызвал из соседней комнаты двух милиционеров, и в их сопровождении мы вышли на улицу. Один из них повел Арона в магазин к отцу, а другой повел меня к маме на работу, благо, и магазин, и хлебопекарня находились рядом. Мое появление в пекарне с милиционером вызвало у мамы крайнее удивление:

– Что случилось, Левочка? – спросила мама, глядя на меня с испугом.

– Да вот, в чужой сад залез, – ответил за меня милиционер, – на первый раз мы составили протокол, а если такое повторится, то обязательно оштрафуем.

– Мы с ним дома поговорим, – сказала мама сердито, – а пока простите его.

Она дала милиционеру два больших баранка, и тот, поблагодарив, попрощался и ушел.

– А ты беги домой, – некогда мне сейчас разговаривать с тобой.

И я пошел домой. По дороге домой я почему-то опять вспомнил картину наказания моего брата за сорванную грушу у Клетецких. Неужели мама собирается меня так же наказывать? У Клетецких я тоже рвал груши, особенно, когда маленькие окна у них были закрыты ставнями. И как их было не рвать, ведь дерево стоит по дороге на Днепр! Каждый раз, когда я ходил на дамбу, если во дворе у Клетецких никого не было, я обязательно срывал грушу. Груши были вкусные. Разве утерпишь, чтобы не сорвать хотя бы одну грушу. Они ведь висят не во дворе у Клетецких, а прямо над головой.

Одним словом я тоже ждал какого-нибудь наказания, но мама меня и пальцем не тронула...

В пятом классе я узнал, что уже могу записаться в библиотеку. Для этого надо было только внести залог в сумме трех рублей. Конечно, у мамы денег было мало, но для библиотеки она готова была урезать свой бюджет. Ведь библиотека – вещь в высшей степени полезная. Книга никогда еще никому не мешала. Наоборот, она становится лучшим другом и спутником в жизни человека. Библиотеке к тому времени дали новое помещение на улице Луначарского. Это был небольшой одноэтажный кирпичный дом какого-то купца, удравшего за границу во

время революции. В торец к этому дому поставили деревянную пристройку, где был организован читальный зал с отдельным входом.

Заведовал библиотекой Л. И. Кучинский, известный всему Рогачеву как "вечный библиотечарь". Он бессленно работал в городской библиотеке со дня ее основания. Это был мужчина среднего роста с очень приятным лицом, причем, как это ни удивительно, облик его не изменялся в течение десятков лет, как будто он не подлежал течению времени. Много поколений любителей книг прошли через его руки, и никто не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь был в плохом настроении. Он всегда приветливо улыбался и ко всем относился внимательно и благожелательно. Больше всего меня удивляло то, что он знал почти всех горожан поименно. Каждого читателя он встречал, как дорогого гостя, восклицая с доброй улыбкой: "О, кто к нам пришел!" Как будто этот приход читателя его прямо облагодетельствовал. Когда я пришел записываться в библиотеку, он, узнав мою фамилию, забросал меня вопросами и крайне удивил меня знанием нашей семьи.

– Как здоровье мамы?

– Где работает Лазарь?

– Не вышла ли замуж Соня?

Я стоял за стойкой ошарашенный его всезнайством. Я в тот момент еще не знал, что он одновременно работал и секретарем в нашей школе и, естественно, знал наизусть всех учеников и их родителей. А ведь до меня в этой школе учились и Соня, и Лазарь.

Когда я дома рассказал маме про Кучинского, она мне сразу ответила:

– Он ведь и в школе, и в библиотеке работает сто лет, как же ему не знать всех.

Первая книга, которая была предложена мне Кучинским, запомнилась мне надолго, можно сказать, на всю жизнь. Это была книга Н. С. Смирнова "Джек Восьмеркин – американец". Конечно, эта книга была не для моего возраста, и запомнилась она мне не потому, что понравилась, нет, я с трудом ее прочитал. Но прочитал только потому, что это была моя первая книга, взятая в городской библиотеке, о чем я уже давно мечтал. Я хорошо помню, что нес ее домой с большой внутренней робостью. Наконец-то я стал законным читателем нашей библиотеки. Хоть и с трудом, но книгу я прочитал за три дня и, не зная о часах работы библиотеки, побежал за новой книгой в десять часов утра. На дверях библиотеки висел замок. Оказалось, что библиотека работает с пяти до одиннадцати часов вечера.

Удивительно, но я почему-то еще не раз прибежал в библиотеку задолго до ее открытия, забывая расписание ее работы. Хорошо, что рядом находился дом, где жил Арон Шпиц. У него я часто проводил время в ожидании открытия библиотеки. Я очень сильно увлекся чтением и чуть ли не каждый день бегал в библиотеку. Почему-то больше одной книги Лазарь Иосифович мне не давал, хотя я, как и все другие читатели, внес необходимый залог. Когда я просил у него еще одну книгу, он неизменно отвечал с приятной улыбкой:

– Ноги у тебя молодые, и лишний раз прибежать в библиотеку – тебе на пользу.

Он, конечно, не знал, сколько времени я трачу на ожидание открытия библиотеки. Но обижаться на него я и не думал, потому что его лицо всегда было добрым, и я не сомневался в правильности его решения. Больше того, Кучинский мне очень нравился своей общительностью, и я иногда подумывал, что неплохо бы стать таким же добрым библиотечарем, как Лазарь Иосифович Кучинский...

Когда рядом с нашим домом открыли пионерский клуб, я почему-то долгое время не решался туда заходить. Мне казалось, что туда ходят только те мальчики и девочки, которые носят пионерские галстуки. У меня же его не было. И у моих друзей его не было тоже. Поэтому мы втроем и пользовались только спортивными снарядами, стоявшими во дворе.

Но любопытства ради я однажды решился переступить порог пионерского клуба. Там было много комнат и один большой зал. Вошел я, наверно, не вовремя, потому что никого там не увидел, но все двери были не запертыми, и я заглядывал во все комнаты. В одной комнате я

увидел на столах детали от моделей самолетов – там был авиамодельный кружок. В некоторых комнатах было чисто и поэтому непонятно, чем там занимаются.

Одна комната особенно привлекла мое внимание. В ней-то я и застрял. На столе и на стульях лежали балалайки, мандолины, домры и другие инструменты, названия которых я не знал. Но не они потянули меня в комнату. Весь угол этой комнаты занимал большой черный рояль – это была самая желанная вещь для меня. Еще в детском садике я пробовал подойти к роялю, но меня даже близко не подпускали к нему. Воспитательницы предупреждали, чтобы мы не прикасались к роялю. А теперь вот он, стоит в углу, и никого в комнате нет. Как тут было не воспользоваться моментом? Я давно хотел научиться играть на рояле. Я всегда завидовал всем детям, которые учились играть на этом инструменте. Сколько раз я уговаривал маму учить меня играть на рояле, но мама каждый раз со вздохом отвечала, что у нас нет таких денег.

И вот я в пустой комнате, а передо мной моя мечта. Я открыл крышку, и сердце мое заволновалось. Сколько клавишей! И черные, и белые! Сколько они таят в себе таинственных звуков, даже представить невозможно. Эх, как жаль, что у меня нет отца! Был бы отец, я бы уже давно играл на рояле, как Вадим в могилевском доме отдыха. Я осторожно нажал клавишу, и душа моя затрепетала: раздался приятный, короткий и в то же время сочный звук. Я ударил по черной клавише, и получился какой-то жалобный звук. Я стал ударять пальцами по клавишам справа налево, и тоненькие, веселые звуки перешли в громкие строгие басы. Это было какое-то чудо. Сколько разных звуков! Восторг охватил всего меня. Впервые мне посчастливилось прикоснуться к этому волшебному инструменту. Я немножко отдохнул и опять стал тихо ударять по разным клавишам, извлекая чудесные звуки.

Я не услышал, как в комнату вошла какая-то тетя, но увидев, как чьи-то руки закрывают крышку рояля, успел быстро убрать с клавишей свою руку.

– Сюда заходить нельзя, – сказала строго тетя.

Она выпроводила меня из комнаты и заперла дверь на ключ. И почему меня всегда прогоняют от этого музыкального инструмента? Неужели он для меня опасен? Почему мне не разрешают подходить к роялю? Я шел домой, очень удрученный этими мыслями. Как будто все сговорилось против меня. В детском садике близко не подпускали, в доме отдыха Вадим не разрешал трогать, а сейчас тетя прогнала, хотя в доме пионеров никого нет, и я никому не мешаю. Будто у меня на лбу написано, что мне на рояле играть воспрещается.

Разве я тогда мог предположить, что именно из-за тяги к роялю я чуть не лишусь жизни?

Мы с Ароном и Мишей продолжали лазить по канату, шесту и лестнице, но мысль о том, что в Доме пионеров стоит рояль, у меня теперь не выходила из головы. Я мечтал о следующей встрече с ним. Дело в том, что я очень жалел, что в первый раз только беспорядочно ударял по клавишам и не попробовал сыграть какой-нибудь мотив из песен, которые я пел. И как я не догадался тогда это сделать? Нет-нет, да возникали у меня мысли о том, чтобы опять оказаться наедине с роялем. И такой счастливый случай представился.

Когда у мамы выходной, то наш дом как будто ходуном ходит с раннего утра и до позднего вечера. Топится большая печь. Мама готовит, варит, печет и жарит. Идет большая стирка белья. В доме – генеральная уборка. На мою долю тоже выпадает немало работы. Особенно, связанной с доставкой воды. Больше вроде некому таскать: Соня помогает маме дома, Саша еще маленькая. Так уж повелось издавна: обеспечить дом водой – это моя забота. Вот и сегодня мама разбудила меня в шесть часов утра:

– Левочка, принеси воды из колодца, а то мне от горячей печи отойти нельзя.

Зачем эти объяснения. Я и так знаю, что вода – это моя обязанность. Все-таки на хорошем месте мы живем: и колодец рядом, и речка. Жаль, что кто-то забил лаз в заборе. Теперь путь к колодцу удлинился. Я с двумя ведрами иду через калитку тети Аксиньи во двор Дома пионеров. Сонными глазами оглядываю пустой двор и вдруг замечаю, что окна в Доме пионеров почему-то открыты. То ли там уже уборщица работает, то ли с вечера забыли закрыть.

"Вот халатность, – думаю я, – туда ночью могли залезть воры, а если бы поднялся ветер, то побил бы все стекла".

И вдруг меня осеняет догадка, и мое сонное состояние моментально улетучивается. Я быстро накачиваю воды в ведра, несую домой и бегу к Дому пионеров. Только и услышал, как мама вдогонку крикнула:

– Далеко от дома не уходи, ты мне еще нужен будешь!

По моим расчетам рояль находится в комнате с окном во двор, четвертое или пятое от калитки. Одно из этих окон раскрыто настежь, а другое – полуприкрыто. Упираясь ногами в выступ каменного фундамента, я подтягиваюсь к раскрытому окну. Кроме столов и стульев в комнате ничего нет. Тогда я подтягиваюсь к другому, полураскрытому, окну и сразу вижу свой рояль. Я раскрываю окно пошире и влезая внутрь помещения. Потом закрываю окно, подхожу к роялю и открываю крышку.

И опять передо мной – чарующий ряд черно-белых клавиш. Я сел на стул и стал извлекать звуки, прислушиваясь к каждому звуку. Я опять испытывал блаженство от этого занятия. Звуки чередовались в определенном порядке и иногда напоминали начало знакомых песен. "Надо попробовать что-то подобрать", – подумал я. Тогда нам всем нравилась песня Дунаевского "Песня о Родине", где пелось о величии нашей страны. Песня начиналась со слов: "Широка страна моя родная".

Начальные два звука я нашел сразу, а вот третий искал долго, и это был трудный, но интересный поиск. Оказалось, что этот звук находится довольно «далеко» от начальных двух. "Неужели, – думал я, – музыканты так далеко скачут пальцами, чтобы найти каждый следующий звук?" Но потом дело пошло легче. Больших скачков почти не было. Когда у меня получился первый куплет, я подпрыгнул от радости.

Но тут я спохватился, что пора уходить. Как любил говорить наш сосед дядя Симон, хорошего – понемножку, а это значило, что не надо сильно увлекаться, и тогда все будет нормально. Я закрыл рояль и подошел к окну. Во дворе никого не было. Быстро перемахнув через подоконник, я поплотнее закрыл окно и очень довольный побежал домой. Первый урок на рояле состоялся. Вы даже представить себе не можете, как я радовался первому успеху. Даже недовольство матери моим долгим отсутствием меня ни капельки не тронуло.

– Где это ты так долго пропадал, – выговаривала мне мама, – зову, зову, а его и след простыл. А у меня ни капли воды в доме нет.

Я охотно схватил ведра и побежал к колодцу. После успеха на рояле никто и ничто не могло испортить мое приподнятое настроение. Ведь сбывалась моя давнишняя мечта!

На следующий день, с утра пораньше, я опять побежал в Дом пионеров. Все окна были плотно закрыты. С замирающим сердцем я подошел к моему окну. А вдруг его заперли на задвижки, тогда пиши все пропало. Я как вчера встал ногой на выступ фундамента и, ухватившись за подоконник, подтянулся вверх. Потянул за раму, и – о, радость – рама отворилась. Я был счастлив. С бьющимся сердцем я влез в комнату и закрыл окно. Хорошо, что я вчера плотно закрыл окно: уборщица, наверно, решила, что оно заперто, и не проверила.

Я открыл рояль и, усевшись на стул, опять начал подбирать музыку на известные мне мотивы русских песен. С каждым днем дело продвигалось все быстрее и легче. Я никогда надолго не засиживался здесь, и окно для меня всегда было открыто. Я был на седьмом небе. Я поверил, что могу научиться играть на рояле без помощи учителя и, самое главное, без денег.

Через месяц я уже мог проигрывать десятки знакомых песен. Теперь передо мной встала новая проблема: научиться играть на рояле по-настоящему, обеими руками и всеми пальцами. Ведь до этого я пользовался только одним пальцем. Эту новую проблему я один, без посторонней помощи, никак не мог решить. Пришлось обратиться за советом к Арону Шпицу. Он все-таки мастер на все руки!

Узнав о моих похождениях в Дом пионеров, Арон тут же загорелся желанием побывать там вместе со мной.

– А как же двумя руками играть? – спрашиваю я.

– Там посмотрим.

Я ему верю, потому что у него все получается хорошо. В этом я уже неоднократно убеждался. Мы договариваемся идти вместе завтра утром.

На следующий день он прибежал ко мне ни свет ни заря. На улице и во дворе не было ни души. Мы благополучно перебрались через подоконник и закрыли за собой окно. Сначала я сыграл одним пальчиком несколько известных песен, а затем уступил место ему. Он, как и я вначале, тоже просто наслаждался извлеченными звуками, ударяя по разным клавишам, с той лишь разницей, что я старался играть тихо, а он ударял по клавишам смело и громко, не заботясь о том, что мы здесь непрошеные гости. Он наслаждался во всю мощь, создавая звуковые бури и даже ураганы. Причем, он действительно играл двумя руками, но получалась при этом просто какофония звуков.

– Арон, – сказал я ему, – не играй так громко, а то нас поймут и опять отведут в милицию.

– Не бойся, – ответил он, – мы же кругом заперты, и никто нас не услышит.

Да, на рояле у Арона тоже ничего не получалось. Он просто наслаждался богатством звуков у рояля. Нам уже пора было уходить.

– Хватит, – говорю я ему, – пойдем отсюда, пока не поздно.

Но Арон не может оторваться от рояля. Уж очень он ему понравился.

– Еще немножко, – говорит он и опять изображает из себя маститого пианиста. У меня уже сердце щемит от нарастающей тревоги, а ему хоть бы что. И вдруг я слышу сквозь звуки рояля, как кто-то возится с ключом в дверном замке.

– Бежим! – крикнул я Арону и побежал к окну, Арон за мной.

Мы быстро вылезли во двор и отбежали метров тридцать, когда услышали за собой брань и крик:

– Я вам покажу, разбойники, как лазить в окна!

Но мы, не оглядываясь, бежали со двора и, перебежав на нашу улицу, юркнули во двор. Отдышавшись, мы вспомнили, как убежали под ругань уборщицы, и нас вдруг разобрал смех. Это была разрядка нашему неожиданному испугу. В таких случаях хочется смеяться из-за каждого пустяка, потому что душа радуется благополучному выходу из опасной ситуации. Мы смеялись и никак не могли остановиться. Но скоро смех как внезапно пришел, так внезапно и пропал.

У меня осталось только легкое недовольство от того, что пропала возможность играть на рояле. На Арона я не сердился, да и не за что. Моя игра на рояле все равно выдохлась. По-настоящему учиться играть надо все-таки у настоящих музыкантов. А такой возможности у меня все равно не было и не предвиделось...

В пятом классе со мной произошел случай из ряда вон выходящий. Он отрицательно восставил меня против общественных поручений. В один из трудных школьных дней после семи уроков, когда особенно тянет домой, наша классная руководительница, учительница еврейского языка и литературы, оставила меня после уроков с тем, чтобы я написал лозунг. Тут, очевидно, произошла какая-то ошибка. Лозунгов я никогда не писал. Писал их мой друг Арон Шпиц.

В четвертом классе, когда Арон оставался писать лозунги, я оставался с ним после уроков, чтобы ему не было скучно одному. Возможно, что из-за этого она и оставила меня. Кто-то решил, что я тоже умею писать лозунги, и подсказал ей. Арон спешил домой и просил меня не выдавать его. Разве я мог выдать своего друга? Что мне было делать? Я сказал учительнице, что никогда в жизни не писал лозунгов. Но она мне не поверила.

– Не прибедряйся, – сказала она, – как только напишешь, так сразу же пойдешь домой.

Она принесла краски и бумагу и положила на стол, а я смотрел на все это с безысходной тоской. Дело в том, что утром мне не удалось перекусить, а в школу я никогда не брал еду, поэтому я был голоден как волк. Страшно хотелось бежать домой, и вдруг такая непредвиденная задержка.

– Я никогда не писал лозунгов, – говорю я опять учительнице, удивляясь ее недоверию ко мне.

– Я знаю, что ты их писал, – отвечает она, – и сейчас тоже напишешь.

Я не знал, как ей доказать свою правоту. Про Арона говорить мне нельзя, а про свой голод и вовсе говорить неудобно. А учительница ждет, когда я приступлю к делу. Тогда я набираюсь смелости и говорю ей громко:

– Не буду я писать лозунг! Не могу и не хочу!

– Раз так, – говорит она сердито, – то я заставлю тебя писать лозунг, хочешь ты этого или нет!

Такого поворота я не ожидал. Дома меня никогда не заставляли силой что-то делать. Всегда по-хорошему уговаривали. А такого обращения со мной учительницы я вообще не ожидал.

– Я запрю тебя в классе, и пока не напишешь лозунг, домой не пойдешь! Когда напишешь – постучи!

Она вышла из класса и заперла дверь на ключ. Это было что-то новое. Я был просто ошарашен и одновременно возмущен таким обращением со мной. И голод как будто пропал. Если раньше закрадывалась мысль: "А не попробовать ли написать?" – то теперь об этом не могло быть и речи. Я готов был просидеть здесь всю ночь, но писать никогда ничего не буду! Моя голова горела от негодования. Я придумывал для учительницы невиданные и неслыханные наказания. На дворе уже стало темно, когда она открыла дверь.

– Я чуть не забыла про тебя, – сказала она улыбаясь. Но увидев, что бумага и краски лежат нетронутые, она возмутилась:

– Ах, ты так! – закричала она, – завтра без мамы в школу не приходи! Понял?

Я молча вышел из класса. По дороге домой я ругал эту учительницу на все лады, употребляя слова нашей соседки тети Раи, которая торгует на базаре. Ругательства у нее страшные: "Холера ей в бок", "Пусть у нее руки отсохнут", "Пусть все зубы выпадут, а один останется для зубной боли!" Никогда раньше я не думал, что ругательства тети Раи мне когда-нибудь пригодятся. Я представил свою молодую учительницу с одним гнилым зубом и даже рассмеялся от удовольствия. Вот бы ей такой ротик! Уже подходя к дому я решил, что в школу я вообще больше ходить не буду. Дома я никому не рассказал о случившемся. Да и некому было.

На следующий день я в школу не пошел: учительница же сказала без мамы не приходите, а где я ее возьму, если мамы нет дома. Она же на работе. Ох, и скучно было мне целый день без школы. Настроение было прескверное. Ничего не хотелось делать. Даже читать ничего не хотелось. Так и просидел весь день без дела – случай для меня небывалый.

А вечером я неожиданно заболел. Мама пришла с работы и говорит:

– Что-то ты сегодня очень грустный.

Она подошла ко мне и приложила ладонь к моему лбу.

– Ой, да ты весь горишь! – говорит она громко и сразу зовет тетю Сарру.

Все засуетились, заохали, как будто болеть собираются они, а не я. Срочно вызвали врача. Пришел врач, осмотрел меня, послушал через трубку и выписал рецепты на лекарства. Сначала я обрадовался болезни: не надо будет ходить в школу. Но потом со мной стали происходить такие странные явления, что я вообще обо всем забыл. Мне казалось, что я совершенно пустой. Вроде как один только скелет, точно похожий на тот, который стоит в учительской. И вот этот скелет лежит на диване, будто пустой короб. И вроде страшновато мне от такого положения, и в то же время безразлично. Я не ощущал ни дня, ни ночи и в то же время мучился от того,

что никак не могу уснуть. Я лежал и явственно видел и ощущал, что череп мой пуст, и очень удивлялся тому, что он так сильно болит: ведь в нем же ничего нет. Что за болезнь у меня была, я так и не понял.

Только однажды, когда я почувствовал, что проснулся, то выяснилось, что я лежу уже целый месяц. Младшая сестра Саша рассказала мне, как все за мной ухаживали, как мне вливали в рот лекарства, как кормили. А я ничего не помнил. Ко мне приходили и Миша, и Арон, а я этого тоже не помнил. Все почему-то радуются, что я внимательно слушаю Сашу.

– Наконец-то, – говорит мама со вздохом.

– Теперь он пойдет на поправку, – говорит как всегда спокойно тетя Сарра.

– Слава богу, – говорит мама, хотя давно не верит ни в каких богов.

Мое выздоровление шло быстрыми темпами. Через несколько дней я уже ходил по дому. А через неделю я пошел в школу. И первое известие, которое меня чрезвычайно обрадовало в школе, это известие о том, что наша классная руководительница уже в школе не работает. У меня с души как будто камень свалился. Мне было бы очень неприятно опять с ней встретиться. Вместо нее еврейскому языку и литературе нас стала учить Яхна Айзиковна. Фамилию, к сожалению, не запомнил.

Если сейчас, издавек, вспомнить ее, то можно сказать, что она совершила подвиг в своей жизни. Представьте себе женщину, которая страдает нервным тиком, некоторым расстройством двигательных мышц, слишком растянутым ртом, бельмом на глазу и одной укороченной ногой. Представили? Так вот, при всех этих физических недостатках, она набралась мужества и, не стесняясь своих недостатков, окончила пединститут, стала преподавателем, а это значит каждый день выставлять свои физические недостатки на всеобщее обозрение.

Сначала многие ученики не в состоянии были воздерживаться от смеха при ее движениях. Конечно, смеялись в кулак, чтобы не обидеть ее. Но постепенно мы привыкли к ней и по достоинству оценили ее богатые знания. Она рассказывала про еврейских писателей-классиков с таким увлечением, что мы забывали о ее смешных движениях. Именно при ней я стал получать отличные отметки по еврейскому языку и литературе.

До восьмого класса состав учеников у нас не менялся. Поэтому многие одноклассники оставили в моей памяти определенные воспоминания. Про своих друзей я уже говорил, но необходимо еще немного рассказать о них, как об учениках. Арон Шпиц обладал способностями и к технике, и к искусству. Но учиться ему было все-таки трудно из-за его физического недостатка: заикание. В спокойной обстановке он говорил довольно сносно. Но как только его вызывали отвечать урок, так разговор его приобретал какой-то мучительный характер. Как будто ему не хватало воздуха. Каждый слог ему давался с трудом. Естественно, что не каждый учитель мог выдерживать такой утомительный медленный рассказ, так как урок у него рассчитан по минутам. Поэтому Арону ставили тройки, не ожидая его ответа до конца. Если Арон плохо готовился к уроку, то он был рад этой удовлетворительной отметке. Когда же он знал урок хорошо, то был недоволен этой отметкой. Так или иначе, но Арон Шпиц был у нас обречен на постоянные удовлетворительные отметки, хотя учился с большим пониманием, чем некоторые отличники, которые зубрили материал наизусть.

Миша Нафтолин был хорошим учеником во всех отношениях. Он вообще вел себя гораздо серьезнее своих лет. Учеба давалась ему так же легко, как и двухпудовая гиря. Когда у нас с Ароном не получались какие-нибудь задачки, мы всегда бежали к нему. И не было случая, чтобы он их не решил. Правда, он ничем особенным не увлекался, если не считать его склонность влюбляться в девчонок. То он любил какую-то родственницу Маню, то влюбился в нашу одноклассницу Хану Фельдман, сестру Моисея Фельдмана, потом полюбил Зину Плоткину, соседку по улице. Что меня больше всего удивляло в нем, так это то, что он ни от кого не скрывал свои чувства и открыто говорил об этом. И никакие разговоры и насмешки его не пугали. Больше того, к своей избраннице он открыто ходил в гости. У него, наверно, был

сильный характер. По его примеру и мы с Ароном тоже влюблялись, но чувства свои таили про себя.

Учился в нашем классе талантливый мальчик Абраша Хейн. У него были большие способности к математике. Он нас всегда удивлял и радовал своими оригинальными решениями задач. Выходит к доске, допустим, Михаил Баскин, высокий светловолосый мальчик с большими рабочими руками. Решит он задачу, учитель его похвалит, а Абраша Хейн тянет руку вверх, просит слова.

– Что вам, Хейн? – спрашивает учитель.

– Эту задачу можно решить проще и короче, – говорит Хейн.

– Ну что ж, – говорит учитель, – покажите нам другое решение.

И Абраша выходит к доске и показывает оригинальное решение этой же задачи. Бывали случаи, когда сам учитель, помогая ученику, не мог справиться с задачей, и тогда он звал на помощь Хейна, и тот выходил к доске и, ни минуты не раздумывая, тут же писал решение. Вот кто был математик! И ничем особенным он от нас не отличался: маленького роста, худенький, с землистого цвета лицом. У него хоть и были и отец, и мать, и братья, но жили они очень бедно, и он все годы ходил, также как и я, в одном единственном костюмчике. Невзрачный с виду паренек с маленькой головой, а какая сила ума в ней заложена! Мы все были уверены, что из него выйдет новый Остроградский или Виноградов.

Самым аккуратным учеником, у которого к тому же всегда были подготовлены уроки, был у нас Ефим Фруммин. Это был некрасивый, прыщеватый мальчик с толстым носом и каким-то мужским голосом. Одна нога у него была короче другой, и он ходил в протезном ботинке. Конечно, ему было не до игр и не до беготни. Он не отлучался от своей парты ни на шаг. В силу этого обстоятельства он отдавал все свое время учебе. Учился он серьезно и обстоятельно, и не было случая, чтобы он не смог ответить на вопрос по учебной программе. Мне было жалко за его хромоту и неподвижный характер жизни.

Вторым по аккуратности был у нас Аврам Гольдин. Маленький, энергичный и бодрый мальчик. Жил он по Первомайской улице на пересечении с Советской улицей, совсем близко от нашего дома. Это обстоятельство было главной причиной нашей короткой дружбы. Одно время мы договорились с ним готовить уроки вместе. Мне было интересно готовить уроки с отличником. Так как днем у них дома никого не было (у нас было всегда шумно от Сашиных подруг), то уроки мы делали у него. Для шестиклассников это была работа не на долго: решить пару задачек – дело нескольких минут. Задания по трем языкам – тоже минут на пятнадцать. Больше всего времени отнимал устный материал. Но и здесь дело шло быстро: раз прочитали, раз пересказали, и урок готов. После этого я спешил домой заниматься своими личными делами и делами по дому. Аврам почему-то никогда не хотел идти к нам в гости, ссылаясь на то, что он не мог оставить пустую квартиру без присмотра.

В один прекрасный солнечный день после нашей совместной подготовки уроков я не нашел себе дома никакого дела и побежал назад к Авраму, чтобы поиграть с ним: вместе всегда веселей. Вошел я к ним во двор и услышал через открытое окно, как Аврам опять учит историю, повторяя по несколько раз каждую фразу. "Вот так совместная подготовка уроков, – подумал я, – когда я уйду, он все начинает заново". Теперь понятно, почему он отказывается выходить из дома. Я сел под окном и стал слушать, как он заучивает наизусть учебный материал. Да, трудно достаются ему пятерки. После этого случая я потерял всякий интерес к совместной подготовке и больше к нему не ходил.

Еще один одноклассник, стремящийся быть отличником во что бы то ни стало, был Аба Нехамкин. Это был умный, своеобразный мальчик с необыкновенно настойчивым характером. Можно уверенно сказать, что с таким упорным характером у нас в классе больше никого не было. Но его настойчивость, к сожалению, часто переходила в обыкновенное нахальство. Он жил, наверно, по принципу: цель оправдывает средства. Причем, считал, что все средства для

этого хороши. Дело в том, что однажды в случайном разговоре Аба Нехамкин вдруг похвалился перед всеми, что если захочет, то станет отличником не хуже Аврама Гольдина! Естественно, мы посмеялись над ним. Но Аба серьезно решил доказать нам свою правоту.

И действительно, Аба стал отвечать уроки гораздо лучше, чем прежде. Он стал более серьезно готовиться к ним. Но не все учителя находили его ответы настолько полными, чтобы ставить ему отлично. И тогда Аба вступал с ними в спор. Он доказывал им, что хорошо подготовил уроки и заслуживает отметку "отлично".

– Спрашивайте меня еще, – требовал он, – я выучил урок на пять.

В основном учителя шли ему навстречу: задавали дополнительные вопросы. И хотя Аба не всегда хорошо освещал вопрос, но они все-таки ставили ему пятерки, очевидно, не желая с ним пререкаться. Только два учителя наотрез отказались идти на эту сделку с совестью: учительница еврейского языка и литературы Яхна Айзиковна и молодая учительница географии Разумцева Ксения Федоровна.

Яхна Айзиковна была слишком самоотверженно предана своему предмету, чтобы позволить кому-либо вольно обращаться с ним. Она ставила нам самые заслуженные отметки. А Ксения Федоровна только окончила институт, была полна самых лучших побуждений в своей работе и не хотела их омрачать. Аба сидел на первой парте, как раз напротив учителя, и ему удобно было вести с ними перепалку. Когда Яхна Айзиковна в очередной раз поставила ему отметку «хорошо» за ответ по литературе, Аба опять завел свою канитель:

– Спросите меня еще, – попросил он.

– Я уже выслушала твой ответ, – сказала Яхна Айзиковна, – больше чем на «хорошо» ты не ответил.

– А я знаю на «отлично», – настаивал Аба, – задавайте мне еще вопросы.

– Но я не могу только на тебя тратить время урока, – говорит Яхна Айзиковна, – мне нужно и других опросить и новый материал объяснить.

Аба использует последнюю возможность, придав голосу обидчивый тон:

– Я выучил урок на «отлично», а вы ставите мне «хорошо», я не согласен. Поставьте мне "отлично".

– Твой ответ не отличный и выше отметки «хорошо» я поставить не могу, – говорит Яхна Айзиковна и с досадой добавляет, – и не мешай мне вести урок.

Аба исчерпал все возможности и требовательно кричит:

– Я буду мешать вам, пока не поставите мне "отлично"!

– Если ты сейчас же не выйдешь в коридор, – говорит тихим, но внушительным голосом Яхна Айзиковна, возмущенная таким поведением, – то я позову директора и поставлю вопрос о твоём нежелательном пребывании в школе!

Такой оборот дела Абу не устраивает, и он с усмешкой независимости идет из класса, приговаривая: "Все равно вы занизили мне отметку". Расстроенная учительница с трудом доводит урок до конца, а мы сидим молча, пристыженные нахальством Абы.

Совсем по-другому реагировала в такой же ситуации Ксения Федоровна. Это была хрупкая, нежная, светловолосая женщина с тихим бархатистым голосом. Она не выдерживала напористости Абы. Но и повышать ему отметку ради его просьбы тоже не могла. Чувствуя свое бессилие перед этим бесцеремонным учеником, она просто начинала плакать и быстро выходила из класса. Мы думали, что она вернется с директором школы, и он воздаст должное Абе, но она, наверно стесняясь жаловаться директору, стояла за дверями и успокаивалась, слушая, как мы всем классом стыдим Абу, и как он от нас отбивается: "Это не ваше дело! Не мешайте мне становиться отличником!"

Когда Ксения Федоровна возвращалась в класс, все затихало, и Аба больше не смел ей мешать. А после урока она ему сказала:

– Ты можешь выучить географию на «отлично», если приложишь больше старания.

– Я и так стараюсь, – ответил зло Аба.

Мы были недовольны, что Ксения Федоровна не обращается за помощью к новому директору школы Фрадкину Соломону Захаровичу. Он бы отучил Абу приставать к учителям.

Новый директор у нас строгий, но мне он нравится. Во-первых, он из города Быхова, а это значит, что он земляк моего отца. Во-вторых, он очень аккуратный. Каждый день чисто выбритый, аккуратно уложенный волнистый чуб, белоснежный воротничок с галстуком. Таких аккуратно одетых директоров у нас еще не было. В-третьих, он исключил из школы всех хулиганов-переростков, в том числе и Иосифа Нафтолина. Раньше не было ни одного дня, чтобы школа обходилась без драки, а теперь в школе стало тихо, и никто нам не дарит подзатыльники на переменах.

Так вот, Иосиф решил отомстить директору за то, что он исключил его из школы. Он подговорил еще нескольких обиженных парней, и они выследили директора ночью, когда Соломон Захарович возвращался домой по улице Советской позади городского сада. Иосиф и его дружки, прятавшиеся в саду, перемахнули через забор и бросились на директора, чтобы избить его. Но директор оказался не из пугливых. Он выхватил пистолет и крикнул:

– Не подходи! Стрелять буду!

Дружки «цыгана» с перепугу разбежались кто куда. И самому Иосифу пришлось ретироваться, чтобы Соломон Захарович не опознал его. Об этой неудаче со смехом рассказывал Иосиф своему брату, когда я был у Миши. Он ругал своих трусливых дружков и с уважением отозвался о директоре школы.

После этого я с восторгом смотрел на нашего директора и был горд, что он земляк моего отца. "В Быхове, наверно, все смелые, – решил я, – ведь мой отец недаром провоевал всю империалистическую войну в царской армии, а потом – гражданскую войну в Красной Армии".

И еще одно событие произошло при этом директоре: наша школа стала десятилеткой. Это сильно взбудоражило всю школу. Все учащиеся были безмерно рады этому. Все-таки в техникумах и институтах жизнь гораздо сложнее. Я до сих пор помню, какой худой и бледный приезжал домой на каникулы мой брат Лазарь. А в школе хорошо и весело. Некоторые предметы в школе, такие как география, зоология и история, стали преподавать нам на русском языке. Акценты у нас ужасные, особенно у мальчишек, но когда они у всех, то никто на это не обращает внимания. Нам казалось, что мы хорошо изъясняемся на русском языке, и перевод некоторых предметов на русский язык нам особенно не мешал в учебе.

Но наш новый директор был у нас недолго. Он был очень больным человеком. Когда он кашлял, то лицо и глаза моментально становились такими красными, как будто кровь подступала к лицу. Глаза у него были на выкате, а при кашле казалось, что они вот-вот выскочат из орбит. Болезнь его прогрессировала, и он вынужден был из-за нее вернуться в Быхов.

И тогда директором стал Лазарев Лаврентий Артемьевич, высокий мужчина с добрым, светлым лицом. Он был единственным директором, который преподавал русский язык: обычно все директора были историками. Так вот, Лаврентий Артемьевич был очень добрый человек, но слабохарактерный, и при нем опять начались вольности для непомерно активных учеников.

Теперь опять вернемся в наш класс. О наиболее выделяющихся учениках я уже рассказывал. Основная же масса нашего класса, в том числе и я, ничем особенным себя на проявили. Разве что по физическому телосложению. Мне, например, был очень симпатичен Михаил Баскин. Это был высокий, здоровый парень с добродушным лицом, с несколько восточным разрезом глаз. У нас в классе были и черные, и рыжие ученики, но вот светловолосым был только один – Баскин. Волос точно такой же, как у белорусов. И еще одним он отличался от всех нас, что во мне лично вызывало к нему особое расположение, это удивительно большие рабочие руки. Даже не у всех взрослых бывают такие руки! А большими они были оттого, что не было у него таких каникул, как у меня или у других моих одноклассников.

Во время каникул он всегда работал. То тяжести таскал, помогая отцу, ломовому извозчику, а то работал помощником у печников или штукатуров, где ему приходилось таскать кирпичи и глину. Я много раз летом заставлял его за этой работой, когда бегал к Арону Шпицу поиграть. Михаил был всегда спокоен и уравновешен. Если даже рассердится, что очень редко бывало, то буквально на несколько секунд вспыхнет и тут же гаснет. Его родители жили в маленьком доме на улице Молотова, затем переименованную в улицу Фабричную (ныне улица Богатырева). Это почти рядом с русским кладбищем. Они были невысокие, а дети все – рослые, крепкие, как богатыри.

На этой же улице, через дом от них, жили их родственники Фидлеры. Один из них, тринадцатый по счету ребенок Ефим, тоже учился в нашем классе. Удивительная семья! Приехали из Заболотья и сразу же пополнили рабочий класс города. Каких только профессий не было у братьев и сестер Ефима: прокурор, командир Красной Армии, рабочие картонной фабрики и лесопильного завода имени Халтурина, работники Рогачевского пищецентра и ширпотреба. Только Ефиму не повезло с самого раннего детства, с рождения. Родился он больной и хилый, рос худеньким, а на тоненькой шее с трудом держалась большая круглая голова. Ефим всегда держал голову набок, казалось, что голова вот-вот ляжет на плечо. Конечно, не обходилось без насмешек, но Ефим не обращал на них внимания.

Был у нас в классе и собственный «международник» – Яша Гуревич. Чуть ли не каждый день он приносил в класс какую-нибудь новость международного характера. Причем, сообщал он ее так, как будто это была сенсация номер один. Мы настолько привыкли к его сообщениям, что ждали их с нетерпением.

– Что-то он нам принесет сегодня, – говорил хромым Ефим Фрумин, держась обеими руками за парту, как будто боялся с ней расстаться.

Чернобровый и черноглазый Яша, с красными щеками, стремительно заходил в класс и, бросив перевязанные ремнем книги и тетради в парту, кричал:

– Слушайте, слушайте, слушайте! Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели из Москвы в США через Северный полюс без пересадки!

И сразу раздавались реплики:

– Вот это скачок!

– Вот это Чкалов!

Да, Чкалов тогда был самый знаменитый летчик после летчиков, спасших челюскинцев. Яша Гуревич несколько лет держал нас в курсе событий гражданской войны в Испании. Он знал даже больше, чем сообщалось в газетах и по радио. Он рассказывал нам о добровольцах, которые тайно отправлялись на помощь республиканцам в Испанию. Он знал многое, потому что его старший брат был лектором, а лекторам сообщают всегда чуть-чуть больше, чем пишут газеты. Но мы газеты не читали, а Яша Гуревич читал их и самое интересное приносил в наш класс. Любил он шеголять и новыми словами, которых мы никогда не слышали. Вроде таких, как демаркация, абориген, депортация и другие.

– Эх, вы, – говорил он каждый раз, глядя на нас с сожалением, – аборигены Рогачева, сами себя вы даже не знаете.

Одним словом, Яша Гуревич был у нас вроде политического обозревателя, и благодаря ему мы знали, что творится на белом свете.

Впереди меня в классе сидел Яша Дубровенский, очень стеснительный мальчик с круглым полным лицом и ярко-красными губами. Он увлекался чтением книг еще больше, чем я. На переменах Яша всегда сидел за партой и читал книгу. Книги были потрепанные, но всегда интересные. Где он их доставал, он почему-то говорить не хотел, но охотно давал их почитать. Однако его условия были очень жесткие. Какая бы ни была толщина книги, он давал ее только на одну ночь.

Так я познакомился с книгами американских писателей Майн Рида и Фенимора Купера. Так я увлекся жизнью североамериканских индейцев, восторгаясь их мужеством и благородством. Книги были настолько интересные, что я читал их всю ночь напролет. Мама просыпалась и ругала меня за то, что я не сплю. Соня просыпалась и ругала меня за то, что я напрасно жгу керосин. Но я слушал их в пол-уха, потому что находился в американских прериях или лесах, потому что возмущался кознями и жестокостью белых колонизаторов из Англии и Франции. На следующий день я возвращал книги вовремя, и за это Яша обещал мне всегда давать читать книги и впредь. Так, с его помощью я прочитал романы Майн-Рида: "Белый вождь", "Оцеола – вождь семинолов", «Квартеронка» и "Всадник без головы", а также романы Фенимора Купера, известных под общим названием романов о Кожаном Чулке: «Зверобой», "Последний из могикан", «Следопыт», "Пионеры", «Прерия». Все романы объединены одним действующим лицом – следопытом, охотником и звероловом Натти Бампо, который изображен под разными прозвищами: Зверобой, Следопыт, Соколиный глаз, Длинный карабин и Кожаный Чулок.

Учились в нашем классе Давид и Маня Гуревичи. Чем они меня удивляли, так это своей непоседливостью и быстротой движений. Оба были остролицые, худенькие, но с необыкновенно быстрой реакцией.

Однажды я был свидетелем, как к Давиду прицепился какой-то парень около кинотеатра и полез к нему драться. Парень замахнулся на Давида кулаком, но Давид его опередил, оттолкнув его, и кулак парня прошелся по воздуху. Парень опять полез и опять замахнулся кулаком, но Давид успел увернуться. Парень сердился, а Давид все ему говорил: "И чего ты ко мне прицепился? Отстань от меня!" А тот как репей никак не хотел отцепляться. Налетает и налетает на Давида. Давиду это надоело, и он нанес парню молниеносный удар в подбородок. Парень полетел на землю и ударился головой об асфальт тротуара. Увидев, что парень охнул и схватился за голову, Давид мгновенно исчез по направлению Красноармейской улицы, на которой они жили.

Жаль, что у нас в это время не было секции боксеров: из Давида получился бы замечательный боксер.

Учился в нашем классе также Арон Каток. Помните, в шестой школе он учился вместе со старшим братом Абрамом. После четвертого класса несколько наших учеников прекратили учебу, в том числе и старший брат Арона. В классе Арон ничем не выделялся, и о нем нечего было бы писать, если бы не наша случайная встреча в Доме пионеров. Он был довольно скрытный мальчик и о себе никому ничего не рассказывал, держался в классе обособленно, ни с кем не спорил и не дрался.

И остался бы он таким же незаметным для меня, как Плаксин, Биндер и некоторые другие ученики нашего класса, если бы я в выходной день не зашел в Дом пионеров и не заглянул в комнату, где занимались любители авиамоделизма. Заглянул я туда и очень удивился. За столом стоял Арон Каток и на спиртовой коптилке гнул тоненькую бамбуковую реечку. Я смотрю и глазам своим не верю. Как он сумел скрыть от нас свое увлечение?

– Арон, – говорю я ему с удивлением, – неужели ты тут занимаешься?

– Как видишь, – отвечает он недовольно.

– А почему же в классе никто не знает об этом? – спрашиваю я его. За другими столами занимались еще несколько мальчиков.

– Не мешай, Лева, – говорит он опять недовольно и добавляет строго, – посмотрел и уходи, видишь, мы заняты.

Тон его просьбы меня очень удивил. Неудобно даже слушать такое от него, ведь мы учимся в одном классе, а он меня выгоняет, как будто чужого. В это время в дверь заглянул высокий мужчина и крикнул:

– Каток! Иди к директору получать зарплату!

Эта новость привела меня в такое изумление, которое редко у меня бывало. Арон оказывается здесь работает за деньги! Арон Каток вышел из комнаты, а я остался стоять ошарашенный.

– Он у нас руководитель кружка авиамоделлистов, – сказал один из мальчиков.

Арон сразу вырос в моих глазах. "Что же это такое, – думал я, – Михаил Баскин работает, Давид Гуревич работает, Арон Каток даже круглый год работает, мы же с Ароном Шпицем и Мишей Нафтолиным целыми днями лодыря гоняем!" Однако, я постарался отбросить эти неприятные для меня мысли.

Вернулся Арон и каким-то извиняющимся тоном стал объяснять мне:

– Понимаешь, руководитель нашего кружка уехал, а другого директор Дома пионеров не нашел, вот я и согласился быть руководителем авиамодельного кружка, все равно я каждый день хожу сюда.

– Но это же хорошо, – говорю я ему, – почему же ты скрываешь это от своих товарищей?

– Я не хочу, чтобы об этом все знали, – отвечает мне Арон, – и очень прошу тебя никому об этом не говорить. Он смотрел на меня таким умоляющим взглядом, что я не посмел ему отказать.

– Хорошо, – сказал я ему, – никому ни слова не скажу.

– А ты, если хочешь, можешь приходить к нам, может быть тебе это дело тоже понравится.

Я шел домой и продолжал удивляться: "Каков Каток! Кто бы мог подумать? В четырнадцать лет получает каждый месяц зарплату, как взрослый. Вот это Арон! Таких у нас в классе больше нет, наверно. Но почему он так боится огласки?"

Слово, данное ему, я сдержал. Даже своим друзьям не сказал. Пишу об этом впервые через сорок пять лет. Думаю, что теперь для Арона это уже не имеет значения, но до сих пор не могу понять, чего он боялся?

После этого случая я часто забегал в авиамодельный кружок. Смотрел, как ребята трудятся, но желания заняться авиамоделизмом у меня не было. Много раз я наблюдал, как они запускали свои модели во дворе Дома пионеров. Редко, когда модель делал круг и благополучно опускалась на траву. Чаще она падала на траву и разбивалась, но ребята ни капельки не расстраивались и начинали всю работу заново. А мне, постороннему человеку, было всегда жаль, когда такие легкие красивые модели самолетов разбивались.

Жаль, что я тогда не увлекся авиамоделизмом. Не догадался я тогда, что именно через авиамодельный кружок я мог бы проложить себе путь в летчики.

Наверно, вы уже давно заметили, что про наших девчонок я ничего не рассказываю. Как это ни странно, но до шестого класса я не замечал девочек из нашего класса, разве что двух худших учениц: рыжую Любу Эпштейн и непомерно высокую Раю Збаровскую. Они никогда не могли найти на географической карте самых простых и всем известных географических точек. Не говоря уж о математике. А отличниц в нашем классе не было совсем.

Но в шестом классе со мной произошло что-то невероятное. Я сделал вдруг необыкновенное открытие. Я заметил, что одна из наших одноклассниц лучше и красивее всех остальных. Мне нравилось ее лицо, белозубая улыбка, ямочки на щеках во время улыбки, темно-коричневые глаза, похожие на спелые вишни, волнистый волос с двумя косами цвета спелого каштана и даже коричневая плоская родинка на правой щеке, величиной с горошину. Она не уродовала ее внешность, а придавала ей еще большую привлекательность. У меня появилось желание всю чаще и чаще на нее смотреть. В школу я теперь бежал с надеждой ее увидеть. А ее появление в классе доставляло мне какую-то непонятную радость. Она притягивала мое внимание как магнит, мешая слушать учителя. Это была Оля Махтина.

В нашем классе стояли четыре ряда парт. Если считать первым рядом тот, что расположен вдоль окон, то Оля сидела на третьей парте во втором ряду, а я – на второй парте в третьем ряду. Мне было неловко оборачиваться, чтобы смотреть на нее. Но выход нашелся. Я клал

голову на локоть правой руки таким образом, чтобы мои глаза могли свободно видеть лицо Оли, и смотрел на нее. Это было удобно и незаметно для других. Все ребята, да и учитель, могли просто подумать, что у меня болит голова.

Наверно, Оля почувствовала мое повышенное внимание к ней, так как я часто стал встречать ее неожиданный ответный взгляд. Взгляд ее всегда был почему-то радостный и веселый, а при улыбке он будто расцветал. Меня одолевало двойное чувство, когда мы встречались взглядами. С одной стороны, я был рад ее взгляду, а с другой стороны, я опасался, что она догадается о моем увлечении. Я думал о ней везде: и в школе, и на улице, и дома. Я очень боялся, что о моем увлечении узнает мой друг Миша Нафтолин. Ведь я совсем недавно подсмеивался над его любовью к Хане Фельдман.

Миша – парень сильный и смелый, не то что я. Он не боится никаких насмешек. Он ходит даже домой к Хане. Дважды он и меня уговаривал идти к Хане за компанию с ним. Дом, где жили Фельдманы, стоял в самом низу Нижегородского переулочка под глинистым обрывом Замковой горы. Когда я входил во двор, то почему-то думал, что эта вертикальная тридцатиметровая гора когда-нибудь обрушится и накроет их двор и дом. Но ни Хана, ни ее брат Моисей, ни их родители, наверно, не опасались нависшей горы, потому что расположились здесь надолго и вырастили большой фруктовый сад. Когда мы с Мишей приходили к ним, Моисей угощал нас яблоками, правда, очень кислыми, наверно, еще неспелыми. Хана с улыбкой выходила из дома. Она была рада приходу Миши. Но я не понимал, что Миша нашел в ней такого, чтобы влюбляться. Она была стройная, полная девочка с круглым лицом. На лице у нее лежал вечный темный загар. Она говорила, что это от южного солнца. Раньше они жили где-то на юге. Поэтому белозубая улыбка особенно выделялась на фоне темного лица. Я ничего в ней не находил, и поэтому иногда высмеивал Мишин выбор. А что бы сказал теперь Миша, если бы узнал о моем увлечении? Я очень боялся насмешек и поэтому прятал свои чувства за семью замками. Так лучше. Спокойней.

При случайных встречах с Олей на улице и во дворе школы мы молча шли рядом, как заговорщики, или, что было совсем непонятно, без всякой договоренности, одновременно пускались по двору наперегонки и очень радовались, что ни один из нас не уступает другому в быстроте бега.

– Как ты быстро бегаешь, – говорил я ей очень довольный нашим неожиданным соревнованием.

– Ты тоже быстро бежишь, – отвечала она, улыбаясь.

Мне очень хотелось протянуть руку и погладить ее красивые, волнистые волосы. А она стояла и улыбалась доброй улыбкой, как будто говорила мне: "Не бойся! Будь смелей!" Но я испугался этой затянувшейся паузы и, бросив: "Мне на волейбол!" – убежал на волейбольную площадку, где школьники играли в волейбол, хотя волейболом я мало интересовался.

Ох, как я боялся, что кто-нибудь заметит мой интерес к Оле Махтиной. И как я завидовал Мише Нафтолину! Ему было наплевать на все пересуды одноклассников. Он их не трогал, даже если они пускали насмешливые реплики по поводу его избранниц. Он просто делал вид, что не слышит их. Я бы так не смог. Я бы полез в драку.

Кстати сказать, Миша вскоре охладел к Хане Фельдман. Он увлекся своей соседкой по улице Зиной Плоткиной, подругой Оли Махтины. Зиной, конечно, увлечься можно. Она всегда была веселой хохотуньей. Она смеялась по поводу и без повода. Это был смех ради веселья. Когда в компании девчат присутствовала Зина, там всегда было весело. Поэтому Мишу легко было понять: с Зиной было веселее проводить время, чем с Ханой.

Не знаю, как это случилось, но Миша и Арон Шпиц все-таки узнали о моем интересе к Оле Махтиной. И как это ни странно, но они надо мной не смеялись. Больше того, оба признались, что Оля Махтина им тоже нравится. Я был поражен этим признанием. Еще бы, я держу в тайне мое увлечение Олей, а на деле оказывается, что я не первый заметил ее красоту. Ведь в

этом признались мои друзья. А остальные мальчишки нашего класса? Наверно, она нравится всем мальчишкам нашего класса.

После таких размышлений вся прелесть моей симпатии к Оле улетучивалась. Во мне проснулось чувство ревности. Я совершенно забыл о наших молчаливых, случайных, а может быть и нет, встречах с Олей, о наших неожиданных соревнованиях по бегу, о наших встречах взглядах на уроках, о ее радостных улыбках – все выскочило у меня из головы. Теперь я целыми днями перебирал всех мальчиков нашего класса и сравнивал их с собой. И, увы, многие оказались намного лучше меня.

Взять хотя бы Яшу Дубровенского, который дает мне читать приключенческие книги. Он и выше меня, и полнее, и здоровее, у него круглое светлое лицо с красивыми губами. Он может любой девушке понравиться. А Яша Гуревич, наш «международник» – высокий, чернобровый, щеки всегда горят, как маков цвет, знаток всех событий в мире. Он всегда найдет тему для разговора с Олей, играть в молчанку как я не будет.

А Гена Плаксин, этот и вовсе красавчик. Не мальчик, а куколка. Правда, он меньше меня ростом и очень тихий. Он также, как и хромой Ефим Фрумин, не выходит весь учебный год из-за парты. На уроках сидит тихо и внимательно слушает учителей, а когда учитель вызывает отвечать на какой-нибудь вопрос, ничего не знает. Значит, он думает о чем-то своем. Но о чем? Может быть тоже об Оле?

Я очень сильно переживал эту ситуацию. Почему мама родила меня таким застенчивым? Был бы я посмелее, я давно бы договорился с Олей, чтобы она больше ни на кого не смотрела. Миша Нафтолин, наверно, больше всех понимал мое состояние. Однажды он предложил пойти со мной к Оле домой. Он протягивал мне руку помощи, как самый настоящий друг. Я живо представил себе, как я вхожу в Олину комнату – я почему-то решил, что у нее отдельная комната – здороваюсь, стою и улыбаюсь. И Оля улыбается своей радостной улыбкой. Но, о ужас, я никак не могу себе представить, о чем я буду говорить с ней! Не идти же к ней домой, чтобы помолчать.

- Нет, – говорю я Мише, – не могу я к ней идти.
- Почему? – удивляется Миша. – Поговорим немного и уйдем.
- В том-то и дело, что я не знаю, о чем с ней говорить.
- Ты просто трусишь, – говорит Миша, – о чем говорить, всегда можно найти.

Слово «трусишь» я не переносил и, чтобы это слово не имело ко мне никакого отношения, соглашаюсь идти к Оле. Когда Оля училась в шестой школе, они жили напротив школы в большом коммунальном доме по улице Циммермановской. Потом они переселились на Володарскую улицу в дом №46. Это тоже был коммунальный дом. И опять Оля оказалась рядом со школой.

До дома, где жила Оля, я так и не дошел. Все-таки смелости не хватило. Остановился я на углу Володарской улицы и улицы Кирова и, сколько Миша меня не уговаривал, я дальше так и не пошел. Став позади тополя, я наблюдал, как Миша вошел в дом, как он потом вышел на улицу с Олей и долго с ней о чем-то разговаривал. Хорошо ему, он свободно разговаривает со всеми девочками, а я их стесняюсь...

Бывают дни, когда ничем неохота заниматься, когда никакие идеи в голову не лезут, когда никакие разговоры не идут на язык. В один такой день, когда мы сидели у Миши без дела, Миша предложил мне и Арону пойти к Зине, благо она жила совсем рядом. Мы охотно согласились. Семейю Плоткиных я знал давно, но ни разу не был них дома. Их отец Уре Яковлевич долгое время работал вместе с моей мамой в хлебопекарне. Много раз он бывал у нас дома просто так, приходил в гости к маме, как и многие другие рабочие пекарни. Это был высокий, худощавый мужчина. Он всегда был весел и разговорчив. Наверно, Зина переняла его характер.

У Зины было четыре брата. Старший брат Изя учился в Ленинграде на художника. Второй брат Яша работал военным следователем в Могилеве. А два младших брата Юра и Лазарь

учились в школе. Большая трудовая семья. Мать, тетя Циля, домохозяйка, была женщиной необыкновенной доброты. Между прочим, тетя Циля, в девичестве Драпкина, приходилась нашему соседу Ефиму Драпкину двоюродной сестрой.

Из открытых окон дома мы сразу услышали Зинин смех и ее громкий голос. Она что-то рассказывала и сама же смеялась. Когда мы вошли в дом, все сначала затихли, а потом пошел шум пуще прежнего. Но все-таки сквозь шум я услышал, как мать спросила у Зины, кто мы такие. Мишу она, конечно, знала, а меня и Арона – нет. Зина объяснила маме, что Арон – сын Шпица, директора магазина «Одежда», про меня она сказала, что я тот самый Лева, сын той самой Рони, которая работает вместе с их отцом в пекарне. Причем, это было сказано так многозначительно, что я понял, что они имеют в виду то обстоятельство, что их отец якобы ухаживает за моей мамой.

В доме у Зины все было просто, без украшений. Бревенчатые стены, законопаченные паклей, печь, обмазанная красной глиной, окна без занавесок. И хотя здесь не было особого уюта, но зато веселья здесь было в избытке. И зачинщицей была, конечно, Зина. Миша разговаривал с Зиной просто и свободно, без стеснения. Я так завидовал Мише. "Когда же я научусь так же свободно разговаривать с Олей?" – думал я.

Вскоре мы все вышли во двор. Двор у них был совершенно без ограды. Чуть ниже дома, на скате горы стоял сарай, а на середине двора – неглубокий колодец с воротом. Зина без конца что-то рассказывала Мише и смеялась, а Миша серьезно, без улыбки, слушал ее, как будто ее рассказ был очень важен для него. Мы с Ароном скучали. Но вот во двор пришли младшие братья Зины: Юра и Лазарь. Оба они были такие же худенькие, как и я. Но если Юра был краснощекий, то Лазарь выглядел бледным. Если Юра любил разговаривать, то Лазарь больше отмалчивался.

– Займи их, Юрочка, – сказала Зина, указывая на нас, – а то они скучают.

В это время во двор стали прибегать соседские мальчишки. Многие из них учились с нами в одной школе. Вошел во двор Аба Нехамкин с наполненным белым мешочком.

– А ты как сюда попал? – спросил я его.

– Я здесь живу, – ответил Аба, – вот мой дом, – указал он на соседний дом.

– А что ты несешь?

– Соль, купил в магазине Хазанова, – ответил Аба и спросил, – а что у вас за веселье?

– Мы пришли к Зине в гости, – ответил я.

Он оглядел всех нас, улыбнулся и совершенно неожиданно вдруг ударил мешочком с солью меня по животу. У меня перехватило дыхание. В первое мгновение я был ошарашен такой наглостью, а затем бросился на него. Он опять замахнулся на меня мешочком, но я увернулся и нанес ему удар в грудь. Он отшатнулся и бросился бежать к своему дому, крича на всю улицу:

– Лейбе! Меня избивают!

Он юркнул за калитку своего двора, и в то же мгновение из калитки вышел, очевидно, его старший брат, широкоплечий парень невысокого роста и спросил:

– Почему ты гонишься за Абой?

– А почему он без всякой причины ударил меня?

Тогда он повернулся, вошел в свой двор, и я услышал его голос: "Вечно ты ко всем лезешь, а потом кричишь как резаный". Я был возмущен коварным ударом Абы и крикнул от досады, что он ушел от возмездия:

– Трус несчастный! Попрошайка пятерок!

Когда я вернулся к Плоткиным, ко мне подошел Арон Шпиц и сказал:

– Это он из-за Оли!

– Как из-за Оли? – не понял я.

– Ну, мстит тебе за то, что Оля любит тебя, а не его, – объяснил Арон.

"Какая-то нелепость, – подумал я, – кто это может знать, кого Оля любит". Я знал, что Аба всегда во всем хитрит, но такого подвоха, как сейчас, не ожидал. К нам подошел Миша Нафтолин, и мы пошли к нему домой. По дороге я рассказал ему про Абин коварный удар.

– Не обращай на него внимания, – сказал Миша, – он хитрый и злой человек! Я давно его знаю. С ним никто дружить не хочет.

Узнав, где живет Оля Махтина, я стал приходиться на улицу Володарского и издали, прячась за дерево, ждал ее появления на улице, чтобы только посмотреть на нее. Случалось, что я по несколько часов ждал безрезультатно. Теперь можно только удивляться моей настойчивости и терпению ради того, чтобы лишний раз увидеть Олю.

Однажды мой сосед Борис Драпкин позвал меня ради компании сторожить фруктовый сад. Помните, его родители каждый год закупали у кого-нибудь весь сад, и я иногда ходил с Борисом сторожить его. Приятно было лежать в шалаше среди фруктовых деревьев и есть яблоки до полного удовлетворения. Им не жалко было яблок. Только его мать каждый раз предупреждала, чтобы мы ели попорченные яблоки, потому что они хуже чем «целые» яблоки переносили длительное хранение. Нам с Борисом было все равно. Попорченное яблоко было даже мягче и вкуснее.

На этот раз Борис повел меня к дому, расположение которого меня очень обрадовало. Это был дом №48 по Володарской улице, как раз рядом с домом Оли Махтиной. "Вот когда я смогу насмотреться на Олю, – думал я, – причем, что для меня важно, она и знать об этом не будет". Забор был редкий с большими щелями, и я не стал бродить по саду, чтобы Оля случайно не заметила меня. Целый день я сидел в шалаше и смотрел на Олин двор, а она, как нарочно, не появлялась. Я был разочарован. Все мои приятные надежды рухнули. Пробыть целый день возле ее дома и ни разу ее не увидеть.

Уже под вечер, когда мы с Борисом открыто стояли в саду и собирались идти домой, так как ночью всегда дежурил в саду отец Бориса, я увидел в соседнем дворе Олю. Она выбежала во двор повесить постиранную детскую одежду и тут же опять убежала в дом. Если бы она посмотрела в наш сад, она бы меня обнаружила, но она даже не повернулась в нашу сторону.

В конце концов и мое терпение лопнуло. Я стал сердиться и на себя, и на Олю. Я обвинил себя в излишней стеснительности, в трусости и еще во многих отрицательных чертах моего характера. А на Олю я сердился за то, что она вечно от меня прячется, что она не чувствует, что я ее жду, и не дает мне возможности вдоволь насмотреться на нее. Я стал раздражительным и неприятным самому себе.

Именно поэтому я однажды обозвал Олю "рыжей лахудрой", но, к моему великому смущению, Оля ни капельки не обиделась.

– У меня волос не рыжий, а каштановый, – сказала она спокойно и улыбнулась, не собираясь на меня ни сердиться, ни обижаться.

Однажды на перемене я чуть не подрался с ней. Мы бежали по коридору друг другу навстречу. Я решил бежать левее, чтобы пропустить ее, но она нарочно загродила мне дорогу. Я почему-то рассердился и толкнул ее в грудь. Однако, на мой удар Оля почему-то рассмеялась и тоже толкнула меня в грудь. Она, наверно, подумала, что я так играю с ней. А я разозлился и опять хотел ее оттолкнуть, чтобы она уступила мне дорогу, но Оля пригнулась, и мои нестриженные ногти случайно срезали ее родинку на щеке. Увидев заструившийся к подбородку тоненький ручеек крови, я почувствовал себя таким виноватым, каким не чувствовал никогда раньше. Я сразу же забыл про свои обиды и страшно пожалел, что толкал ее. Я стоял перед ней совсем растерянный и смущенный и не знал, что мне делать, чтобы исправить свою вину.

Но Оля, наверно, поняла мое состояние, и чтобы как-то успокоить меня, опять засмеялась, как будто это ей было совсем не больно. В это время раздался звонок, и мы бросились в класс. Вошел директор школы Соломон Захарович Фрадкин – он вел у нас историю. Своими выпуклыми глазами он сразу заметил кровь на щеке у Оли и, тяжело отдуваясь, строго спросил:

– Кто это вас?

Я приготовился к худшему. Я знал, как строг наш директор к хулиганам. Я сидел как обреченный и приготовился к худшему: сейчас Оля скажет – кто, у директора подступит кровь к лицу, глаза по-страшному полезут из орбит, и он закричит мне: "Вон из класса!" Но Оля сказала совсем неожиданное: "Это я сама, нечаянно". Удивленный ее ответом, я быстро взглянул на нее. Она радостно мне улыбнулась, как будто сказала: "Не бойся, я тебя не выдам". "Вот это девчонка", – с уважением подумал я. Ее ответ настолько взволновал меня, что я совершенно не слушал, о чем говорил учитель. Меня охватил восторг. Я еще и еще раз осмысливал ее благородный поступок. В моей душе произошел какой-то переворот. "Выходит, – думал я, – что и среди девчонок есть настоящие друзья!" Одним словом, теперь я в Оле души не чаял. Я размышлял о нашей великолепной дружбе с ней, такой же честной и преданной, какой была наша дружба с Ароном Шпицем.

Но это были только мечты, а на деле ничего не получилось. Моя излишняя застенчивость и боязнь насмешек со стороны одноклассников никак не давали мне возможность стать для Оли неразлучным другом. А последующие события, к моему великому сожалению, помогли мне в этом...

Учителем по черчению и рисованию у нас был Богатырев Юрий Павлович. Мужчина крепкого телосложения, роста выше среднего, с серьезными, вдумчивыми глазами. Его лицо всегда казалось красноватым в обрамлении светлых волос и белых, выгоревших на солнце бровей. К тому же, он всегда носил светло-серый костюм. При первом же появлении он нам всем понравился. Нам приятно было его внимательное и серьезное отношение к нам. Что бы мы ни рисовали, чашку ли, огурец ли, яблоко – он всегда спокойно расхаживал между рядами парт и следил за нашей работой так, как будто мы выполняли наиважнейшее дело. Тихим, доброжелательным голосом он то хвалил кого-нибудь, то подсаживался и показывал, как следует рисовать. Если рисунок ему нравился, он тут же ставил под ним красивую пятерку. Плохих отметок и даже троек он никогда не ставил сразу, а выводил их, наверно, в конце четверти.

Он быстро узнал, кто на что способен, и выделил наиболее умелых. Лучше всех рисовал в нашем классе Арон Шпиц. Рисунки у него получались соразмерные, светлые, приятные для глаз. У меня тоже что-то выходило, но мой рисунок был всегда темным, как будто грязным. Я, наверно, слишком сильно давил на карандаш. Не из-за этого ли у меня часто ломался грифель?

Однажды Юрий Павлович предложил нам нарисовать праздничный парад. Арон Шпиц сразу стал рисовать красноармейцев в буденовках, а я представил себе наш Рогачевский парад на песчаной площади и стал рисовать парад.

В то время праздничные парады в Рогачеве проходили на том самом месте, где теперь построены больница, поликлиника и частные дома. Тогда здесь был большой песчаный бугор от улицы Комсомольской до улицы Горького. Это было самое высокое место в городе. Оно было покрыто глубоким желтым песком и по нему трудно было ходить.

В центре этого песчаного пустыря, на самом бугре, была построена парашютная вышка. За десять копеек можно было прыгнуть с нее на парашюте. Чтобы парашют не снесло ветром, он крепился к вышке тонкой, но крепкой веревкой. Прыгать с вышки на парашюте было, наверно, и страшно, и приятно, как раз то, что нужно молодым парням и девушкам. Недаром около вышки всегда была небольшая очередь молодых людей из самых смелых и отважных. Маленьким билеты не продавали и на вышку не пускали. Мы часами стояли и наблюдали за счастливыми парашютистами и очень завидовали им. Потом вышку неожиданно убрали. Говорили, что там произошел несчастный случай, и кто-то разбился. А ведь мы тоже мечтали в скором времени прыгать на парашюте с этой вышки.

Так вот, на этой песчаной площади в высшей точке бугра к празднику наспех строилась трибуна. В день праздника сюда шли колоннами почти все жители городка: трудящиеся заводов и фабрик, учреждений и артелей, школьники и, конечно, кавалерийский полк, казармы

которого находились рядом. У полка был отличный духовой оркестр, звуки которого разносились по всему городку. Все колонны выстраивались вокруг трибуны в виде незаконченного четырехугольника: одну, наиболее длинную, сторону вдоль Песчаной улицы (ныне улица Смидовича) занимали кавалеристы, а две другие стороны – трудящиеся и учащиеся школ города.

Потом мы слушали поздравления и речи ораторов. А после речей теми же колоннами уходили с площади, направляясь по улицам Комсомольской и Интернациональной на улицу Циммермановскую. Смех, шум и песни витали над колоннами людей. По Циммермановской доходили до городского сада и стадиона, и здесь всех распускали. В летнем театре городского сада начинал играть духовой оркестр кавалерийского полка, молодежь устраивала пляски и танцы. На стадионе и в саду начиналось, как тогда говорили, праздничное гулянье. Вечером на стадионе проходил футбольный матч, а в летнем театре выступали коллективы художественной самодеятельности. И мне что-то не помнится, чтобы природа когда-нибудь помешала этому веселью, этому первомайскому празднику...

Вот этот-то парад на песчаной площади я и стал рисовать в тетради для рисования. Нарисовав трибуну и несколько ораторов на ней, я вдруг понял, что за час урока мне никак не успеть изобразить ряды людей вокруг трибуны, и я решил нарисовать одну шеренгу людей перед трибуной. В первом ряду я нарисовал людей в полный рост, второй ряд – только лица, выглядывавшие между головами людей первого ряда, а в третьем ряду были видны только лбы и брови, а еще дальше – одни полукружья кепок, и все это создавало впечатление большой массы людей, стоявшей перед трибуной.

Юрий Павлович подошел и похвалил меня за рисунок. После этого я получал, как и Арон, пятерки по рисованию, хотя я и сам понимал, что мне еще далеко до рисунков Арона. Надо еще учиться и учиться. Хорошее отношение учителя рисования заставляло меня старательно выполнять его задания. Дома над чертежами я работал, как говорят, высунувши язык.

А Арон их дома никогда не готовил. Увидев на перемене мои чертежи, он признавался, что забыл их приготовить. Тут же он брал карандаш с циркулем и буквально за пять минут наносил все чертежи на одной странице – маленькие, чуть заметные. Я думал, что учитель посмотрит на эти незаметные, мелкие чертежи и скажет ему укоризненно, что чертежи надо дома чертить, а не на перемене. А получалось наоборот. Юрий Павлович молча ставил ему пятерку, а мне – четверку. Выходило, что на ту же работу, на которую я тратил часы, Арону требовалось всего пять минут. И здесь я ничем не мог себе помочь. Мои способности были гораздо ниже, чем у Арона Шпица.

Однажды Юрий Павлович пригласил меня и Арона к себе домой. Это было неожиданное, но приятное приглашение. Нас никто из учителей еще ни разу не приглашал к себе домой. Мы с Ароном с готовностью согласились, надеясь увидеть у него что-нибудь интересное. Ведь он все-таки художник. Не откладывая это дело в долгий ящик, мы в тот же день после уроков побежали разыскивать указанный учителем дом. Это оказалось не простым делом. Его дом стоял на задворках других домов над самой горой, почти как наш. Мы сунулись в одну калитку, в другую, и только третья калитка оказалась нужной нам.

Это был дом под номером четыре по улице Кирова. Войдя во двор мы сразу увидели Юрия Павловича, но совсем другого. Мы привыкли видеть его всегда аккуратно одетого, в костюме, при галстукке, а сейчас он стоял в домашней косоворотке, в спортивных брюках и был совсем не похож на школьного учителя. Мы даже растерялись поначалу. Но он, увидев нас, подошел к нам и сказал довольным голосом:

– Пришли! Вот и молодцы! Проходите, осматривайтесь, у меня тут прекрасный вид на Днепр.

И действительно, вид с их двора был такой же, что и с нашего двора, только под другим углом. Поэтому река, луга и лес казались мне немножко другими. И мост через Днепр был

отсюда виден полностью. Вид моста меня особенно заинтересовал. Я стоял, смотрел и никак не мог насмотреться на него.

– Ну как, красивый вид у меня во дворе? – спросил Юрий Павлович.

– Мост отсюда хорошо смотрится, – сказал я с восторгом, – хоть рисуй!

– Ну что же, тогда пойдем в дом, я уже однажды пробовал зарисовать мост.

Видно было, что учитель рад нашему приходу. Дом у него оказался небольшой с маленькими окнами, снаружи обмазанный глиной и побеленный известью, точно мазанка на Украине. Первое, что бросилось в глаза, когда мы вошли в довольно просторный зал с низким потолком, были картины, написанные масляными красками. На одной из них был наш мост через Днепр во всей своей красе, точно такой, какой был виден со двора учителя. Я знал, что рисовать мост запрещено, но кто мог запретить Юрию Павловичу рисовать мост, сидя на своем дворе за несколько километров от моста?

На другой стене висела картина, от которой у меня вздрогнуло сердце. На фоне зимнего пейзажа, на чистом снежном поле стояла оседланная серая лошадка с длинной, давно не стриженной гривой, опустив морду к лежащему, очевидно убитому всаднику, у головы которого валялась темно-зеленая буденовка с красной звездой. Юрий Павлович в это время показывал Арону свои альбомы с зарисовками и эскизами – заготовки к будущим картинам. А я не мог оторваться от картины с убитым буденновцем. Сколько книг, сколько кинокартин я просмотрел про гражданскую войну! Сколько видел погибающих в битвах прославленных героев гражданской войны! Даже фильм о трипольской трагедии не тронул мое сердце так, как эта небольшая картина на стене. От нее веяло безысходной, необъяснимой тоской. Наверно, Юрий Павлович писал эту картину по мотивам самой красивой песни о гражданской войне "Там вдали за рекой". Разница только в том, что в песне все происходит летом, а на картине Юрия Павловича – зимой. Лицо убитого буденновца совсем молодое: ему бы еще жить да жить.

Я даже не заметил, как ко мне подошел Юрий Павлович и спросил:

– Нравится?

– Да, – выдохнул я, находясь еще во власти этой трагедии на картине.

– Я ее недавно закончил, – сказал он, – ее бы можно на выставку, но, к сожалению, у нас этим никто не занимается.

Я мог ему только посочувствовать, но не больше. Его заботы были нам не по плечу. Наше время в гостях затянулось, и мы поспешили распрощаться. По дороге домой Арон восхищался эскизами Юрия Павловича, а я восторгался его картинами. И мы оба были очень довольны, что побывали в гостях у нашего учителя рисования.

Посещение Юрия Павловича Богатырева усилило наше желание заниматься рисованием. Мы стали ходить в лес и зарисовывать отдельные уголки леса. У Арона рисунки получались светлые и радостные, а у меня, наоборот, темные и угрюмые. Рисовали мы карандашом и акварельными красками. Вскоре к нам присоединился еще один любитель рисования, знакомый Арона Ося Сондак. Он был оснащен гораздо лучше нас и ходил с этюдником. Ося мечтал стать художником, о чем мы с Ароном и не помышляли.

Однажды мы забрели в Виковский лес и увидели там лесной мостик через ручей. "Может быть это тот самый ручей, который дает начало нашей Комаринке?" – подумал я. Целый день мы рисовали этот мостик. По мере движения солнца свет и тени менялись, но мы не обращали на это внимания. Вот такие были мы художники.

Арон свои пейзажи прятал в альбом, а я – вешал дома на стене в зале. Я знал, что они хуже, чем у Арона и Оси, но они нравились маме и соседям, и мне было приятно. За лето стена обросла десятками таких пейзажей, как в выставочном зале. К нам ходили смотреть их наши соседи. Все меня хвалили и прочили в художники.

Обычно мы поворачивали в лес направо, мимо дома лесника и мимо барачков пионерского лагеря. Но однажды мы решили поискать красивые виды природы по левую сторону от шоссе,

там, где на песчаных холмах рос молодой сосновый лес. Пройдя зеленую большую луговину, мы стали подниматься между соснами на первый песчаный холм.

Между прочим, на этой луговине и на этих холмах каждый год второго мая устраивалась всеобщая городская маевка в память о тех маевках, которые нелегально проводили революционно-настроенные рабочие в царской России. Рогачевцы шли сюда семьями с запасами продуктов на целый день. Сюда же выезжал и кавалерийский полк вместе со своим оркестром. Оркестр играл, люди располагались на склонах холмов, отдыхали на лоне природы и наслаждались лесным воздухом. Затем пели песни и танцевали под духовой оркестр. Во второй половине дня конники показывали джигитовку, соревнуясь в мастерстве верховой езды и искусстве владеть шашкой и пикой. Для нас это зрелище было самым интересным, и мы с утра до двух-трех часов дня ждали именно этих соревнований.

Повернув к холмам в этом месте, мы надеялись найти здесь интересные пейзажи для зарисовки. Но ничего достойного не нашли, зато с высоты холма сквозь редкий низкорослый сосняк мы увидели вдалеке необыкновенную панораму нашего Рогачева. Среди маленьких, расположенных как будто в беспорядке игрушечных домиков выделялись своей высотой красивая белая церковь, острый шпиль польского костела и тонкая высокая труба кирпичного завода, а также красные стволы высоких сосен на русском кладбище. Игрушечным казался наш громадный днепровский мост. Какая-то восторженная гордость охватывает сердце, когда вот так, одним взглядом можно объять весь наш городок.

– Вот бы все это зарисовать! – сказал Арон.

И мы были с ним согласны. Вдоволь насмотревшись на далекий городок, мы расселись и стали набрасывать на бумагу карандашом эскиз будущего пейзажа. Первым сдался Ося Сондак.

– Вы как хотите, – сказал он, – а я это дело бросаю. Тут за день ничего не успеешь.

Действительно, такое нагромождение домов и крыш нам не зарисовать и за несколько недель. А такая длительная работа не входила в наши планы. Обычно мы выбирали пейзаж, который успевали зарисовать за несколько часов. Поэтому мы отказались от наброска далекого городка. Мы постояли еще немного, посмотрели на наш городок издали и пошли домой без эскизов. Но мы все равно были довольны увиденным пейзажем.

В следующий раз мы решили вдвоем с Ароном переехать на ту сторону Днепра и оттуда рисовать нашу дамбу. На луговом берегу, у устья речушки Комаринки, рос редкий кустарник лозы. В поисках удобного места среди зарослей лозы Арон обратил внимание, что отсюда очень красиво просматривается днепровский мост, и загорелся желанием его зарисовать, отбросив прежнее намерение рисовать нашу дамбу. Я, как человек, постоянно живущий по соседству с мостом, давно и твердо усвоил, что наш мост строго охраняется, что за сто метров от него проходит запретная зона, что проплывать под мостом можно только по специальному разрешению. Я стал объяснять Арону, что рисовать мост – дело опасное, что мы можем попасть в очень неприятную историю. Но Арон и слушать меня не хотел. Уж если он чего-то очень хочет, то его не остановишь: вопреки всему он будет выполнять свое желание. В этом я убеждался уже не в первый раз.

– Никто нас не увидит, – сказал он, – мы же сидим в кустах.

– Но с моста мы видны как на ладони, – доказывал я ему, – мост метров на тридцать выше наших кустов, а у часовых еще и бинокли висят на груди.

Но Арон не хотел меня слушать. Его решимость меня все больше пугала. "Неужели он не понимает, что это не в сад к кому-нибудь залезть, – думал я, удивляясь его упрямству, – нас же могут обвинить в шпионаже!" Он как одержимый был глух к моим доводам, уж очень хорошо смотрелся мост из этих кустов.

– В таком случае я с тобой не останусь, – сказал я ему.

– Как хочешь, – сказал он, раскрывая альбом для рисования.

– Но я уеду домой на лодке, – сказал я ему, надеясь на то, что он передумает.

– Поезжай, – ответил он спокойно, – я через мост пойду домой.

Арон стал быстро набрасывать первые штрихи моста, а я поспешил побыстрее уехать от него.

На следующий день Арон прибежал ко мне с утра пораньше радостный и возбужденный.

– Ты-ты о-ка-за-зал-ся прав! – выпалил он, хлопая рыжими ресницами и заикаясь больше обычного. – Меня вчера вы-сledi-ли и за-держа-жали!

– Как это произошло? – спросил я с большим интересом.

Арон несколько успокоился и стал рассказывать:

– Когда ты ушел, я еще целый час сидел и рисовал мост. Кругом тихо, хорошо. Никто не мешает. Я так увлекся, что не услышал, как позади меня появились два охранника моста. У меня душа в пятки ушла, когда я увидел, как большая мужская рука появилась из-за моей спины, забрала у меня альбом с рисунком, и мужской голос сказал: "Забирай свои краски и пошли с нами". Увидев военных, я все понял и только тут пожалел, что не послушался тебя". "А куда?" – спросил я у них. "К нам в гости", – ответил охранник, показав на дом около моста по ту сторону Днепра. И они повели меня через мост прямо в караульное помещение. Там начальник караула посмотрел на меня, потом на мой незаконченный рисунок и даже похвалил меня, а потом стал расспрашивать меня, задавая такие же вопросы, как и в милиции: фамилия, имя, отчество, место учебы, кто родители и где работают. Затем он попросил меня подождать в коридоре. Ждать пришлось долго. Начальник все время звонил по телефону, разыскивая моего отца, а его не было в магазине. Наконец его разыскали, и он пришел в караульное помещение. О чем он говорил с начальником, я не знаю, но скоро отец вышел с моим альбомом и забрал меня домой. Рисунка моста в альбоме не было. Вот и все, – закончил Арон, улыбаясь, как будто довольный вчерашним приключением, – а дома отец только предупредил меня, чтобы я больше мост не рисовал.

А я-то думал, что такое задержание может закончиться гораздо хуже. После этого случая мы еще один раз ходили на этюды втроем. Нам хотелось нарисовать изгиб Днепра у русского кладбища. Но этот рисунок у нас у всех не получился. Наверно потому, что расселись мы у самой воды, а надо было расположиться на горе: оттуда виднее.

Вскоре более важные на наш взгляд дела заставили нас бросить хождения на этюды. Началась учеба в седьмом классе. Нас ждало много новостей, о которых я уже частично упоминал. Директор школы Соломон Захарович заболел и уехал к себе в Быхов. Вместо него прислали нового директора Лазарева Лаврентия Артемьевича. Как я уже говорил, он оказался слабохарактерным человеком, и дисциплина в школе стала опять хромать.

Кроме того, появились новые учителя. По истории – Гуревич Израиль Абрамович, по физике – Доросинский Наум Захарович, а по математике – Беркович Самуил Львович. Мне лично больше всех понравился новый учитель истории. Во-первых, он был очень приятным на вид мужчиной. Рост – выше среднего, военная выправка, мягкие черные глаза, сочный негромкий голос и вдумчивое преподавание своего предмета – все это вызывало невольную симпатию к нему. Мне было приятно слушать его рассказы по истории. И не только по истории. На вечерах, посвященных праздникам, он неизменно делал доклады, и только из-за него я приходил на эти торжественные церемонии.

Однажды я попал в неловкое положение. Он всегда говорил размеренно, спокойно и веско, но с некоторым раздумьем. В классе во время урока истории я эти паузы не замечал, потому что увлекался его рассказом. А доклад на вечере меня не увлек, и я немного отвлекся. Во время одной из его пауз мне показалось, что он закончил свой доклад, и я захопал в ладоши. Он быстро посмотрел на меня таким тревожно-вопрошающим взглядом, что я почувствовал его немой вопрос: нарочно я хлопал в ладоши или случайно? От конфуза я покраснел весь до корней волос и, как только он отвернулся, поспешил к выходу из зала. Мне было очень стыдно за свой неловкий поступок. Об этом случае он никогда не напоминал мне открыто,

но я еще долго чувствовал, что он смотрит на меня настороженным взглядом, будто изучая дилемму, можно мне доверять или нельзя.

Как-то увлекшись его рассказом о польском восстании, я ясно представил себе картину расстрела повстанцев царскими войсками и стал ее рисовать в тетради. Израиль Абрамович подошел ко мне, посмотрел и молча отошел, не сделав мне обычного замечания, что я занимаюсь на уроке не тем делом. Больше того, я опять увидел в его взгляде прежнюю мягкую доброту. И мне опять стало хорошо на его уроках. И историю я знал лучше, чем все остальные предметы, а основные даты истории СССР запомнил на всю жизнь и этим удивлял и радовал преподавателей в последующие годы учебы.

В седьмом классе к нам пришел новый учитель математики Самуил Львович Беркович. Это был молодой мужчина с орлиным носом и двойной нижней губой. Он был выше среднего роста, но казался еще выше, потому что был худой и сутулился. От привычки сутулиться, его голова находилась не над плечами, а немного впереди плеч, и, когда он шел, казалось, что он к чему-то присматривается. Был он быстр и энергичен. Из всех учителей математики он был самый страстный математик. Он быстро подходил к учительскому столу, клал классный журнал на стол и, потирая свои руки, бросал на нас хитроватые взгляды. При этом он улыбался улыбкой японца, так как губы раздвигал, а рот оставался полузакрытым. Глядя на эти приготовления к уроку, можно было сразу убедиться, что большего удовольствия, чем преподавать математику, у него не было и не будет. Математику он считал святой святых всех наук, и горе тому ученику, который давал ему малейший повод подумать, что это не так. Тогда он вызывал этого ученика чуть ли не каждый день к доске и доказывал ему, что без особой увлеченности познать математику невозможно. Он задавал ученику хитроумные задачи и ехидно улыбался, бросая многозначительные взгляды на класс, как будто приглашая всех в свидетели бездарности этого ученика. Для учителя это было не трудно, ибо у него всегда находился в запасе пример или задачка, которые будут не по зубам даже хорошим ученикам, не говоря уже о средних и слабых учениках. Подобными действиями он вызывал антипатию к себе, ненависть к математике и нежелание учиться.

Немецкому языку нас учил Лев Григорьевич, очень старый учитель. Ему было, наверно, лет семьдесят. У него были кустистые седые брови и топорщащиеся седые усы. Это был крупный, полный мужчина, страшно неопрятный, потому что из ушей и носа торчали неприятные кусты волос, пиджак был замасленным, а рубашка – грязной. На его уроках у нас творилось что-то невообразимое, как будто все ученики на время этого урока сходили с ума. Шум стоял невероятный. Все призывы учителя к установлению тишины не имели никакого воздействия. Все вертелись на партах, разговаривали, смеялись. Мне жалко было этого старика. Иногда его лицо искажалось страданиями, как от острой зубной боли из-за этого шума. Он безнадежно махал рукой и работал, по существу, с одним вызванным к доске учеником, не обращая внимания на шум. Причем, он спрашивал и отвечал на свои вопросы чаще всего сам, а ученику ставил удовлетворительную отметку. Если же кто-то отвечал ему хоть что-то дельное, он сразу ставил ему отличную отметку и хвалил, ставя его всем в пример. Казалось бы, что мы могли почерпнуть на его шумных уроках? И тем не менее, он все-таки нас кое-чему научил.

К восьмому классу нас осталось всего двенадцать человек. Это было и хорошо, и плохо. Было меньше пыли, меньше шума, больше простора в классе. Хуже было то, что нас почти каждый день вызывали отвечать урок. А это значило, что к урокам надо было готовиться более серьезно. Конечно, если смотреть с высоты будущих десятилетий, это обстоятельство здорово нам помогло: мы гораздо лучше знали материал учебной программы. Но в тот момент нам это совсем не нравилось. Все-таки обыкновенные ученики всегда ищут хоть малейшую лазейку, чтобы не готовить уроки.

Но главная неприятность для меня заключалась не в этом. Дело в том, что из школы ушла Оля Махтина. Она поехала в Минск и поступила там в педагогический техникум. Вместе с

ней поступила в этот техникум и Зина Плоткина. Не знаю, как Миша, а я очень переживал отсутствие Оли в классе. Нет, я так и не решился подойти к ней и попросту поговорить, я стеснялся показать перед всеми мое влечение к ней, но мне нравилось смотреть на нее, ожидать ее прихода в школу, перебрасываться с ней взглядом и получать ее улыбки. На душе стало уныло и одиноко. Пребывание в школе сразу же перестало быть таким радостным, каким оно было при Оле.

Вместе со мной переживал отсутствие Оли и мой друг Арон Шпиц. Однажды он мне признался, что любит Олю гораздо сильнее меня, и что подружиться с ней ему мешало заикание. Иногда на улице я вдруг издали принимал кого-нибудь за Олю, и сердце трепетало от предстоящей встречи, но, убедившись в ошибке, тяжело вздыхал от огорчения.

К счастью, жизнь не стоит на месте. Постепенно унылость и одиночество притуплялись, а новые увлечения не давали мне и моим друзьям скучать.

В один из моих редких походов в Дом пионеров я увидел за столиком двух парней, которые играли в шахматы. Я мельком слышал об этой игре, но ни разу ее не видел. У нас во всех семьях были распространены одни шашки. В шашки я играл неплохо, но особенно не увлекался. Я остановился около шахматистов и стал смотреть, как они играют. Ничего похожего на шашки. Фигурки, очень интересные, ходили здесь и по черным, и по белым клеткам. Получался полный ералаш. Я смотрел и удивлялся, как эти два парня могут разобраться в этом нагромождении фигурок. Мне все это было непонятно. Парни были мне незнакомы, и спросить у них, как играют этими фигурками, я постеснялся. Но сами фигурки мне понравились, и я стоял и смотрел, пока парни не сложили их в коробку и не унесли куда-то.

На следующий день я опять побежал в Дом пионеров, чтобы посмотреть, как играют шахматисты. Но в шахматы никто не играл. Я стал слоняться по комнатам. В комнате, где стоял рояль, на котором я давным-давно играл песенки, занимался струнный кружок, на бала-лайке играл Лева Смолкин, очень красивый парень с нашей улицы. В комнате авиамоделистов знакомых не было: Арон Каток после седьмого класса тоже ушел из школы. Говорили, что он поступил в школу летчиков. В одной из комнат занимались девочки то ли шитьем, то ли куклами. Чем именно, я не рассмотрел, но на столах стояли швейные машинки.

В большой комнате парни играли в бильярд. И так как здесь стояло несколько наблюдающих парнишек, то я тоже стал смотреть на игру бильярдистов. Один из них был мне хорошо знаком. Его отец заведовал нашей аптекой на Базарной улице. Это был Лева Залкинд. Высокий худой парень, очень разговорчивый и веселый, он неизменно всех обыгрывал. За это его прозвали королем бильярда. Звание это было взято из недавно прошедшей кинотрилогии о Максиме, где королем бильярда был киноартист Михаил Жаров.

Когда я вышел из бильярдной комнаты, я опять увидел вчерашних шахматистов. Они сидели за столиком у окна и тихо играли в шахматы. И опять я стал смотреть за их игрой. Постепенно я начал понимать, каково первоначальное положение каждой фигуры и как фигуры передвигаются. Дольше всех мне был непонятен скачок коня. Но и это я в конце концов понял. На третий день я уже осмысленно наблюдал за играющими. Мне уже казалось, что играть в шахматы не так уж и сложно.

Между тем, любителей этой игры с каждым днем все прибавлялось. Они играли на высадку: кто проигрывает, тот уступает место следующему. Интерес к этой игре все больше и больше захватывал меня. Я уже не мог спокойно сидеть дома и читать книги, как делал это до сих пор. Меня тянуло в Дом пионеров, чтобы смотреть, как играют в шахматы. Весь день я торчал возле шахматистов, а насмотреться не мог. Я уже знал все названия фигурок, как ими ходить, как они друг друга сбивают, оставалось только узнать правила игры. Мое ежедневное присутствие около шахматистов не осталось без внимания. Один из них, с воспаленными веками глаз, сказал мне:

– Что ты все смотришь и смотришь, садись и сыграй.

Я и сам хотел поиграть, но все не решался. Поэтому его просьба оказалась кстати. Я с волнением сел за столик, впервые взяв в руки эти загадочные фигурки, расставил их так, как расставляли их до меня шахматисты, и так же как они начал играть. Так, по крайней мере, мне казалось. Но не успел я сделать и трех ходов, как получил мат. Все вокруг засмеялись, а я покраснел и уступил место другому.

– Я думал, что ты шахматист, – сказал пригласивший меня парень, как будто извиняясь, что поднял меня на смех.

Я промолчал. "Не надо было мне еще играть, – думал я, – эта игра не так проста, как кажется на первый взгляд. Напрасно опозорился. Хорошо, что здесь нет знакомых ребят!" Однако на следующий день я опять побежал в Дом пионеров, решив, что играть не буду, а буду только смотреть. Игра настолько заинтересовала меня, что я уже не мог без нее жить. Я чувствовал, что эта игра необыкновенно занимательная. Шахматисты там уже играли. Вокруг столика собралось уже много любителей, и судя по тому, что никто не разговаривал и не под-сказывал, там шла серьезная игра.

Против вчерашнего моего противника, его звали Лева Нехамкин, сидел Миша Кауфман, живший недалеко от нас по улице Первомайской. Наверно, он хорошо играл, потому что Лева Нехамкин подолгу задумывался над ответным ходом. Я пристроился позади Левы Нехамкина и стал наблюдать за игрой из-за его плеча.

Не знаю, как это мне взбрело в голову, но мне вдруг показалось, что шахматные фигуры чем-то похожи на швейные катушки из-под ниток, только разных размеров. И тут же меня осенило: ведь из этих катушек можно сделать настоящие шахматы. Эта идея была так заманчива, что я тут же бросился домой искать катушки из-под ниток. Но дома я нашел всего три катушки. Как быть? Мне их надо было не меньше двадцати пяти, притом разной величины. Четыре больших – для королей и королев, четыре поменьше – для офицеров, четыре толстых – для тур и так далее. Но где же взять столько катушек?

Кстати, вы знаете, зачем у человека голова на плечах? Как раз для таких моментов, чтобы знать: что, где, как! Мне нужны были катушки сию минуту, и у меня появилась мысль бежать в швейные артели. Там их, наверно, каждый день выбрасывают сотнями. И я побежал немедленно, потому что иметь шахматы дома – это значит быть счастливым, ибо шахматы – самая великая игра из всех игр на всем белом свете.

Сначала я побежал к дяде Симону, нашему соседу по дому. Он работал в шапочной мастерской на базаре. Мастерская находилась на углу Базарной и Советской улиц. Дядя Симон отложил в сторону недошитую фуражку, прошелся по мастерской и принес мне десять катушек. Этого, конечно, было мало, да и катушки были одинаковые. Тогда я побежал к дяде Григорию, отцу младшей сестры Саши, в сапожную артель. Она находилась на углу улиц Циммермановской и Дзержинского. Это был длинный деревянный старый дом с покосившимися рамами маленьких окон. Внутри артели был полумрак, и я с трудом нашел там дядю Григория. Ему некогда было со мной заниматься, и он указал мне на дальний угол, куда все выбрасывали ненужные остатки материала.

Для всех работающих в этом темном помещении все, что лежало в этом углу, считалось хламом или мусором, но для меня этот мусор обернулся в необыкновенный клад, став дороже любых золотых кладов. Именно здесь я нашел в избытке все, что мне надо было для создания шахмат. Я набил катушками свои карманы, набросал за пазуху и радостный побежал домой. Не откладывая дело в долгий ящик, я взял кухонный нож и приступил к работе.

Еще никогда я не изготовлял предметы с такой радостью. Работа оказалась даже проще, чем я думал. Катушку – пополам, и две пешки готовы. Восемь катушек – пополам, и шестнадцать пешек готовы. Правда, на руках появились мозоли. Пришлось накрутить на правую руку тряпку. У четырех катушек я срезал верхние кружки, и получились офицеры. Для тур никакого вмешательства не потребовалось. Четыре толстенные катушки были точно как настоя-

щие туры. Самая трудоемкая работа – это вырезать лошадиные мордочки из верхнего кружочка катушки. С этим я провозился довольно долго. Для королей я подобрал самые высокие катушки, а для королев – чуть-чуть ниже, только в королей я вставил сверху острые палочки, а в королев – тоже сверху палочки с закруглением. Шахматы были почти готовы. Осталось половину из них покрасить, что я и сделал, воспользовавшись чернилами.

Фигурки стояли и подсыхали, а я смотрел на них с гордостью и любовью. В тот момент мои только что сделанные шахматы меня обрадовали гораздо больше, чем если бы мне купили новые. Доска для шашек у нас есть, но она слишком маленькая. Я вырезал квадрат побольше из фанеры и расчертил на нем шестьдесят четыре ровные клетки. Затем половину клеток закрасил чернилами. Все было готово. Вы даже представить себе не можете, как я был доволен. Завтра я позову своих друзей, и в нашей жизни начнется новая эпоха – эпоха шахматных баталий.

Глядя на состав шахматных фигур, поневоле думаешь, что в них есть все признаки древних государств: король, королева, начальники войск офицеры, кавалерия, пехота и крепости-туры. Глубокий смысл этой игры заключается в том, что силы у обеих сторон совершенно одинаковые, и выигрывает битву тот полководец, который более умело распоряжается своими войсками. В этом честь и слава шахмат. Ибо какая честь может быть тому, кто крупными силами разбил слабого противника? Больше того, в шахматах заложены все страсти человеческого бытия. Сами подумайте, чего только в них нет: победы и поражения, радости и огорчения, смелость и трусость, находки и потери, оборона и наступление, расчет и просчет и так далее. Одним словом, шахматы вобрала в себя все, чем богата жизнь на нашей земле. И сколько бы эта игра не существовала, люди не перестанут удивляться ее мудрости.

Утром я побежал к Арону Шпицу. Он тоже обрадовался возможности поиграть в шахматы. Вместе с ним мы побежали к Мише Нафтолину. Но Миша встретил нас довольно холодно. Оказалось, что он уже умеет играть в шахматы, но идти с нами охотно согласился. И это было очень кстати, потому что он знал некоторые правила игры, о которых мы не имели никакого понятия. А Арону пришлось объяснять с азав: названия фигур и их ходы. Но парень он сообразительный, и эта наука поддалась ему за считанные минуты. А затем пошла захватывающая игра. Мы так увлекались, что забывали о еде и о времени. Играли, как в доме пионеров, на высадку. Но высаживались только мы с Ароном: Миша сидел непоколебимо. Он выигрывал у нас партию за партией.

Мы, наверно, сильно утомлялись от этой игры, ибо засыпал я мгновенно, чего раньше не бывало, и спал до утра без сновидений. Мы стали собираться каждый день. Играли по сорок-пятьдесят партий подряд. К концу дня мы уже плохо соображали. «Зевки» следовали за «зевками», но остановиться мы не могли. Все прочие игры были заброшены, к книгам мы не прилагивались. И удивительное дело, игра в шахматы не надоедала. Наоборот, чем больше мы играли, тем все более интересное становилось играть. С каждым днем мы все глубже познавали все красоту этой изумительной игры.

Миша Нафтолин не только обыгрывал нас. Он многому нас научил. Именно от него мы узнали, что такое "детский мат" и как от него защититься, как бороться за владение центром доски. "Кто центр захватит, – говорил он, – тот на пути к победе". От него мы узнали и о взятии пешки на проходе, и о том, когда можно и когда нельзя делать рокировку, и многие другие правила. Он действительно знал гораздо больше меня, хоть я и простоял целую неделю в Доме пионеров, следя за игрой хороших шахматистов.

Именно за шахматной доской, как нигде раньше, выявились наши характеры: вспыльчивый – у Миши, добродушный – у Арона и что-то среднее – у меня. Играли мы без строгих правил, так как все-таки твердо их не знали. Разрешали друг другу брать ходы назад, особенно, если кто «зевнет» королеву или мат. Мы с Ароном охотно шли на эти поблажки, а Миша – не всегда. Когда его фигуры оказывались в трудном положении, он не разрешал брать ходы назад. Но стоило нам напомнить, что мы ему разрешали брать ходы обратно, как он вдруг сма-

хивал все шахматные фигуры на пол и уходил домой. Недаром за ним утвердилось прозвище «злюка». Но злился он недолго. Два-три дня, не больше. Потом он сам приходил к нам, как будто ничего и не было.

Зато с Ароном играть было одно удовольствие. Если меня и Мишу интересовал в шахматной игре конечный результат, то у Арона были совсем другие интересы. Он мог проиграть хоть сто партий, проигрыши его не волновали. Но стоило ему выиграть партию в результате красивой комбинации, как он не знал, куда деваться от счастья. Шахматные партии, прошедшие без единой комбинации, он вообще не считал за партии. Он всегда искал комбинации. Только они занимали его в игре. Во всем и везде он искал только красоту. Но, к сожалению, мы играли так быстро, что Арону редко удавалось придумать красивую комбинацию с жертвой фигуры. Но именно он толкал нас на настоящую, комбинационную игру в шахматы. Он первый принес нам затрепанный учебник шахматной игры, из которого мы многое почерпнули.

Учебник этот нам, можно сказать, открыл глаза в настоящий шахматный мир. Из этой книги мы узнали, что в самом начале игры есть множество комбинаций и ловушек, при помощи которых можно сразу же переиграть противника, если, конечно, противник не знает о способах защиты. Из учебника мы узнали, что все партии можно записывать и затем анализировать. Мы тоже пробовали записывать наши партии, но нам это не понравилось. Запись только отвлекает и мешает думать: игра-то у нас шла быстрая. Из этого же учебника мы познакомились с партиями великих шахматистов и лишней раз убедились в неограниченных возможностях шахмат. Больше всего нам понравилась игра Пола Морфи. Его партии развивали наше воображение, и наша игра заметно улучшилась. В нашем шахматном лексиконе появились слова: гамбит и дебют, миттельшпиль и эндшпиль, стратегия и тактика, закрытые и открытые дебюты и другие. Чем обширнее становились наши знания в шахматах, тем шире раскрывались горизонты этой игры.

Однажды мы получили приглашение прийти к какому-то Леньке Кальянову. Нам сказали, что он организовал шахматный кружок у себя на дому. Миша Нафтолин идти отказался, а мы с Ароном пошли. Дом, где жил Ленька Кальянов, находился рядом с базарной площадью и близко от городского сада на углу улиц Кирова и Советской. Дом – хороший, на высоком фундаменте. В просторной кухне вокруг стола сидело несколько мальчиков. Среди них, совсем неожиданно для меня, двоюродный брат Миши Юдик Нафтолин. Это к ним в сад мы однажды залезли с Ароном за большими грушами и так и не попробовали их. Никогда не думал, что Юдик интересуется шахматами. Он хоть и был старше меня на год, но был ростом меньше меня и даже худощавее. Увидев его здесь, я вдруг проникся к нему уважением.

Из-за стола поднялся и пошел нам навстречу очень высокий и красивый юноша. Черты лица у него были нежные и мягкие, но широкий подбородок придавал ему мужественный вид. Он познакомился с нами и пригласил к столу. Из смежной двери вышла его мама, высокая, полная женщина с приятным лицом. Она предложила нам чаю, но мы сразу отказались. Ленька был уравновешенный и благожелательный юноша с приятным голосом. Он сообщил нам, что шахматный кружок они решили назвать именем великого русского шахматиста Михаила Ивановича Чигорина, что мы тоже можем приходить к нему в любое время и приносить шахматы с собой, потому что у него есть только две партии шахмат.

Занятия в кружке шли всегда шумно и весело. Мы играли в шахматы, записывали свои партии, а затем все вместе разбирали их, отмечая ошибки. Это было интересно только тогда, когда разбирали чужие партии. Поэтому я старался свои партии не записывать. Арон же, наоборот, записывал свои партии и рад был, когда все наперебой показывали ему множество ошибок. Время от времени Ленька устраивал турниры на звание чемпиона нашего кружка. Ими чаще становились сам Ленька или Яша Элькин. Они играли лучше всех. Пока я ходил в шахматный кружок, я немного сблизился с Юдиком Нафтолиным. Я всегда заходил за ним, когда шел к Леньке Кальянову. Юдик брал шахматы, и мы отправлялись к Леньке. Возможно,

мы бы больше подружились, если бы он не был таким домоседом. Поэтому-то я и удивился, когда увидел его в кружке.

Забегая вперед, скажу: когда Юдик попал в армию, он за короткое время вырос и стал таким высоким, что обогнал всех своих высоких братьев и сестер. В армии он закончил саперную школу и стал офицером-сапером.

Шахматный кружок, к нашему сожалению, просуществовал недолго. Но он нам многое дал в смысле нашего мастерства на полях шахматных сражений. . .

Наш двор был всегда чисто прибран, если не считать тех дней, когда нам привозили дрова на зиму. Сада и огорода у нас не было, поэтому у нас во дворе всегда росла зеленая травка: мягкая, бархатная, какая бывает, наверно, только в Белоруссии. На этой травке было приятно лежать, и я пользовался этим в любой погожий день.

В один из таких дней я сидел на траве во дворе и наблюдал за ребятами, которые купались в Днепре на песчаной косе, когда вдруг во двор вошла целая делегация из шести человек во главе с Ароном Шпицем. – Лева, – говорит он, – я привел тебе шашистов, они хотят с тобой поиграть. И Арон мне всех их представил.

Оказывается, в городе проходил шашечный турнир школьников, и один из пришедших ко мне, Изя Пиковский, стал победителем этого турнира. Ему-то Арон и расхвалил меня как шашиста. Изе захотелось сыграть со мной в шашки, померяться, так сказать, силами. Все ребята были незнакомые, из русской школы, которая находилась на другом конце города, почти в конце Циммермановской улицы. Только один Яша Элькин был мне знаком по шахматному кружку имени М. И. Чигорина.

Изя Пиковский – стройный, высокий, худой паренек с черным чубом, – стоял против меня и улыбался. Узнав, что он – чемпион города среди школьников, я про себя обругал Арона за то, что он привел его ко мне, да еще с такой большой компанией. Я был уверен, что тот, кто играет в турнирах, гораздо сильнее домашних любителей. Чтобы потом напрасно не краснеть от стыда, я стал отказываться от этой игры, ссылаясь на то, что Арон меня просто перехвалил. По-моему, никому не хочется позориться среди незнакомых ребят.

Но мой отказ никого не устраивал. И Арон, и Изя, и другие ребята стали наперебой уговаривать меня сыграть хотя бы три партии. И мне пришлось согласиться. Вынес я шашки во двор, и мы стали играть на зеленой траве. Вокруг расселись ребята. Вы даже не представляете себе, как я опасался проиграть. Но мне везло. Изя Пиковский был, наверно, в тот день не в лучшей своей форме. Он не замечал даже простых ловушек и проигрывал одну партию за другой. Ему самому не верилось, что он терпит такое поражение от никому не известного мальчика. Я предлагал ему закончить игру, но он после каждой партии настаивал еще на одной партии. И только после восьмой партии, когда он окончательно убедился, что не может меня переиграть, он согласился закончить игру. Тогда все стали хвалить меня за хорошую игру в шашки и пожалели, что они не знали об этом раньше, а то бы пригласили меня на турнир. Они не знали, а я им не стал говорить, что у моего старшего брата Лазаря я за всю свою жизнь не выиграл ни одной партии.

После игры все долго любовались просторами Днепра и завидовали мне, потому что я живу на таком удобном месте. Да, местоположение нашего двора было замечательным, и я всегда был благодарен маме за то, что она купила половину дома именно здесь.

Перенесемся опять в школу номер три. Физику у нас одно время вел учитель Доросинский Наум Абрамович. Это был довольно интересный учитель. Между прочим, он окончил физико-математический факультет в Минске вместе с моим двоюродным братом Лазарем Ронкиным из Бобруйска. Наум Абрамович был всегда энергичен, весел и разговорчив. Наверно, поэтому он смог жениться на красивой молоденькой учительнице, которая учила первоклашек. Внешность у Наума Абрамовича была неказистая: рост маленький, лоб большой с залысиной, шея тоненькая, подбородок острый и плюс ко всему, на маленьком горбатом носике

торчали огромные очки, закрывавшие половину его лица. Физику он знал хорошо и учителем был прекрасным. Этого у него не отнимешь, но мы почему-то были недовольны им за то, что он страшно не соответствовал своей жене, которая была выше его на голову. Не знаю, чем это объяснить, но мы не могли простить ему то, что он женился на такой красивой девушке. Как выразился тогда Ефим Фрумин: "Он ее просто заговорил".

В это время в Рогачеве с успехом шел фильм "Ущелье аламасов", где главным героем был руководитель экспедиции профессор Джамбон. Аба Нехамкин, просмотрев этот фильм, прибежал на следующий день в класс весь взбудораженный.

– Послушайте, что я вам скажу! – закричал он, не успев положить свои учебники в парту. Все его лицо сияло от радости. Хромой Ефим Фрумин даже встал со своего места в предчувствии какой-то сногшибательной новости.

– Я вчера смотрел фильм "Ущелье аламасов" и знаете, что я заметил? – продолжал Аба интриговать нас.

– Что? – раздалось несколько голосов.

– Наш Доросинский – точная копия профессора Джамбона из фильма!

Аба сказал это с торжествующей радостью, точно сделал важное открытие. И действительно, это сравнение соответствовало подлинности. Мы были удивлены, как это мы не заметили? А Аба торжествовал:

– Теперь я буду называть его Джамбоном! – кричал он на весь класс.

И мы все тоже были рады этой кличке, потому что основание для неуважения к нему у нас уже существовало. Эта кличка Доросинскому был настолько кстати, что моментально распространилась по всей школе и даже за ее пределами. Так, с легкой руки Абы Нехамкина, Наума Абрамовича стали звать Джамбоном.

Говорят, что он на эту кличку не обиделся. Доросинскому дали квартиру в том же дворе, где жили Кучинские, напротив ресторана по Циммермановской улице. Несколько раз, проходя мимо этого двора, я слышал звонкий голос Наума Абрамовича, рассказывавший смешные анекдоты, и громкий смех слушателей.

Вот этот-то веселый учитель физики вдруг отказался от уроков в нашем классе. То ли у него перегрузка была большая, то ли еще какая-нибудь причина, но мы остались без учителя. Тогда директор школы договорился с учительским институтом, и их преподаватель согласился учить нас, но с условием, что наш класс будет приходить к нему в институт. Так как другого выхода пока не было, то директор нашей школы был вынужден согласиться на это условие. Хорошо еще, что институт находился на одной улице с нашей школой и на расстоянии одного квартала.

Учились мы не в самом институте, а в двухэтажном доме на углу улиц Циммермановской и Дзержинского. Там, на втором этаже был физический кабинет, и хозяином этого кабинета оказался наш старый знакомый, который интриговал всех жителей южной окраины Рогачева своей внешностью и тем, что зимой ездил на велосипеде. Это был всем нам известный Семен Евгин, живший в домике, который примостился к стене нашего замка, рядом с мостом через Днепр. Я даже не предполагал, что он преподает физику. Теперь, увидев его в кабинете физики, я стал относиться к нему с большим интересом.

Евгин был высокий, широкоплечий мужчина с внушительной и представительной внешностью. Буйные, лохматые, темные, с каштановым отливом волосы окаймляли все его лицо. Из-под густых бровей смотрели на нас насмешливые коричневые глаза. Длинная, волнистая борода, густые баки и беспорядочный чуб делали его похожим на Робинзона Крузо, который вдруг оказался здесь после 28-летнего пребывания на необитаемом острове. Если учесть, что он жил при замке, который был огорожен колючей проволокой и куда никого не пускали, то вы поймете и мой интерес к нему и интерес к нему моих друзей.

По-моему, он нас всерьез не принимал. Это было видно из того, как он преподавал нам физику. Весь учебный час он употреблял для рассказов анекдотов и необыкновенных историй с физиками всего мира. А в конце урока брал у кого-нибудь учебник и указывал нам, какой материал учить к следующему уроку. Так он ни разу и не объяснил нам новый материал. Иногда он показывал нам интересные опыты, благо его кабинет был богато оснащен различными приборами. Эти часы физики нам очень нравились, и мы охотно спешили на урок к нему. У него в кабинете нам было весело и интересно. Правда, учить физику без объяснений учителя было трудно. Но и плохих отметок он нам не ставил. Если кто плохо отвечал урок, он предупреждал, чтобы тот выучил к следующему разу и прошлый материал и новый материал. И этим он нам тоже нравился.

Однажды он провел с нами эксперимент, о котором мы потом долго вспоминали. Когда мы пришли в кабинет и расселись за двумя рядами столиков, он ничего не объясняя, дал в руки впереди сидящим проводки и приказал всем взяться за руки так, чтобы получилась замкнутая цепь. Только Аба Нехамкин отказался участвовать в этом опыте. Даже когда учитель ему сказал, что ничего опасного в этом нет, Аба все равно не дал соседям по столу свою руку. Когда все было готово, Евгин подошел к электростатической машине и стал ее крутить. Неожиданно в кисти наших рук и в наши сердца ударил заряд электрического тока, и все руки моментально расцепились. Удар тока поначалу всех перепугал, но в следующий момент, когда мы поняли, что все закончилось благополучно, все развеселились.

Потом мы часто со смехом вспоминали, кто как реагировал на удар тока. А Аба Нехамкин хвалился тем, что предусмотрел опасность этого опыта и отказался в нем участвовать.

Как-то раз во время урока в кабинет вошла высокая, интересная женщина в шляпке с темной вуалью, опущенной ниже глаз, и в длинном платье. Для Рогачева такая одежда была очень редкостной. Она стала что-то быстро показывать учителю пальцами. Я глянул на Евгина, и сердце у меня похолодело. Евгин смотрел на нее таким сердитым взглядом, что сразу стало понятно, какая сила злости таится в этом человеке. Ведь только что, рассказывая нам очередной смешной случай про Исаака Ньютона, он так хорошо и приятно улыбался, и вдруг такая перемена. Он ей тоже показал что-то пальцами, и женщина, ничего не сказав, быстро повернулась и вышла из класса.

И какие только предположения мы потом не строили, что она ему показала пальцами и что он ей показал? И главное, кто эта женщина? Нас это занимало весь день. Но в конце концов мы решили, что они разговаривали условными знаками. Это было очень интересно. Можно разговаривать так, что никто ничего не поймет вот так же, как Евгин с этой женщиной. Эту мысль подал нам Ефим Фрумин. Затем на этой версии упорно настаивал Аба Нехамкин.

На одном из уроков Евгин вдруг предложил, если у кого-нибудь будет желание, побывать у него дома, во дворе замка, и обещал показать какую-то интересную сигнализацию. Удивительный человек мой друг Арон. Кто бы его куда ни позвал, он сразу загорается желанием пойти на зов хоть на край света. Любопытство его прямо съедает. Так случилось и на этот раз. После уроков он прибежал ко мне и позвал к Евгину в гости.

– Не хочу я к нему идти, – говорю я Арону, – он с виду только хороший, а в действительности – плохой.

– Ну, пойдем со мной, – уговаривает меня Арон, – одному мне идти неудобно, сделай одолжение.

– А вдруг он уговорит нас на какой-нибудь эксперимент?

– Откажемся, – говорит Арон, – почему ты решил, что он плохой?

– Посмотрел бы ты, какие у него глаза были, когда вошла та женщина, у меня и то сердце дрогнуло.

– А мне он нравится, – говорит Арон.

– И мне он нравится, но одновременно я его и боюсь.

– Ну, почему ты его боишься, – говорит Арон в отчаянии от моего отказа, – ведь он все-таки учитель! И отец мой там же, наверно, будет.

Это сообщение меня удивляет:

– При чем здесь твой отец?

– Он перешел на другую работу, теперь он заведует складом, а склад как раз в этом замке.

Вот это новость! Я-то думал, что в этом пустом замке черти водятся, а в нем оказывается обыкновенный склад. У меня сразу пропал весь интерес к этому замку. Склад – это уже не замок, а обыкновенное помещение, вроде тех, что расположены на Складской площади напротив белой церкви. Тогда поход к Евгину домой принимает совсем другой поворот. "Если рядом работает отец Арона, – думал я, – то можно спокойно идти к этому странному учителю физики". И я соглашаюсь сопровождать Арона. Арон обрадовался моему согласию, и мы побежали к замку.

Ворота, сбитые из мелких дощечек, были раскрыты настежь. Во дворе стояло несколько повозок, нагруженные туго-набитыми мешками, скорее всего, крупой, потому что мешки были чистые. Грузчики по мосткам заносили их внутрь замка. Вплотную к боковой стене замка приютился небольшой, продолговатый деревянный домик с двумя маленькими окошками. В нем-то и жил учитель физики Евгин. В глубине двора вдоль проволочной ограды стояло несколько сарайчиков и навес, под которым двумя штабелями лежали аккуратно уложенные колотые дрова. Когда мостки, ведущие в замок, оказались в какой-то момент свободными от грузчиков, мы с Ароном вбежали внутрь замка. Там действительно стоял отец Арона дядя Исаак с карандашом и блокнотом в руках. Он указывал грузчикам, куда какие мешки класть, и смотрел, чтобы они аккуратно укладывали их на подмости, расставленные вдоль стен. Увидев нас, он сказал улыбнувшись:

– А, Арончик! Зачем пришел?

– Так, посмотреть, – ответил Арон.

В это время дядя Исаак подошел к одному из грузчиков и отругал его за неаккуратно брошенный мешок. Сколько лет я мечтал посмотреть этот замок изнутри хоть одним глазом! И вот я внутри замка. И я пережил, можно сказать, полное разочарование. Голые кирпичные стены с квадратными окошками наверху и зацементированный пол. Внутренняя кирпичная стена разделяет помещение замка на две части: одну – узенькую, другую – просторную. Внизу, в этой внутренней стене широкий проем, а наверху, вроде как на втором этаже, узенькая дверь в самом углу, к которому ведет узенькая лестница из кирпича без перил, прилепившаяся к стене замка. Что там, на втором этаже? Арон попросил разрешения у отца подняться туда, но дядя Исаак отказал нам, опасаясь, что мы можем упасть с этих стертых от времени ступенек.

– Посмотрели, – сказал дядя Исаак, – а теперь куда держите путь?

– Зайдем к нашему учителю, – сказал Арон, – он живет здесь, в доме во дворе.

– Вот-вот, идите, а то вы мешаете мне работать.

И мы выбежали во двор.

– Вот так замок! – говорю я Арону, разочарованный увиденным. – Одни голые стены, как тут люди жили?

– Не знаю, – говорит Арон, – может раньше были комнаты внутри, а потом их убрали. Мы подошли к дому Евгина. Входная дверь была заперта.

– И так бывает: приходите ко мне домой, когда меня дома нет! – говорю я Арону.

– Надо было сначала зайти к учителю, а потом – к отцу.

Я немножко рад, что Евгина нет дома, не было у меня охоты к нему идти, а Арон недоволен. Он стоит у дверей и не знает, как дальше поступить: то ли подождать, то ли идти домой. А мне все равно: как он решит, так и будет. Наконец, Арон решает идти домой и просто, на всякий случай, постучал в окно.

И к нашему удивлению в окошке показалось бородатое лицо учителя. Вот так сюрприз! Отдыхал он что ли? Он открыл нам дверь и с улыбкой пригласил в дом.

– Заходите, заходите! Хорошо, что вы пришли. Сейчас я вам кое-что покажу.

Мы прошли через темные сени, где валялось разное барахло, и попали в маленькую кухню, почти темную, потому что маленькое окошко было давно не мыто и, к тому же, снаружи рос густой куст сирени. На кухне у окошка стоял маленький столик и табуретка, а напротив окошка все пространство занимала маленькая русская печь. Потом мы вошли в довольно большой зал, где я с трудом разглядел двуспальную кровать, буфет, комод и этажерку с книгами, лежащими и стоящими в полном беспорядке. Дело в том, что в зале тоже было одно маленькое окно и то в самом углу, у входа на кухню. Поэтому весь зал тонул в полумраке.

Когда глаза немного освоились, я заметил, что вокруг царит полнейший беспорядок. Кровать была не застелена, вещи валялись на комод и на стульях, книги разбросаны. Меня это очень удивило, потому что на уроках учитель был аккуратно и чисто одет. Почему же у него дома такой беспорядок? В зале у окошка стоял такой же небольшой столик, как и на кухне, загроможденный каким-то большим прибором, похожим на радиоприемник со множеством разноцветных проводков. Мы, конечно, сразу устремили свои любопытные взоры на этот прибор. Все разноцветные проводки от этого прибора тянулись к квадратному щиту, который был прикреплен в промежутке стены между окошком и стеной кухни и на котором было четыре ряда разноцветных маленьких лампочек. Ничего подобного нам еще видеть не приходилось.

– Эта установка, – мой верный сторож, – сказал Евгин, – куда бы вор не залез, я, посмотрев на лампочки, всегда буду точно знать, где он находится. Недели две назад ночью зазвонил звонок, который соединен с лампочками через автоматическое реле. Я посмотрел на щит и увидел, что на нем не горит желтая лампочка, а это значило, что воры залезли в сарай. При моем появлении во дворе они разбежались. Ночью даже в ворота никто не войдет без моего ведома.

Евгин смотрел в наши расширенные глаза и улыбался. Он, кажется, был очень доволен, что удивил нас.

– Смотрите, – продолжал он, привлекая наше внимание к щиту на стене, – все проводки от щита выходят через отверстие в раме окна во двор, а там они протянуты во все концы двора: и под окнами, и под дверями, и в сарае, и вокруг навеса с дровами, и под калиткой, и у ворот, и вдоль забора. Проводки тоненькие, их почти не видно, а ночью тем более. Но стоит кому-нибудь рвануть их, как на щите потухает лампочка и звонит звонок. Днем я выключаю установку, а рано утром снимаю проводки с калитки и ворот.

Он опять посмотрел на нас, снисходительно улыбаясь. Какое, мол, впечатление произвел на нас прибор? А мы действительно были в восторге от его «сторожа». Он включил все лампочки на щите. Разноцветные лампочки смотрелись очень красиво, не говоря уж об их удивительном назначении. "Здорово он это все устроил, – подумал я, – но охранять-то ему нечего. Дом убогий и мрачный, барахло никому не нужно, грязь, пыль столетняя. Зачем ему этот «сторож»? Не для того же, чтобы уберечь пару поленьев дров. Да появись Евгин на улице, он сам перепугает всех воров и разбойников. Зачем же ему этот удивительный «сторож»? "Что-то здесь не так", – сказала бы наша соседка по дому тетя Сарра, известная на нашей улице своими всегда спокойными и мудрыми советами".

В это время из кухни вышла в зал та самая женщина, которая накануне вошла к Евгину во время урока. Ее неожиданное появление здесь меня и Арона просто ошеломило. Как будто она с неба свалилась. Здесь, в этом сумрачном доме, она показалась нам и выше, и стройней, и красивей, и почему-то очень гордой. И опять, как тогда, во время урока, они стали переговариваться на пальцах, но теперь уже не издали, а стоя почти вплотную друг к другу. Нам это показалось настолько необычным и неестественным, что мы, наверно, опять стояли с округ-

ленными глазами и раскрытыми ртами. А они опять, по-моему, злились друг на друга. Увидев мельком наши лица, Евгин быстро проговорил:

– Не пугайтесь и не удивляйтесь: это моя жена, она глухонемая с детства.

Слова его действительно нас успокоили, но нервные движения Евгина и его жены были такими, что мы почувствовали себя лишними и заторопились домой. Евгин же не стал нас задерживать. И почему они всегда ссорятся между собой? Спустившись с пригорка к шоссе и убедившись, что Евгин за нами не вышел и не смотрит вслед, мы, довольные, что выбрались из этого загадочного, полутемного дома с сердитыми супругами, рассмеялись от всей души.

– Вот тебе и тайные знаки! – закричал я, имея в виду Абу Нехамкина и Ефима Фрумина, которые настаивали на этой версии.

Да, завтра удивиться весь класс. Это будет поудивительней сообщений Яши Гуревича. Мы шли и разговаривали об учителе Евгине. Арон был очень доволен, что побывал у него, а я был доволен, что это посещение осталось позади. Уж очень угнетающая обстановка у него в доме. Как они там живут в таком беспорядке и грязи? Почему они всегда недовольны друг другом? Почему при такой беспорядочной домашней жизни они все-таки одеваются чисто, аккуратно и красиво? Зачем ему такой громоздкий и дорогой аппарат, который держит под контролем весь двор? И вообще, почему он обосновался в этом домике, прилепившимся к высокой стене бывшего замка?

Нерешенные вопросы, связанные с Евгиным, возникали в моей голове непрерывно. Что же он все-таки из себя представляет? Арона же больше всего заинтересовал прибор Евгина. Он восхищался и прибором, и его создателем. Это естественно, потому что Арон, кроме искусства, увлекался еще и техникой. И друзей находил, увлеченных техникой. И меня водил к ним, хотя техника вызывала у меня только скуку. Но я должен был сопровождать друга. Несколько раз он приводил меня к Абраму Ривкину. Он жил в доме на углу Урицкой и Красноармейской улиц, как раз на моем пути в школу.

Абраша Ривкин был мастером на все руки. Но больше всего его интересовали модели с двигателями. Это был невысокий светловолосый паренек с очень бледным лицом. Я даже думал, что он чем-то болен, но Арон сказал, что он ничем не болеет. У него была светлая голова, и он был отличником, а это далеко не простое дело. Самые коварные работы в школе – это диктанты и сочинения. Случалось, что ни у кого не было хороших отметок, а у Абраши Ривкина всегда неизменная пятерка. Настоящий отличник. И не сказал бы, что он много готовился к урокам. Нет, больше всего времени он тратил на свои увлечения. То он увлекался фотографией, то строил авиамодели с бензиновым моторчиком.

Ко времени моего прихода к нему он усиленно ладил глиссер с бензиновым двигателем. Представляете себе двигатель, это же очень громоздкая вещь. А Абраша все сделал в миниатюре, и все сам, дома. И когда глиссер был готов, мы вместе с Ароном сопровождали Абрашу на Днепр для испытания готовой модели. Глиссер быстро умчался на середину Днепра, пересекая гладь воды, и, сделав большой полукруг, возвратился опять к нашему берегу. Сколько было радости! После третьего запуска мотор заглох на середине реки, и глиссер стало уносить течением. Пришлось его догонять на лодке.

Вот и сейчас, когда мы шли от Евгина, Арон уже надумал бежать к Абраше Ривкину, чтобы поделиться с ним мыслями о приборе, который он увидел. Я не пошел с ним. Меня ждали домашние дела. Арону хорошо, у него мама – домохозяйка, и он целый день свободен. А у меня мама всегда на работе, и мне много чего приходится делать самому...

Вы заметили, что зимнее время я почти не упоминаю в своих воспоминаниях. Дело в том, что у меня никогда не было пальто. До школы я всегда добирался бегом и холода почти не чувствовал, а поиграть на улице я выходил только в теплые зимние дни, когда не было ветра, а мороз был слаб. Зимой я большую часть времени проводил дома. А на нашей днепровской горе жизнь бурлила зимой гораздо сильнее, чем летом. Ребята всю ее обливали водой, которую

носили из проруби, и по этой ледяной горе спускались на коньках, прокатываясь с разгона чуть ли не до середины замерзшей реки. Зрелище было очень интересное, и поэтому на горе собиралось много зрителей, смотревших на обладателей коньков. Среди этих завистников иногда стоял и я.

Гора наша была довольно крута, и мало кто из конькобежцев решался съехать с нее с самого верха. Обычно все спускались с половины горы. А с самого верха спускался только самый смелый парнишка на нашей улице – Исаак Гольдберг. Он, наверно, никогда не испытывал чувства страха. Сколько раз я наблюдал, как Исаак катался по тонкому льду, который образовывался в начале зимы у берега Днепра. Мне даже смотреть было страшно. Лед потрескивал, прогибаясь под Исааком, а он катался, хоть бы что. Вот и с горы он летит быстрее всех и дальше всех. Но и этого Исааку мало. В самом низу горы он устраивает себе трамплин из снега, облитого водой. Ух, сколько тут падений было у тех, кто съезжал с половины горы, а Исаак не падает, хотя съезжает с самой верхушки ледяной горы. Он летит над трамплином как птица метров десять, а то и больше, и, наверно, очень доволен, потому что улыбается во весь рот. Хорошо, наверно, тем, у кого бьется отважное и храброе сердце!

А вот с моим соседом Борисом Драпкиным всегда случаются неприятные, но смешные истории. Так было и в тот день, когда я смотрел, как Борис съезжает с половины горы на коньках. Правда, он чаще других падает, но катания не бросает. А у нас хоть и есть рядом колодец, но многие соседи почему-то больше пользуются речной водой, хотя зимой носить воду из проруби очень трудно, тем более, когда гора скользкая. Однако, люди как-то ухитряются подниматься на гору с ведрами, полными водой. Кто лезет по обочине горы в глубоком снегу, кто чуть ли не бегом взлетает по скользкой горе, кто идет с ломиком и, спускаясь, делает себе ступеньки, а кузнец Яков Рубинчик всегда несет с собой мешочек с золой. Спускаясь с горы, он делает себе тропинку из этой золы и потом тихо и спокойно поднимается с двумя ведрами воды на коромысле через плечо.

Вот и сейчас насыпал он себе дорожку из золы, набрал в проруби воды и, как всегда, неторопливым шагом стал подниматься в гору. В это время все мальчишки остановились, чтобы переждать, пока дядя Яков поднимется с водой на гору, а Борис Драпкин, наверно, его не заметил из-за плохого зрения, и стал съезжать с горы на коньках. И так случилось, что он с ходу угодил прямо в кузнеца. Кузнецы, как известно, народ крепкий. И дядя Яков сумел устоять на ногах, но ведра с водой сорвались с коромысла и покатались вниз. Дядя Яков, тихий и добрый человек, в этот момент не сдержался, выругался и поднял коромысло, угрожая ударить Бориса. Борис бросился бежать от него к своему дому по известной тропинке под горой, совершенно забыв от страха, что эта тропинка теперь покрыта глубоким снегом. Пробежав несколько шагов, Борис с головой ушел под снег и стал там беспомощно барахтаться. Нам сверху было очень смешно смотреть на действия Бориса в глубоком снегу, но Борису было не смеха. Однако, дядя Яков, наверно, остыл, видя в какое бедственное положение попал Борис, и помог ему выбраться из этой снежной ямы. Борис поднялся на гору и убежал домой, а мы еще долго смеялись, вспоминая, как он убежал от дяди Якова.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.